

НОВЫЙ Журнал

106

*THE NEW
REVIEW*

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцать первый год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, March 1972
Quarterly, No. 106
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York N.Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Н. Ульянов</i> — Сириус	5
<i>И. Елагин</i> — Стихи	30
<i>В. Шаламов</i> — Заговор юристов	31
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	50
<i>Д. Хармс</i> — Старуха	51
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	74
<i>В. Вейдле</i> — Эмбриология поэзии	75
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	102
<i>Н. Стивенсон</i> — Михаил Кузмин	103
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	112
<i>Р. Плетнев</i> — О животных у Достоевского	113
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	134
<i>Г. Кочевницкий</i> — Эмпирическая и научная фортепианная педагогика	135
<i>А. Величковский</i> — Воспоминание	145

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Н. Туров</i> — Падение Ростова	147
<i>В. Поздняков</i> — Первая Конференция Военнопленных Красной Армии вступивших в РОД	184
<i>Из архива П. Б. Струве (публикац. Г. П. Струве)</i>	201

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Р. Гуль</i> — К вопросу об автокефалии	212
<i>И. Авербух</i> — Еще одно чудо	239
<i>В. Буковский</i> — Последнее слово на суде	249
<i>В. Пирожкова</i> — Советский коммунизм в немецких университетах	255
<i>С. Пушкирев</i> — Маркиз Кюстин, ген. Смит и проф. Кеннан	266

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>А. Шиляева</i> — Б. К. Зайцев	280
<i>Р. Гуль</i> — Ф. А. Мозли	283
<i>Ю. Иваск</i> — Г. В. Адамович	284
<i>М. Эмден</i> — С. М. Зернова	288
<i>Л. Ржевский</i> — Г. И. Газданов	291
<i>Р. Г.</i> — Н. Ф. Тизенгаузен (Н. Туров)	295
<i>Прот. А. Киселев</i> — Б. В. Сергиевский	300
<i>С. Шаршун</i> — Художник Д. В. Меринов	301
<i>Книги для отзыва</i>	304

PRINTED BY WALDON PRESS, INC.
216 West 18 Street, New York, N.Y. 10011

СИРИУС

Несчастье под Сольдау потрясло императрицу Александру Федоровну. Проснулись предвоенные тревоги и страхи. Чем кончится война? Секретарю, графу Ростовцеву, поручено было выведывать в военных кругах все предположения на этот счет. Он каждый день приносил ворох генеральских прогнозов. Сходились на том, что война продлится три-четыре месяца; только полковник Нокс, член британской военной миссии сказал — четыре-шесть лет. Но с чьих то слов записано было и китайское изречение, поразившее царицу: «Война великое дело для государства, это почва жизни и смерти, путь существования и гибели. Это нужно понять».

Ах, как она это понимала! Однажды, стала перебирать жемчужины своего ожерелья, как лепестки ромашки в молодости, когда гадала: любит — не любит. Теперь мысленно считала: победим — не победим. В другой раз, ходя по гостиной, поймала себя за таким же гаданием. Каждый шаг означал «победим» или «не победим». Подходя к концу комнаты, с ужасом увидела, что оставшийся шаг означал «не победим». Мгновенно превратила его в два коротких и добилась «победим». — Боже! Что я делаю?

Государыня была врагом графа Витте за его прошлую деятельность, за манифест 17 октября, за популярность затмевавшую популярность государя, но с удовольствием прислушивалась ко всему, что он говорил против войны. Чем больше Бьюкенен и Палеолог возмущались его «пропагандой», тем больше сочувствовала ей Александра Федоровна.

Сказали, однажды, что граф называет Сазонова балериной Гранд Опера и Ковенгардена. — Объясните мне это, — обратилась она к Бенкендорфу.

Старый гофмаршал начал с явной неохотой. — Это все из-за займа, ваше величество. Англия согласилась предоставить нам двести миллионов рублей при условии, если мы пришлем ей восемьдесят миллионов золотых рублей.

— Что за странность? Денежный заем покупать за деньги!?

— На финансовом языке это означает «подкрепить золотой фонд Английского банка».

— Ничего не понимаю. Но при чем же тут балерины?

— Граф называет так Сазонова и моего брата, нашего посла в Лондоне за то, что они оправдывают английское требование. Англия, по их словам, не может не охранять своего финансового равновесия. Граф от таких заявлений приходит в ярость и кричит: — на чьей они службе, на нашей или на британской?! Эти господа, подолгу жившие в Париже и в Лондоне, перестали быть русскими; они танцуют перед Греем и Вивиани и за одну их улыбку готовы отдать Россию.

— Но знает ли об этом государь?

— Его величеству обо всем доложено.

— И что же?

— Золото будет послано. В Архангельск идет английский крейсер, чтобы принять его.

— Ах Ники! — вздохнула государыня.

Она еще внимательнее стала прислушиваться к Витте, когда пришла весть о битве на Марне. Петербургские французы обезумели от восторга. *Victoire! Victoire! Nous avons gagné la bataille! La France est sauvée!..*

Петербургцы тщетно старались поймать хоть намек на признательность России за спасение Парижа. «Французская благодарность» дала новый повод для неистовств Витте. От него пошел рассказ про раненого офицера только что привезенного из Восточной Пруссии. Лежал он во французском госпитале и слышал, как зашедший туда секретарь посольства рассказывал доктору о русских дамах и сановниках, приходивших поздравить союзников с победой. Он саркастично заметил, как воздавая должное храбрости французов и таланту

Жоффра, поздравлявшие забывали прибавить о гекатомбах жертв Сольдау, благодаря которым выиграно сражение на Марне. Бедный офицер видел какими улыбками обменялись доктор и секретарь. Он сорвал свои повязки и потребовал перевода в другой госпиталь.

— Как бы я хотел пожать ему руку! — восклицал Витте. — И как хотел бы напомнить нашему глупому обществу плаксивую речь Палеолога, когда он в панике перед натиском двадцати пяти германских корпусов лепетал: «Умоляю ваше величество приказать вашим войскам немедленное наступление, иначе французская армия рискует быть раздавленной». Во всех домах он плакался по поводу тяжелого часа переживаемого Францией. Теперь, когда этот час искуплен русской кровью, он не вспоминает о нем. Оно и понятно. Но как могла наша публика забыть угодливость верховного командования знавшего о неизбежной неудаче похода в Восточную Пруссию, о «неоспоримом риске» этого шага и все-таки пославшего полмиллиона солдат «чтобы не дать погибнуть нашему союзнику», как сказал Сазонов?!

Когда графу ставили на вид, что не только Россия, но и Англия помогает французам своими войсками, он выпрямлялся во весь рост и поднимал указательный палец: — Вот у англичан то и надо учиться! Многие ли у нас знают, как поступил фельдмаршал Френч после того, как немцы изрядно потрепали его армию под Сен Кантенom? Он отвел ее с передовых позиций и наотрез отказался жертвовать жизнью хоть одного английского солдата. Умирать надо за родину, а не за союзника; союзнику можно только помогать. А ведь у англичан с французами «сердечное согласие», война, ведь, это их товарищество на паях, это не то что наше участие, не сулящее нам никаких прибылей ради которых следовало бы бросаться в огонь и в воду. А мы бросаемся.

Императрице очень по сердцу прились речи Витте о великом князе Николае Николаевиче. Его усердие не по разуму он объяснял его мелкой натурой и тщеславием. Французы играли на них задолго до войны.

— Чего стоила его поездка на французские маневры 1912

года! Специальный поезд, высланный на границу, встреча на Гар дю Нор всеми членами правительства во главе с премьер-министром Пуанкарэ, громадная толпа шумевшая и махавшая шляпами на всем пути до Елисейского дворца. Только королеванных особ так встречают. А на маневрах не знали, как лучше ублажить: провели специальную ветку в соседний лес для поезда великого князя, в котором он жил, разбили живописный палаточный лагерь. А в заключение — блестящий банкет «на поле действий» и столь же блестящий завтрак данный самим президентом Фальером. Было с чего закружиться голове. «Царственная осанка»!... «Великолепная кавалерийская посадка!...» — твердили газеты. Уже тогда, в Париже, его провозгласили будущим верховным главнокомандующим. Вот когда полмиллиона русских мужиков было куплено для спасения Парижа!



Приехал старец Григорий Ефимович Новых. Поправляясь в селе Покровском от ранения, он целое лето не показывался в столице. За шумом событий, за войной, его успели забыть. Теперь по Петербургу разнесся его манифест: «Коли не та бы стерва что меня тогда пырнула, был бы я здесь и уж не допустил бы до кровопролития. А то тут без меня все дело смастерили всякие там Сазоновы, да министры окаянные, сколько беды наделали!»

Государыню, как живой водой окропили. Слава Богу! Но дворцовый комендант доложил, что визиты Григория Ефимовича в Царское Село несвоевременны. Неосторожные высказывания его против войны встревожили английское и французское посольства. В русском обществе тоже пробудились антираспутинские толки. Александра Федоровна стиснула зубы. Опять это «русское общество»! Грязные сплетни и пересуды, вмешательство в ее личную жизнь! Когда наступит это-му конец?

Старцу сделали внушение. Он стал говорить: «Раз уж начали, так надо воевать до конца». Но в Царское Село не ездил. Вырубова ездила к нему по воскресеньям чай пить

после обедни. С Вырубовой посылались маленькие подарки. — «Чашка то северская!.. Мама прислала», — хвастался старец.

Вырубова заметила, что у него нет прислуги. — «Была, да как уехал весной, сошла с квартиры. А и зачем она мне? Жена, две дочери. Да ведь какую подошлют?... Полиция-то у вас больно умная, хочет знать что я во щи кладу».

Вырубова пообещала подыскать. Дня через два пришла Дуня — круглая, кровь с молоком.

— Ах Дуня моя Дуня! — запел старец, хлопнув ее по мягкому месту. Дуня начала хозяйничать.

— Огонь девка! Вот спасибо Аннушке!

По Петербургу пошли разговоры о возобновлении хлыстовских сборищ. На Невском видели Лохтину в цилиндре. Ехала с вызывающим видом. Срам! Неужели опять начнется хождение светских дам в баню с этим развратником?..

На собраниях у Петра Семеновича тоже возмущались. — Хоть бы на время войны убрали его куда-нибудь!

— А почему вам так хочется убрать? — спрашивал Степан Степанович.

— Да ведь позор! Компрометирует власть, правительство, Россию.

— Ну, вас!

— Нет не «ну, вас», а так и есть. Я понимаю когда им возмущаются министры и черносотенцы, но вам то что? Ведь он не вас компрометирует, а царскую власть; для вас он — манна небесная. Если вам удастся свалить самодержавие, то первый памятник должны будете поставить Распутину.

Но Петербург — другой тянулся к старцу, как к солнцу. Коллежский советник Лев Карлович фон Бок привез ему ящик вина, Настасья Николаевна Шаповаленкова поднесла великолепный ковер, Моисей Акимович Гинсбург, действительный статский советник, поставщик угля для флота, заплатил за что-то тысячу рублей. Посетители шли с парадного подъезда и с черного хода.

Приехал князь Андроников. Он не весь просунулся в полуотворенную дверь, а только наполовину. Портфель прижатый к боку выглядывал тоже наполовину.

Князь был давно знаком со старцем, но сейчас счел нужным изобразить нерешительность.

— Дозволите, Григорий Ефимович?

— А вот погляжу. Ты кто такой?

— Человек желающий всем добра и никому плохого.

— Вон оно как!...

Распутин приблизился, зашел справа и слева, рассматривая князя, как лошадь на ярмарке.

— Да что ты, леший, торчишь в дверях, как кочерыжка? Ходи сюда.

Вторая половина Андроникова и его портфеля вошли в комнату.

— Пришел, помня всё прежнее, возобновить знакомство.

— Вспомнил? Вспомнил? То-то!

— Благодатию Божией, я самый простой человек... человек маленький... но я интересуюсь всеми вопросами государственной жизни, близко принимаю все к сердцу и всегда ставлю задачей приносить, как можно больше пользы.

— А мне от тебя что за польза?

— Нам с вами, отец Григорий, сам Бог велел трудиться вместе. Мы — внештатные слуги царицы и никто больше нас не болеет сердцем за наше сокровище.

— Ишь ты!

— Но когда супостат входит в дом, чтобы сотворить зло, он прежде всего убивает верного пса.

Андроников пристально уставился на старца.

— Может ли человек моего склада спокойно спать, зная, что поднимается рука на того чьими молитвами спасается трон и отечество?

Старца будто иглой кольнуло. Андроников мягко, как кот, подошел вплотную и промурлыкал: — Я только предтеча того, кто идет за мной... От него свет и просвещение... Все узнаете от самого Степана Петровича, если посетите мою хижину.



Хижина на Троицкой оказалась с коврами, с мягкой мебелью, с попугаем. Господин, сидевший в мягком кресле, не встал при приближении старца и не сделал умильного лица. Распутин до самых костей прощупывал его прищуренными глазами. Черная округлая бородка, нос пипкой, но под тяжелыми веками — что-то мутное, будто вся грязь через которую прошел он, собралась там гадливыми комочками.

— Степан Петрович Белецкий. Прошу любить да жаловать.

— Слышал, слышал. Только он то меня, кажись, не шибко жаловал.

— Вот уж что напрасно, то напрасно! Степан Петрович, можно сказать, пострадал из-за вас, места лишился в борьбе с врагом вашим Илиодором, а уж чтобы худое что... грех вам на него жаловаться.

— Да я ничего... Он хорош, так и я хорош.

— Хорош не хорош, Григорий Ефимович, но никогда не был вреден, — проронил Белецкий. — В мое время всегда была охрана для вас, как для царской особы, а вот при Джунковском — не знаю... Судя по тому что случилось этой весной, думаю, что не очень-то вас оберегали.

— Что не оберегали? Совсем на съедение отдали. Уж буду я помнить этого Джунковского, дай ему Бог долго жить, да скоро сдыхать!...

— Аминь! Хе-хе-хе! — потирал руки Андроников. — После таких славных поминок и выпить не грех.

Принесли мадеру. За все время разговора старец не смотрел на Белецкого, только изредка стрелял глазами.

— Это ты все вправду... Хороший-нехороший, Бог тебя знает, а зла в тебе будто нет.

— То-то, отец Григорий! А чтобы не сомневались, сделаю вам предостережение. По старым связям, мне многое известно, что делается в министерстве. Извещен я и об опасности, которой вы подвергаетесь со дня своего возвращения в Петербург.

Распутин испуганно повернулся вместе со стулом.

— Речь идет не о жизни вашей, а о высылке из столицы.

— Да это какой же такой нашелся?

— Великий князь Николай Николаевич, верховный главнокомандующий собирает неблагоприятные сведения о вас, чтобы доложить государю и потребовать вашего удаления.

— Злой он, злой. Нехороший человек. И что я ему сделал?

Андроников потирал руки. Ему известно было, что сведения о Распутине получены не в министерстве внутренних дел, а от сенатора Белецкого из той сводки материала, что сохранилась у него на руках.

— Вот и судите, отец Григорий, плох ли был для вас Степан Петрович. Не раз вспомните и пожалеете, что не он сидит в министерстве.

Распутин часто стал бывать у Андроникова.

— А ведь ты человек ой ой ой!.. Маленький, а большой. Вижу, насквозь вижу, а поймать не могу...

— Да на что меня ловить, Григорий Ефимович? Я и так весь твой. Вот, махнем-ка лучше в Аквариум.

Аквариумом князь соблазнил старца и отвадил от Медведя, что на Конюшенной. Распутин оставлял у Медведя много денег, но хозяин не был доволен.

— Повадился ездить. Пьянствует... Да пусть бы пил — черт с ним. А то как напьется, начинает: — Вишь рубаха... сама мама вышивала. А хошь сейчас девок к телефону позову?.. Это он так об их высочествах, о великих княжнах... Долго ли до греха!.. Ресторан закроют.



Когда во дворце бывал Сухомлинов, Александра Федоровна часто беседовала с ним. Говорила, что ее угнетают бои уносящие десятки тысяч людей.

— Сердце разрывается при известиях о таких потерях.

— Да, ваше величество, потери неслыханные. Одних раненых насчитывают тысячами после каждого боя, а убитых и не перечесть. В эпоху пушек и пулеметов, это, говорят, неизбежно. И все-таки, жертв было бы меньше, не будь этой

пагубной доктрины поощряемой нашей главной штаб-квартирой. В прежних войнах, полководческим идеалом было достигнуть победы с наименьшими человеческими жертвами; нынешняя война, по их мнению особенная; не стеснясь пишут об устарении метода вычислять какие бы то ни было «наименьшие жертвы». Отсюда эта ужасная практика устилать поля трупами своих солдат ради отвоевания полуверстной полосы неприятельской территории.

— Ужас! Ужас! Я, кажется, готова принять на себя все раны наших бедных солдат.

— Сам Бог вложил вашему величеству эти святые чувства. Но ваша миссия — быть матерью страждущих, утешать страдания... Какой радостью затрепетали бы сердца бойцов, если бы пронеслась весть, что сама государыня императрица имеет попечение о них!

— Что вы хотите сказать?

— Осмелюсь предложить вашему величеству положить начало движению, которое объединило бы весь дамский мир в заботах о раненых воинах.

При упоминании о «дамском мире» государыня поморщилась.

— Нет уж... Что я тут могу? Да и сомневаюсь, чтобы наши дамы...

— Будет жаль, — продолжал Сухомлинов, — если они пойдут не на призыв своей государыни, а на чей-то другой.

— Чей же?

— По моим сведениям, он не сегодня-завтра раздастся из Владимирского дворца. Говорят, какой то поэт уже пишет оды в честь княгинь. Им теперь не стоять, как во дни Игоря на городской стене и не оплакивать своих милых лад, но врачевать раны бойцов.

Генерал чуть взглянул на императрицу и понял, что попал в цель. На лице безошибочно можно было прочесть: «Михень только и ждет случая отличиться»!.. Выступившее красное пятно подтверждало догадку.

— Но ведь сама я не могу этим заниматься, нужны самоотверженные преданные помощники, а как их найти?

Сухомлинов принял вид сосредоточенного размышления.

— Осмелюсь предложить вашему величеству одну такую помощницу — жену мою Екатерину Викторовну. В преданности ее и в энергии, ваше величество, можете не сомневаться.

— Екатерины Викторовны я не знаю, но я знаю вас и верю, что от вас ничего плохого итти не может.

На другой день Екатерина Викторовна была милостиво принята в Александровском дворце и вышла оттуда главой «Склада имени императрицы Александры Федоровны» — лучшего в Петрограде госпиталя для раненых. Сбор пожертвований сопровождался появлением ее портретов в «Ниве», в «Солнце России», в «Столице и усадьбе». Это был реванш за годы унижения. Супругу военного министра не принимали в великосветских домах по причине плебейского происхождения и скандального развода с первым мужем Бутовичем. Теперь визитная карточка Екатерины Викторовны преобразилась так, что открывала двери дворцов и аристократических особняков. На дому у нее стали собираться почтенные дамы, кроили рубашки и кальсоны для раненых. В Гербовом зале Зимнего дворца установили сотни коек. Петербург, Москва покрылись лазаретами. Открыли лазареты союзнические посольства — английское, французское, японское. «Вся Русь, вдруг превратилась в один великий госпиталь, в котором милосердными сестрами были государыня с дочерьми», — писал генерал Дубенский. Распутин прислал телеграмму: «Ублажишь раненых, Бог имя твое прославит за ласкоту и за подвиг твой».

— Воображаю, как злобствует Михень!

С великой княгиней Марией Павловной, урожденной принцессой Мекленбург-Стрелицкой, у императрицы были давние счеты. В первые свои приезды в Россию, когда еще была невестой наследника престола, она натерпелась ее уроков хорошего тона. Мария Павловна видела в ней простушку из захудалого Гессен-Дармштадтского дома, набравшуюся мещанских манер от своей гувернантки. Собственные сестры в ужасе были от ее бестактности и резких выходок. В Петербурге, Михень одергивала ее на каждом шагу. Но вечным врагом будущей тетки Аликс сделалась после того, как узнала о роли ее в от-

говаривании Александра III и Марии Федоровны от согласия на брак Николая с «гессенской мухой». Не прощала ей Александра Федоровна и постоянных претензий на высокую роль и на чрезмерные почести, так что кроткий Ники терялся иногда, не зная чем ей угодить.

— Дайте ей, ваше величество, титул вдовствующей императрицы, — посоветовал однажды Николай Михайлович.



— Но до чего же провинциальна наша Аликс! — соболезнующе протянула Мария Павловна, выйдя как то раз к утреннему чаю. — Неужели она не понимает, что позволять такие фотографии в журналах, убийственно? Сама в костюме сестры милосердия, дочери сидящие на койках у раненых... Не хватает, только, чтобы они стригли им ногти на ногах! Война выбила ее из колеи и она забыла свое царское достоинство. Не знает чем заняться.

Во Владимирском дворце пожимали плечами, узнав, что своему сестринскому служению царица придала характер религиозного подвига. Отправляясь в лазарет, зажигала свечи, молилась с дочерьми перед иконой. На операциях смиренно подавала инструменты, дезинфицировала кожу вокруг раны. Ее мутило от запекшейся, дурно пахнувшей крови, от развороченного солдатского тела, но стойко переносила все ужасы. Домой возвращалась разбитая.

Когда неумоготу было посещать лазарет, искала других избавлений от постоянной тревоги. Приезжал профессор Кайгородов, рассказывавший о страшном смятении вызванном войной в птичьем мире, о раненом шрапнелью журавле, упавшем на улицу в Орлеане, о Гельголанде, ставшем островом спасения для птиц. Потом захотела видеть русских студентов — героев Льежа. В первые дни войны они составили добровольный отряд. Дрались превосходно. Покинули Льеж, когда последний форт был взорван самими защитниками. В Лондоне их встретили овацией, в Петербурге носили на руках. Государыня устроила им прием в павильоне «Грот», милостиво

беседовала и приказала дать обед в одной из зал Екатерининского дворца.



Сердца и взоры стапятидесятимиллионного народа тянулись туда, где на никому неизвестной Гнилой Липе, у каких-то Томашева и Грубешева гибли десятки тысяч русских людей, дрожала земля, вершилась судьба России. Война сделалась верховной властью. Ее фавориты затмевали все прежде важные имена. Возносились неведомые Рузские, Брусиловы, Ивановы, Алексеевы. Великий князь Николай Николаевич стал Георгием Победоносцем. Его поминали на ектении вместе с членами царской семьи. Императрица чувствовала, как умялялась фигура царя.

— Милый, тебя должны видеть.

Никто не знал, как это сделать. Но родилась счастливая мысль посетить Ставку верховного главнокомандующего. Двор всколыхнулся. Припомнилось милое довоенное время, очаровательные поездки в Ливадию, такие праздничные, помпезные. Впереди шли свитские поезда, составы с высшими чинами дворцового управления, гофмейстерская часть, придворно-конюшенная, конвой, полицейские собаки... Двенадцать поездов. Царский в середине.

Теперь число поездов сокращалось до двух. Дворцовому коменданту выпала «собачья» задача — вычеркнуть из списков три четверти ездивших прежде с государем. Он скрывал это до последних дней, но когда новые списки стали известны, все обойденные подняли ропот. Телефонные звонки, горькие попреки: — За что же я в такой немилости у вас, Владимир Николаевич? Никакие ссылки на военное время, на отсутствие мест, не помогали. Каждый считал, что военное время его не касается, а просто, дворцовый комендант — свинья.

Двадцатого сентября из Царского Села вышел синий с золотыми вензелями литерный поезд «Б», со служебным персоналом, с охранными командами, с канцеляриями. Часом позже, к перрону подали другой литерный поезд «А» во всем похожий на первый. У входа в каждый вагон встали офицеры

собственного его величества железнодорожного полка. Возле царского — конвойцы в черных папах. В стеклянном павильоне вокзала собрались — флигель-адъютант Дрентельн, лейбхирург Федоров, свиты его величества генерал-майор князь Долгоруков, генерал Мосолов, низенький флаг-капитан Нилов, граф Фредерикс, князь Орлов и военный министр Сухомлинов. За исключением Фредерикса, одетого, как обычно, в шинель офицерского сукна на красной подкладке, все были в грубых солдатских шинелях. Дондуа смутился, увидев государя в такой же шинели. Провожали его императрица и дочери. После Красного Села и Петергофа, поручик впервые видел его так близко. Прежний трепет овладел им, когда выйдя из павильона и направляясь к своему вагону, государь мимоходом взглянул на него и под усами шевельнулась опять знакомая улыбка. Стоя, как заколдованный, поручик чуть не упустил время войти в свой вагон. Царские поезда трогались без свистков и звонков. Но и в вагоне радужный туман застилал ему глаза.

А во дворце, с отъездом государя, все замерло. Императрица заливалась слезами. Много курила лежа на диване, принимала капли. Не выдержав поехала к Вырубовой. — Ах Аня! Он там будет так одинок!...



Литерный поезд «Б» на другой день засветло был в Барановичах. Полковник Спиридович выйдя на перрон, увидел серенькую станцию, сарай, бараки, а в пасмурной дали смутное подобие города.

— Там и находится Ставка?

— Нет, Ставка в лесу, вон там, — ответил комендант Саханский. Он рассказал, как смущены были генералы, когда их привезли сюда около двух месяцев тому назад.

— Где же будем жить и работать?

— В вагонах.

— Но неужели в полутемных вагонах удобнее работать, чем в нормальных домах? — спросил Спиридович.

— Видите ли... Вагоны это еще хорошо. Некоторые канцелярии упрятаны в сарай, в конюшни, в прачечные.

— Но разве это дешевле, чем наем нескольких домов?

— Какое там дешевле! Одна постройка железнодорожной ветки обошлась в несколько сот тысяч рублей, да вагонов пришлось нагнать целый город. А уж насчет удобств не говорите. Даже для генерал-квартирмейстерской части не нашлось ничего, кроме тесной хибары. Генерал Данилов простить этого не может Янушкевичу: «Удружил, Николай Николаевич! Век буду помнить!»

— К чему же такое лишение себя элементарных удобств?

— А вот, наш доктор лучше расскажет вам это. Будьте знакомы.

Доктор Малама, балагур, любимец всей Ставки, горячо пожал руку Спиридовичу и сразу пустился в объяснения.

— На войне все, от солдата до генерала, должны чувствовать себя по-походному. «Боевая обстановка!» Это одна из основ высокого воинского духа. Идеально было бы жить и работать в палатках, как во дни походов на половцев, но проклятая цивилизация принуждает к компромиссам. Палатки пришлось заменить вагонами.

— Кому такая мысль могла придти в голову?

— Ну, на этот счет, наш милейший начальник штаба неистощим. Он первый подает пример стоицизма. В вагоне у него есть салон, прекрасный письменный стол, но работает он в купэ, бумаги и телеграммы раскладывает кучками на постели.

Направив разговор с веселым доктором в нужное ему русло, начальник охраны быстро узнал о тяжелом недуге Ставки. Она тяготилась невниманием государя. За два месяца войны он ни разу не посетил главную квартиру действующей армии. Великий князь выходил по вечерам «дышать свежим воздухом», садился на ступеньках у входа в вагон, но все знали, что не свежего воздуха ему нехватало, а царского благоволения.

И вот, вечером, поезд литеры «А» прибыл в Барановичи. Встречали — верховный главнокомандующий и начальник штаба генерал Янушкевич. Со станции — прямо в церковь. А поезд, по распоряжению полковника Спиридовича отвели в

сосновую рощу влево от домика генерал-квартирмейстера. Еще левее поставили поезд литеры «Б». Оба были тотчас охвачены широким кольцом часовых собственного его величества железнодорожного полка.

Перед церковью дожидались великие князья Петр Николаевич, Кирилл Владимирович и высшие чины штаба. Церковь барачная, деревянная с плоским, как в избе потолком, но с хрустальными люстрами, серебряными подсвечниками, с аналоями крытыми золотой парчей. Стояла тут и чудотворная икона-складень, привезенная из Троице-Сергиевской Лавры. По преданию, она была написана на крышке гроба преподобного Сергия, и со времен царя Алексея Михайловича ее брали во все большие походы. В 1812 году она была под Бородиным.

Запел прекрасный хор. На середине церкви государя встретил протопресвитер о. Георгий Шавельский. Не успел он кончить приветственное слово, как потухло электричество. Молебен прошел при свечах и лампадах. Государю это понравилось, но офицеры перешептывались: не к добру! не к добру!

После молебствия дворцовый курьер стал обходить вагоны и купэ с приглашением на царский обед. Когда приглашенные собрались, великого князя позвали, внезапно, в соседний вагон к государю. Все притихли. Через несколько минут он показался. Углы губ дрожали, на глазах слезы.

— Идите, государь вас зовет, — обратился он к Янушкевичу.

Тут только заметили на княжеской груди орден Св. Георгия третьей степени. Бросились поздравлять.

— Это не мне, а армии, — оправдывался в своем счастье Николай Николаевич.

Начальник штаба вошел тоже взволнованный со слезами на глазах и с Георгием четвертой степени. Пока поздравляли Янушкевича, генерал Вильямс наклонился к маркизу Ла Гишу: «Скажите генерал, у вас во Франции тоже плачут при получении ордена Почетного Легиона?»

— У нас плачут те, которых так несправедливо обходят наградой, как обошли этого бедного Данилова.

За Данилова все испытывали неловкость. Давно стало ясно, что Янушкевич — самый ненужный человек в Барановичах, а все держится на Данилове.

Вошел государь и начался обед.



На утро доклад в домике генерал-квартирмейстера. У крыльца императора встретил с рапортом дежурный по штабу офицер, а на крыльце генерал Данилов без фуражки.

В домике пять маленьких комнат. Самая просторная — сплошь занята огромным столом с разложенными на нем картами всех фронтов. Здесь государь и великий князь сели, а начальник штаба, стоя с бумагой в руках, говорил о состоянии на фронтах за последние сутки.

Кельцы.

Карандаш Данилова упирался в точку именуемую Кельцы и государь принимал к сведению происходившие там бои.

— К северу от озера Вигры, неприятель обороняется на занятых им позициях.

Опять, карандаш упирался в нужную точку десятиверстной карты, где оборонялся неприятель.

— От Рачки и Боржимера враг стремится захватить, путем ожесточенных атак, западные выходы из Августовских лесов. На шоссе Лодзее-Шиплишки первая германская кавалерийская дивизия пыталась остановить наступление нашей конницы. Германские эскадроны, не приняв наших конных атак, бросились в отступление и, понеся большие потери, рассеялись, увлекая за собой поддерживавшую их пехоту. Райгрод, Кальвария, Мариамполь заняты нами.

Тут Данилов, отложив карандаш, переставил на карте три красных флажка, утвердив их на Мариамполе, Кальварии и Райгроде. Флажки выходящей линией тянулись от Шавельского района на севере до Днестровско-Прутского на юге.

Император с сосредоточенным видом следил за отдельными эпизодами на этом пространстве не связанными никаким общим замыслом. Ни генерал-квартирмейстер, ни начальник

штаба, ни верховный главнокомандующий не сделали намека на задачи отдельных фронтов и армий. Не видно было знания неприятельских планов и устремлений, не упоминалось о наших потерях, об обеспечении армий боевыми припасами. Сам император не задавал вопросов. Просидев около двух часов, он встал.

Приехал главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал Рузский, успевший прослыть достойным противником Гинденбурга. Столичные газеты поднимали его на щит. Но в Ставке знали, что карьера его не чиста; он дважды намеренно не выполнил приказа штаба фронта — отрезать путь отступления австрийской армии разбитой Брусиловым на Гнилой Липе. Вместо того, чтобы сомкнуть клещи, согласно плану Алексева и не дать шестисоттысячной австрийской армии выскользнуть из западни, он продолжал ненужное наступление на Львов, сулившее популярность. Ему грозили судом. Но газеты, успевшие протрубить о взятии столицы Червонной Руси и разнесшие по всей стране имя удачливого генерала, парализовали применение к нему каких-либо санкций. Вместо суда — награды.

Император принял его у себя в вагоне и поздравил своим генерал-адъютантом. Никакие дела не отвлекали государя от обычных прогулок. В этот день он тоже гулял в лесу. Там, к его приезду, разбили и утрамбовали дорожки, поставили кое-где скамейки и столики. На одном из поворотов, где стоял на посту Дондуа, император подозревал его жестом.

— Принеси-ка мне этот грибок.

Поручик кинулся под сосны, как на вражеские позиции. Но сорвав великолепный гриб-боровик смутился и покраснел. Гриб оказался деревянным.

— А ну-ка, принеси вон тот.

Второй оказался тоже из дерева. Государь усмехнулся и взял оба. — «Свезу домой».

Не прошло и часу, как вся Ставка знала историю с грибами. Дондуа сделался знаменитостью. Ему улыбались при встречах.

— Да, поручик, вы славно открыли грибной сезон, — зубоскалил доктор Малама.

Деревянные грибы были изобретением немца-садовника, выписанного главнокомандующим из Ливадии. Немец попыхивал трубкой, возил землю на тачке, действовал граблями и лопатой.



Между тем, адмирал Нилов, как конек-горбунок, обежал все поезда, все бараки — высматривал, выпрашивал, выслушивал. Нанес визит Янушкевичу. Вечером, после обеда, когда в салон-вагоне поезда литера «Б» собралась компания штабных и свитских чинов, он поведал о спартанском образе жизни начальника штаба.

— Сiju с ним разговариваю, а ноги у меня, смотрю, в грязи. Тут у вас с платформы чуть сойдешь так по колено и утонешь. Простите, — говорю, — не заметил. А он «не извольте беспокоиться», кликнул денщика и отправил меня с ним в свою туалетную. Ну, знаете!... Пока денщик чистил мои сапоги, я глядел и не мог наглядеться на генеральский будуар. Флаконы с духами, туалетные воды, эликсиры, помады... А ножниц, щеточек, напильничков для ногтей!... Даже пудра стояла на полочке перед зеркалом. Вот уж подлинно боевая обстановка!...

Штабные ухмылялись с видом «мы еще и не то знаем».

Всех волновал случай с Сухомлиновым. По нежеланию великого князя, его не пригласили присутствовать на сегодняшнем докладе.

— Как можно приглашать человека ведущего гнусную интригу против его высочества. Столько клеветы возводит на верховное командование, на всю Ставку!

— Сухомлинов, конечно, всем нам известен, — заметил Нилов, — но показывать в такое время рознь между военным министром и верховным главнокомандующим — не дело.

Царская свита выпрашивала каждую мелочь. Спросили, как сносятся с фронтом? Шестого августа, на второй день по прибытии в Барановичи, поставлен аппарат Морзе для связи

с Северо-Западным фронтом, а седьмого — такой же аппарат для фронта Юго-Западного. Но выяснилось через две недели, что Морзе — шпион и предатель. Враги и союзники знали это до войны, а мы только сейчас узнали. Морзе не гарантирует тайны передачи, не дает возможности применять цифровой шифр и почти исключает шифр буквенный. Тогда выписали двух Юзов. Но поставить то их поставили, а работать на них никто не умеет, пришлось привлекать чиновников телеграфного ведомства. Не было экспедитора для учета записи депеш. Заставили это делать двух офицеров. И эти несут суточное дежурство в аппаратной, упрятанной в бывшую прачечную с земляным полом — тесную, темную, вонючую, без печей. Когда генерал Данилов приходит, чтобы говорить по аппарату, а говорит иногда два-три часа, все, кроме телеграфиста должны выходить вон при любой погоде. Часто мокнут под дождем. По два раза в день приходит верховный разговаривать со своей женой проживающей в Киеве.

— Так выходит, что ваша история с Морзе и Юзами разыгрывалась, как раз, в те числа, когда шли бои под Гумбиненом и под Сольдау? — спросил адмирал.

— В те самые.

— Так! Так!...

Беседа продолжалась до позднего часа. Во всех поездах ложились спать. Только в царском вагоне горел свет. Император читал письмо Александры Федоровны, полное жалоб на одиночество, на то что ей недостает своего большого Агунюшки. Жаловалась на Аню, на ее невоспитанность, лицемерие и сообщала, что «галки» мечтают о галицком троне для Николаши. Это слышала Аня от «нашего друга», к которому ездила в город на моторе. Николай Александрович долго терялся в размышлениях о галицком троне и заснул не уразумев, что это такое.

На утро, с графом Фредериксом случился легкий удар; он побледнел, впал в беспамятство, а когда очнулся и пытался ходить, правая нога подогнулась и не держала. Лейб-хирург Федоров ничего опасного не нашел, но прописал постель и полный покой.

— Вы бы ему прописали, Сергей Петрович, полное освобождение от службы, — пробурчал Нилов. — Жаль, конечно, старика, но ведь и государя надо пожалеть. Это не шутка держать в такое время министром двора человека, который глядя за обедом на поданную ему грушу спрашивает, что это за овощ?

— Ну, это пустяк.

— Пустяк? А вы забыли, как он в Ревеле, сидя в комнате, воображал себя в каюте на Штандарте и все спрашивал, скоро ли будет Ливадия? Этак, не сегодня-завтра он себя капитаном Куком вообразит.



На другой день оба литературных поезда покинули Ставку. Заехав на полчаса в Холм, чтобы наградить георгиевскими крестами генералов Иванова и Алексеева, император двинулся в Белосток. Никто не знал зачем. Только рано утром стало известно что он хочет ехать отсюда в Осовец — маленькую героическую крепость, выдержавшую яростную германскую атаку. Ходил слух, будто император Вильгельм приезжал в Граево и приказал взять Осовец в три дня. Но ни отчаянные приступы, ни сорок тысяч снарядов выпущенных по Осовцу не сломили духа защитников. Солдаты, когда снаряды падали в воду и глушили рыбу, ухитрялись под огнем бегать к реке собирать «улов».

Ехало с государем всего три человека. Воейков и князь Орлов поместились в открытом автомобиле, выкрашенном в «защитный» цвет, которым покрывалась вся армия от солдатских гимнастерок до десятидюймовых орудий. Государь весело наблюдал, как тучный начальник походной канцелярии так стиснул дворцового коменданта, что тот еле дышал. Сам он с Сухомлиновым поехал в другом таком же автомобиле. Военный министр не чужд был писательства и при виде золотых березок и красной рябины начал сочинять фразы для записи в дневнике. Одной он остался особенно доволен: — «День был такой хрустальный, что неприятель, казалось, боялся хоть единым выстрелом разбить его, как дорогую люстру».

Никто в крепости не был предупрежден о приезде царя, даже командир, генерал Шульман. Из полуразрушенной церкви вышел священник и безучастно смотрел, как из автомобилей выходили какие-то офицеры. Они усталились на алтарную абсиду из которой, точно волк вырвал зубами большой кусок мяса. Такой же кровавой раной зияла колокольня. Кругом осколки кирпича, камня, верхушки деревьев, рывины. В царю проснулся хозяин земли русской. Кто этот дерзкий, что пришел и набезобразничал в его владениях?!...

В церкви тоже обломки, битые стекла, но алтарь и престол содержались в порядке. При вести о прибытии царя, люди бросали работу, спешили в церковь. В начале молебна пел всего один голос. К нему присоединялись новые. Под конец грянул такой хор, какого и в Москве не сыщешь. На площади выстроился гарнизон. Выйдя из церкви государь благодарил бойцов за храбрость и самоотверженность. Потом рассматривал в бинокль подступы к гласису и места расположения неприятельских батарей. На обратном пути автомобили царя и дворцового коменданта разошлись и потеряли друг друга. Приехав в Белосток и не найдя там государя, Воейков изменился в лице. Пришел в себя только, когда вдали заметили пропавший автомобиль. Государь был весел, шутил, называя Сухомлинова Сусаниным, заведшим его в дебри.

Хорошее настроение продолжалось до самого Царского Села.

— Папа, расскажи, как ты из пушки стрелял? — встретил отца Алексей Николаевич. Верховный главнокомандующий, особым приказом успел оповестить страну и армию о посещении царем Осовца. — «Его величество изволил быть вблизи боевой линии. Посещение нашего державного верховного вождя объявлено мною по всем армиям и, я уверен, воодушевит всех на новые подвиги».



Путешествие оживило дворец. Только и разговоров было, что о Барановичах. Даже императрица, слушая, забывала свои тревоги. Самым радостным вернулся военный министр. Вражда

великого князя, оскорбительное неприглашение на доклад померкли после поездки в Осовец. Что ему надменность главнокомандующего, если сам государь, сидя бок о бок, шутил и разговаривал с ним, как с самым близким человеком!

Но телефонным звонком его вызвали в Царское Село. Государь показал телеграмму верховного главнокомандующего о недостатке снарядов в армии.

— Осмелюсь, ваше величество, выразить недоумение. Почему, по такому чисто служебному делу обращаются не в министерство, как полагалось бы, но утруждают ваше величество? И почему за время пребывания в Ставке, ни вашему величеству, ни мне не было сказано о нехватке снарядов?

— Да, это странно. Может быть тут простое недоразумение. Прошу вас разобраться.

На другой день поступила копия письма Палеолога Российскому Правительству по случаю телеграммы генерала Жоффра. Жоффр спрашивал, позволяют ли существующие огнестрельные запасы продолжать войну с тем же напряжением, как до сих пор? И если нет, то как предполагается организовать снабжение?

— А этому что надо? — огрызнулся Сухомлинов, — Уж не собирается ли по-дружески прислать нам снарядов?

Ответ был: — Россия ни в чем не нуждается и снабжена всем в изобилии на долгий срок.

Генерал Вернандер, помощник военного министра, застал однажды Сухомлинова греющим и пылающим. — Это дерзость!.. Измена!.. На столе лежал раскрытый выпуск «Нивы» со стихами:

Поля родные задрожали,
Когда поднявшись Русью всей
Мы грудью голою встречали
В броню закованных гостей.

— Грудью голою!..? А? Понимаете что это значит? Писать в такое время! И всем ясно в кого направлено. Это за непорочную-то службу! Не на меня одного клеветают — на всю

русскую историю. Священной памяти двенадцатый год не пощадили. Смотрите:

Смоленск; Москва!... Но волей рока
Застыла дерзкая рука.
И меч пришельца был далеко
Отброшен взмахом кулака!

— Так-таки ничего у нас кроме голых кулаков и не было? Где же это, спрашивается, «цензура военного времени»? По какому праву дозволено писать пасквилы?

— Но почему мы их должны принимать на свой счет?

Сухомлинов удивленно поднял брови.

— Н... да...с!.. Что же и спрашивать с других, если сами не понимаем, когда нас закидывают грязью? Ведь это грязь, батюшка! Это нас с вами продергивают. Довели, мол, до чего, поставили бедного солдатику с пустыми руками перед вооруженным до зубов противником! — Он снова ткнул пальцем в страницу и Вернандер прочел:

И вновь, как прежде, мы ответим
За Русь миллионами голов
И вновь, как прежде, грудью встретим
И грудью вытесним врагов.

Молва об этой сцене дошла до думских кругов и нашла эхо в разговорах на квартире Петра Семеновича Лучникова. Пикировались, как всегда — трудовик и вечный его оппонент Степан Степанович Левкоев.

— Это сущая правда, что врага нам приходится встречать голой грудью. Нас преступно привели к этой войне без пушек, без снарядов, без толковых генералов.

— Нас привели? Очаровательно! Но что же вы молчали, когда вас «приводили»? Голоса у вас не было что ли? Хм! Глотка то у вас пошире гипопотамовой. Не заткнешь. И кто приводил? В Думе у вас только и было что об отмене военно-полевых судов, об отмене смертной казни для ваших негодяев-террористов, да об амнистии для уличных смутьянов. О войне

вы и не думали. Армию готовы были совсем упразднить. Не призывал ли Алексинский не давать правительству ни копейки денег на армию и ни одного солдата? Вас занимало упразднение денщиков, а не кредиты на усиление нашей военной мощи.

Дондуа, приехавший в этот день повидать своих, удивлялся собственному вниманию с которым слушал споры, казавшиеся ему прежде такими скучными.

— А ты повзрослел, Александр, — сказал ему дядя.



Министерский стол Сухомлинова, как снегом заносило телеграммами с войны.

— Бой напряженный по всему фронту. Расход патронов необычайный, — писал Янушкевич. По его словам, пехота не нахвалится работой нашей артиллерии, но за недостатком снарядов пушки выдыхаются. Шестнадцатидневные и двадцатидневные бои поглощают все припасы. Генерал Иванов просил хотя бы сто пятьдесят тысяч легких пушечных и двадцать пять тысяч полевых гаубичных снарядов. В противном случае грозил приостановкой операций. — На днях представлю соображения ближайшей местной потребности.

— Дурак! Очень нужны твои соображения.

Уколом в министерское сердце было известие о посылке из Ставки на фронт генералов Ронжина и Кондзеровского с целью выяснения причин громадного требования припасов. Стало ясно, что всем хором требующим снарядов, дирижирует все тот же упорный враг. Зашевелились и петербургские злопыхатели. На-днях у Шуваловых, князь Андроников выступил со своей очередной запиской, обвинявшей военное министерство в полной неподготовленности к войне. Сазонов успел доложить государю о вредной деятельности Сухомлинова. Правда, государь отстоял своего любимца и сказал, что не придаст значения выпадам, пока не увидит черным по белому доказательств его вины, но факт вражеских происков угнетал министра. Он пробовал убеждать Ставку и штабы фронтов будто войска много стреляют, не экономят снаряды. Написал

несколько писем на фронт генералам, в преданности которых не сомневался. Особенно длинное письмо послал всем ему обязанному Добровольскому. Выражал сомнение в справедливости жалоб Иванова и Янушкевича, давал понять о необходимости других, «правдивых» сведений.

Но в тихую минуту, когда сидел однажды ничего не делая, его ударило в пот и в дрожь. Он привязан к рельсам и на него неумолимо, неотвратно надвигается поезд. Чудовищная прогрессия надобности в снарядах раздавит его беспощадно.

Н. Ульянов



Проходил я через зал, через зал.
Я поэт и фантазер, фантазер.
Подошел я к режиссеру и сказал:
— Уходи и не мешай мне, режиссер!

Только знаю — не уйдет, не уйдет.
Он стоит и говорит, говорит:
— Лучше руку ты вытягивай вперед,
Принимай-ка поторжественнее вид!

Сколько раз мне повторять, повторять:
Мне не нужен твой урок, твой урок.
Но мне слышится опять и опять
Режиссерский говорок, говорок:

— В этом месте нажимай, нажимай!
Без нажима не проймешь, не проймешь!
Я послушался — хватил через край,
И стихи я загубил ни за грош!

Пусть у каждого дорога своя,
Дайте каждому полет и простор!
Отвяжись ты, отвяжись от меня,
Не мешай мне, не мешай, режиссер!

Но он где-то возле стен, возле стен
Продолжает тарахтеть, тарахтеть,
И в квадратики его мизансцен
Попадаю я как перепел в сеть.

Был когда-то я удал-разудал,
По колено были все мне моря,
Но я чувствую, что куклою стал,
Кто-то дергает за нитку меня.

В один голос недрузья и друзья
Утешают: «Ничего, ничего,
В том и выразилась драма твоя,
Что игралась в постановке его!...»

Иван Елагин

ЗАГОВОР ЮРИСТОВ

Этот рассказ получен с оказией из Совсоюза и печатается без ведома и согласия автора. Печатаая многие рассказы В. Т. Шаламова, мы всегда подчеркивали, что печатаем их *без ведома и согласия автора* и приносили автору за это извинение. Рассказы В. Шаламова мы печатаем также, как и всякий другой самиздатовский материал, разными путями приходящий на Запад. Никакой связи с авторами этого материала у нас нет и не было. Тем не менее «Литературная Газета» от 23 февр. с. г. опубликовала за подписью Варлама Шаламова «протест» против печатания нашим журналом его «Колымских рассказов». «Протест» этот написан кагебистским языком и стилем «Лит. газеты», а не языком и стилем В. Шаламова. Мы приносим извинение В. Шаламову, если печатание его произведений в «Новом Журнале» доставило ему какие-нибудь неприятности. Но мы никак не отказываемся от нашего права и обязанности опубликовывать в «Новом Журнале» получаемый нами самиздатовский материал, который органы комдиктатуры не печатают в Совсоюзе. «Литературной Газете» же мы даем совет, вместо того, чтобы сочинять и печатать «протесты» — печатать лучше «Колымские рассказы» В. Шаламова и другие самиздатовские произведения. Тогда, естественно мы печатать (т. е. перепечатывать) их не будем. Р. Г.

В бригаду Шмелева сгребали человеческий шлак — людские отходы золотого забоя. Из «разреза», где добывают «пески» и снимают «торф», было три пути: «под сопку» в братские безымянные могилы, в больницу или в бригаду Шмелева: три пути доходяг. Бригада эта работала там же, где и другие, только дела ей поручались не такие важные. Лозунги: «Выполнение плана — закон» и «довести план до забойщика» были не просто словами. Их толковали так: не выполнил норму — нарушил закон, обманул государство и должен отвечать сроком, а то и собственной жизнью. И кормили шмелевцев

похуже, поменьше. Но я хорошо помнил здешнюю поговорку: «В лагере убивает большая пайка, а не маленькая». Я не гнался за большой пайкой «основных» забойных бригад.

Я был переведен к Шмелеву недавно, недели три, и не знаю его лица — была в разгаре зима, голова бригадира была замысловато укутана каким-то рваным шарфом, а вечером в бараке было темно — бензиновая «колымка» едва освещала дверь. Я и не помню бригадирского лица. Голос только — хриплый, простуженный голос.

Работали мы в ночной смене в декабре, и каждая ночь казалась пыткой — пятьдесят градусов не шутка. Но все же ночью было лучше, спокойней, меньше начальства в забое, меньше ругани и битья.

Бригада строилась «на выход». Зимой строились в бараке, и эти последние минуты перед уходом в ледяную ночь на двенадцатичасовую смену мучительно вспомнить и сейчас. Здесь, в этой нерешительной толкотне у приоткрытых дверей, откуда ползет ледяной пар, сказывался человеческий характер. Один, пересилив дрожь, шагнул прямо в темноту, другой торопливо досасывал неизвестно откуда взявшийся окурочок махорочной цыгарки, где и махорки-то не было ни запаха, ни следа; третий заслонял лицо от холодного ветра, четвертый стоял над печкой, держа рукавицы и набирая в них тепло.

Последних выталкивал из барака дневальный. Так поступали везде, в каждой бригаде с самыми слабыми.

Меня в этой бригаде еще не выталкивали. Здесь были люди и слабее меня, и это вносило какое-то успокоение, нечаянную радость какую-то. Здесь я пока еще был человеком. Толчки и кулаки дневального остались в той «золотой» бригаде, откуда меня перевели к Шмелеву.

Бригада стояла в бараке у двери, готовая к выходу. Шмелев подошел ко мне.

— Останешься дома, — прохрипел он.

— На утро перевели что-ли? — недоверчиво сказал я. Из смены в смену переводили всегда навстречу часовой стрелке, чтоб рабочий день не терялся, и заключенный не мог

получить несколько лишних часов отдыха. Эту механику я знал.

— Нет, тебя Романов вызывает.

— Романов? Кто такой Романов?

— Ишь, гад, Романова не знает — вмешался дневальный.

— Уполномоченный, понял? Не доходя конторы живет.

Придешь в 8 часов.

— В восемь часов!

Чувство величайшего облегчения охватило меня. Если уполномоченный продержит меня до двенадцати, до ночного «обеда» и больше, — я имею право совсем не ходить сегодня на работу. Сразу тело почувствовало усталость. Но это была радостная усталость, заныли мускулы.

Я развязал подпояску, расстегнул бушлат и сел около печки. Сразу стало тепло и зашевелились вши под гимнастеркой. Обкусанными ногтями я почесал шею, грудь. И задремал.

— Пора, пора, — тряс меня за плечо дневальный. — Иди, покурить принеси, не забудь.

Я постучал в дверь дома, где жил уполномоченный. Загремели щеколды, замки, множество щеколд и замков, и кто-то невидимый крикнул из-за двери:

— Ты кто?

— Заключенный Шаламов по вызову.

Раздался грохот щеколд, звон замков — и все замолкло.

Холод забирался под бушлат, ноги стыли. Я стал колотить буркой о бурку — носили мы не валенки, а стеганые, шитые из старых брюк и телогреек ватные бурки.

Снова загремели щеколды, и двойная дверь открылась, пропуская свет, тепло и музыку.

Я вошел. Дверь из передней была не закрыта — там играл радиоприемник.

Уполномоченный Романов стоял передо мной. Вернее, я стоял перед ним, а он низенький, полный, пахнущий духами, подвижной, вертелся вокруг меня, разглядывая мою фигуру черненькими быстрыми глазами.

Запах заключенного дошел до его ноздрей, и он вытащил белоснежный носовой платок и встряхнул его. Волны музыки,

тепла, одеколону охватили меня. Главное — тепла. Голландская печка была раскалена.

— Вот и познакомились, — восторженно твердил Романов, передвигаясь вокруг меня и взмахивая душистым платком. — вот и познакомились.

— Ну, проходи. — И он открыл дверь в соседнюю комнату-кабинетик с письменным столом, двумя стульями.

— Садись. Ни за что не угадаешь, зачем я тебя вызвал. Закуривай.

Он порылся в бумагах на столе.

— Как твое имя-отчество?

Я сказал.

— А год рождения?

— 1907-й.

— Юрист?

— Я, собственно, не юрист, но учился в Московском...

— Значит, — юрист. Вот и отлично. Сейчас ты сиди, я позвоню кое-куда, и мы с тобой поедем.

Романов выскользнул из комнаты, и вскоре в столовой выключили музыку, и начался телефонный разговор.

Я задремал, сидя на стуле. Даже сон какой-то начался снится. Романов то исчезал, то опять возникал.

— Слушай. У тебя есть какие-нибудь вещи в бараке?

— Все со мной.

— Ну, вот и отлично, право, отлично. Машина сейчас придет и мы с тобой поедем. Знаешь, куда поедем? Не угадаешь? В самый Хатыннах, в Управление! Бывал там? Ну, я шучу, шучу...

— Мне все равно.

— Вот и хорошо.

Я переобулся, размял руками пальцы ног, перевернул портянки.

Ходики на стене показывали половину двенадцатого. Даже если все это шутка — насчет Хатыннаха, то все равно, сегодня я уже на работу не пойду. Загудела близко машина, и свет фар блеснул по ставням и задел потолок кабинета.

— Поехали, поехали.

Романов был в белом полушубке, в якутском малахае, расписных торбазах. Я застегнул бушлат, подпоясался, поддержал рукавицы над печкой. Мы вышли к машине. Полутонотонка с открытым кузовом.

— Сколько сегодня, Миша? — спросил Романов у шофера.

— Шестьдесят, товарищ уполномоченный. Ночные бригады сняли с работы.

Значит, и наша, шмелевская, дома. Мне не так уж повезло, выходит.

— Ну, Шаламов, — сказал уполномоченный, прыгая вокруг меня. — Ты садись в кузов. Недалеко ехать. А Миша поедет побыстрей. Правда, Миша?

Миша промолчал. Я влез в кузов, свернулся в клубок, обхватил руками ноги. Романов втиснулся в кабину, и мы поехали.

Дорога была плохая и так кидало, что я не застыл. Думать ни о чем не хотелось, да на холоде и думать нельзя. Часа через два замелькали огни, и машина остановилась около двухэтажного деревянного рубленого дома. Везде было темно и только в одном окне второго этажа горел свет. Два часовых в тулупах стояли около большого крыльца.

— Ну, вот и доехали, вот и отлично. Пусть он тут постоит. — И Романов исчез на большой лестнице.

Было два часа ночи. Огонь был погашен везде, и горела только лампочка за столом дежурного.

Ждать пришлось недолго. Романов — он уже успел раздеться и был в форме НКВД — сбежал с лестницы и замахаля руками.

— Сюда, сюда.

Вместе с помощником дежурного мы пошли наверх и в коридоре второго этажа остановились перед дверью с дощечкой «Ст. уполномоченный МВД Смертин». Столь угрожающий псевдоним (не настоящая же это фамилия) произвел впечатление даже на меня, уставшего беспредельно.

Для псевдонима — чересчур — подумал я, но надо было уже входить, идти по огромной комнате с портретом Сталина

во всю стену, остановиться перед письменным столом исполинских размеров, разглядывать бледное рыжеватое лицо человека, который всю жизнь провел в комнатах, в таких вот комнатах.

Романов почтительно сгнулся у стола.

Тусклые голубые глаза старшего уполномоченного товарища Смертина остановились на мне. Остановились очень недолго. Он что-то искал на столе, перебирал какие-то бумаги. Услужливые пальцы Ромазова нашли то, что было нужно найти.

— Фамилия? — спросил Смертин, вглядываясь в бумаги.

— Имя-отчество?

— Статья?

— Срок?

Я ответил.

— Юрист?

— Юрист.

Бледное лицо поднялось от стола.

— Жалобы писал?

— Писал.

Смертин засопел:

— За хлеб?

— И за хлеб, и просто так.

— Хорошо! Ведите его.

Я не сделал ни одной попытки что-нибудь выяснить, спросить. Зачем? Ведь я не на холоде, не в ночном золотом забое. Пусть выясняют, что хотят.

Пришел помощник дежурного с какой-то запиской, и меня повели по ночному поселку на самый край, где под защитой четырех караульных вышек за тройной загородкой из колючей проволоки помещался... «изолятор», лагерная тюрьма.

В тюрьме были камеры большие, а были и одиночки. В одну из таких одиночек втокнули меня. Я рассказал о себе, не ожидая ответа от соседей, не спрашивая их ни о чем. Так положено чтобы не думали, что я «подсажен».

Настало утро, очередное колымское зимнее утро, без света, без солнца, ничем не отличимое от ночи. Ударили в

рельс, принесли ведро дымящегося кипятка. За мной пришел конвой, и я попрощался с товарищами. Я не знал о них ничего.

Меня привели к тому же самому дому. Дом мне показался меньше, чем ночью. Пред светлые очи Смертина я уже не был допущен. Дежурный велел мне сидеть и ждать, и я сидел и ждал до тех пор, пока не услышал знакомый голос:

— Вот и хорошо! Вот и отлично! Сейчас вы поедете! — На чужой территории Романов называл меня на «вы».

Мысли лениво передвигались в мозгу — почти физически ошутимо. Надо было думать о чем-то новом, к чему я не привык, не знаю. Это — новое — не приисковое. Если бы мы возвращались на свой прииск «Партизан», то Романов сказал бы: «Сейчас мы поедем». Значит, меня везут в другое место. Да пропади всё пропадом!

По лестнице почти вприпрыжку спустился Романов. Казалось вот-вот он сядет на перила и съедет вниз, как мальчишка. В руках он держал почти целую буханку хлеба.

— Вот, это вам на дорогу. И еще вот. — Он исчез наверху и вернулся с двумя селедками.

— Порядок, да? Всё кажется. Да, самое-то главное забыл, что значит некурящий человек.

Романов поднялся наверх и вернулся снова с газетой. На газете была насыпана махорка. Коробочки три, наверное, — опытным глазом определил я. В пачке-восьмушке — восемь спичечных коробков махорки. Это — лагерная мера объема.

— Это вам на дорогу. Сухой паек, так сказать.

Я молчал.

— А конвой уже вызвали?

— Вызвали, — сказал дежурный.

— Наверх пришлите старшего.

И Романов исчез на лестнице.

Пришли два конвоира — один постарше, рябой, в папахе кавказского образца; другой молодой, лет двадцати, розовощекий, в красноармейском шлеме.

— Вот этот, — сказал дежурный, показывая на меня.

Оба — молодой и рябой — оглядели меня очень внимательно с ног до головы.

в суп. Я брал котелок, ел и вылизывал дно до блеска по приисковой привычке.

На третий день дверь отворилась, и рябой боец, одетый в тулуп поверх полушубка, шагнул через порог карцера.

Я стоял на крыльце райотдела. Я думал, что мы поедем опять в «утеплённом» тюремном автобусе, но «ворона» нигде не было видно. Обыкновенная трехтонка стояла у крыльца.

— Садись.

Я послушно перевалился через борт.

Молодой боец влез в кабинку шофера. Рябой сел рядом со мной. Машина двинулась, и через несколько минут мы очутились на «трассе». Куда меня везут? К северу или к югу? К западу или к востоку? Спрашивать быю не нужно, да конвой и не должен отвечать. На другой участок передают? На какой? Машина тряслась много часов и вдруг остановилась.

— Здесь мы пообедаем. Слезай.

Я слез.

Мы вышли в дорожную «трассовую» столовую.

«Трасса» — аорта и главный нерв Колымы. В обе стороны беспрерывно движутся грузы техники — без охраны; продукты — с обязательным конвоем — беглецы нападают, грабят. Да и от шофера и агента снабжения конвой, хоть и ненадежный, но все же защита — может предупредить воровство.

В столовых встречаются геологи, разведчики приисковых партий, едущие в отпуск с заработанным длинным рублем, подпольные продавцы табака и чифиря, северные герои и северные подлецы. В столовых спирт тут продают везде. Они встречаются, спорят, дерутся, обмениваются новостями и спешат, спешат. Машины с невыключенными моторами оставляют работать, а сами ложатся спать в кабинку на два-три часа. Тут же везут заключенных: чистенькими, стройными партиями вверх в тайгу; и сверху: отходами приисков с разбитыми грязными изломанными телами полуживых людей, переставших быть людьми. Тут и сыщики-оперативники, которые ловят беглецов. И сами беглецы — часто в военной форме. Здесь едет

в черных «зисах» начальство — хозяева жизни и смерти всех этих людей, заключенных и вольных.

Драматургу надо показывать север именно в дорожной столовой — это наилучшая сцена.

Я стоял в столовой, стараясь протиснуться к печке, огромной печке-бочке, раскаленной докрасна. Конвоиры не очень беспокоились, что я сбегу — я слишком ослабел — и это было хорошо видно. Даже неопытным людям было ясно, что доходяге на 50°-м морозе некуда бежать.

— Садись, вон, ешь.

Конвоиры купили мне тарелку горячего супа, дали хлеба.

— Сейчас поедем дальше, — сказал молодой. — Старший придет и поедет.

Но рябой пришел не один. С ним был немолодой «боец» (солдатами еще их в те времена не звали) с винтовкой и в полушубке. Он поглядел на меня, на рябого.

— Ну, что же, можно, — сказал он.

— Пошли, — сказал мне рябой.

Мы перешли в другой угол огромной столовой. Там у стены сидел, скорчившись, человек в бушлате и шапочке-бамлагерке, черной фланелевой ушанке.

— Садись сюда, — сказал мне рябой. Я послушно опустился на пол рядом с тем человеком. Он не повернул головы.

Рябой и незнакомый боец ушли. Молодой «мой» конвоир остался с нами.

— Они отдых себе делают, понял? — зашептал мне внезапно человек в арестантской шапочке. — Не имеют права.

— Да, душа из них вон, — сказал я. — Пусть делают, как хотят. Тебе что — кисло от этого?

Человек поднял голову: — Я тебе говорю — не имеют права.

— А куда нас везут? — спросил я.

— Куда тебя везут, не знаю, а меня в Магадан. На расстрел.

— На расстрел?

— Да. Я приговоренный: из западного управления. Из Сусумана.

в суп. Я брал котелок, ел и вылизывал дно до блеска по приисковой привычке.

На третий день дверь отворилась, и рябой боец, одетый в тулуп поверх полушубка, шагнул через порог карцера.

Я стоял на крыльце райотдела. Я думал, что мы поедем опять в «утеплённом» тюремном автобусе, но «ворона» нигде не было видно. Обыкновенная трехтонка стояла у крыльца.

— Садись.

Я послушно перевалился через борт.

Молодой боец влез в кабину шофера. Рябой сел рядом со мной. Машина двинулась, и через несколько минут мы очутились на «трассе». Куда меня везут? К северу или к югу? К западу или к востоку? Спрашивать быю не нужно, да конвой и не должен отвечать. На другой участок передают? На какой? Машина тряслась много часов и вдруг остановилась.

— Здесь мы пообедаем. Слезай.

Я слез.

Мы вышли в дорожную «трассовую» столовую.

«Трасса» — аорта и главный нерв Колымы. В обе стороны беспрерывно движутся грузы техники — без охраны; продукты — с обязательным конвоем — беглецы нападают, грабят. Да и от шофера и агента снабжения конвой, хоть и ненадежный, но все же защита — может предупредить воровство.

В столовых встречаются геологи, разведчики приисковых партий, едущие в отпуск с заработанным длинным рублем, подпольные продавцы табака и чифирия, северные герои и северные подлецы. В столовых спирт тут продают везде. Они встречаются, спорят, дерутся, обмениваются новостями и спешат, спешат. Машины с невыключенными моторами оставляют работать, а сами ложатся спать в кабину на два-три часа. Тут же везут заключенных: чистенькими, стройными партиями вверх в тайгу; и сверху: отходами приисков с разбитыми грязными изломанными телами полуживых людей, переставших быть людьми. Тут и сыщики-оперативники, которые ловят беглецов. И сами беглецы — часто в военной форме. Здесь едет

в черных «зисах» начальство — хозяева жизни и смерти всех этих людей, заключенных и вольных.

Драматургу надо показывать север именно в дорожной столовой — это наилучшая сцена.

Я стоял в столовой, стараясь протиснуться к печке, огромной печке-бочке, раскаленной докрасна. Конвоиры не очень беспокоились, что я сбегу — я слишком ослабел — и это было хорошо видно. Даже неопытным людям было ясно, что доходяге на 50°-м морозе некуда бежать.

— Садись, вон, ешь.

Конвоиры купили мне тарелку горячего супа, дали хлеба.

— Сейчас поедem дальше, — сказал молодой. — Старший придет и поедem.

Но рябой пришел не один. С ним был немолодой «боец» (солдатами еще их в те времена не звали) с винтовкой и в полушубке. Он поглядел на меня, на рябого.

— Ну, что же, можно, — сказал он.

— Пошли, — сказал мне рябой.

Мы перешли в другой угол огромной столовой. Там у стены сидел, скорчившись, человек в бушлате и шапочке-бамлагерке, черной фланелевой ушанке.

— Садись сюда, — сказал мне рябой. Я послушно опустился на пол рядом с тем человеком. Он не повернул головы.

Рябой и незнакомый боец ушли. Молодой «мой» конвоир остался с нами.

— Они отдых себе делают, понял? — зашептал мне внезапно человек в арестантской шапочке. — Не имеют права.

— Да, душа из них вон, — сказал я. — Пусть делают, как хотят. Тебе что — кисло от этого?

Человек поднял голову: — Я тебе говорю — не имеют права.

— А куда нас везут? — спросил я.

— Куда тебя везут, не знаю, а меня в Магадан. На расстрел.

— На расстрел?

— Да. Я приговоренный: из западного управления. Из Сусумана.

Это мне совсем не понравилось. Но я ведь не знал порядков, процедурных порядков «высшей меры». Я смущенно замолчал. Подошел рябой боец вместе с новым нашим спутником. Они стали говорить что-то между собой. Как только конвоя стало больше, — они стали резче, грубее. Мне уже больше не покупали супа в столовой.

Проехали еще несколько часов, и в столовой к нам подвели еще троих — «этап», «партия» собиралась уже значительная. Трое новых были неизвестного возраста, как все колымские доходяги; вздутая белая кожа, припухлость лиц говорили о голоде, о цынге. Лица были в пятнах от обморожений.

— Вас куда везут?

— В Магадан. На расстрел. Мы приговоренные.

Мы лежали в кузове трехтонки, скрючившись, упершись в колени, в спины друг друга. У трехтонки были хорошие рессоры, «трасса» была отличной дорогой, нас почти не подбрасывало — и мы начали замерзать.

Мы кричали, стонали, но конвой был неумолим. Надо было засветло добраться до Спорного. Приговоренный к расстрелу умолял «перегреться» хоть на пять минут. Машина влетела в «Спорный», когда уже горел свет.

Пришел рябой: — Вас поместят в лагерный изолятор, а утром поедете дальше.

Я промерз до костей, онемел от мороза, стучал из последних сил подошвами бурок о снег. Не согревался. «Бойцы» все искали лагерное начальство. Наконец, через час нас отвели в мерзлый, нетопленный лагерный изолятор. Иней затянул все стены, земляной пол весь оледенел. Кто-то внес ведро воды. Загрел замком. А дрова? А печка?

Вот здесь в эту ночь на «Спорном» я отморозил наново все десять пальцев ног, безуспешно пытался заснуть, хоть на минуту.

Утром нас вывели, посадили в машину. Замелькали сопки, захрипели встречные машины. Машина спустилась с перевала, и нам стало так тепло, что захотелось никуда не ехать, подождать, походить хоть немного по этой чудесной земле.

Разница была градусов в десять, не меньше. Да и ветер был какой-то теплый, чуть не весенний.

— Конвой! Оправиться!... — Как еще рассказать бойцам, что мы рады теплу, южному ветру, избавлению от звенящей тиши тайги.

— Ну, вылезай!

Конвоирам тоже было приятно размяться, покурить. Мой искатель справедливости уже приближался к конвою:

— Покурим, гражданин боец?

— Покурим. Иди на место.

Один из новичков не хотел слезать с машины. Но видя, что «оправка» затянулась, он передвинулся к борту и поманил меня рукой.

— Помоги спуститься.

Я протянул руку к бессильному доходяге, вдруг почувствовал необычайную легкость его тела, какую-то смертную легкость. Я отошел. Человек, держась руками за борт машины, сделал несколько шагов.

— Как тепло. — Но глаза были мутны, без всякого выражения.

— Ну, поехали, поехали. Тридцать градусов.

С каждым часом становилось все теплее.

В столовой поселка «Палатка» наши конвоиры обедали последний раз. Рябой купил мне килограмм хлеба.

— Возьми, вот, беляшки. Вечером приедем.

Шел мелкий снег, когда далеко внизу показались огни Магадана. Было градусов десять. Безветренно. Снег падал почти отвесно — мелкие, мягкие снежинки. Машина остановилась близ райотдела МВД. Конвоиры вошли в помещение.

Вышел человек в штатском, без шапки. В руках он держал разорванный конверт. Он выкликнул чью-то фамилию привычно, звонко. Человек с легким телом отполз по его знаку в сторону.

— В тюрьму!

Человек в костюме скрылся в здании и сейчас же появился. В руках у него был новый пакет.

— Иванов! — Константин Иванович. — В тюрьму! —

Уграцкий Сергей Федорович! — В тюрьму! — Симонов Евгений Петрович! — В тюрьму!

Я не прощался ни с конвоем, ни с теми, кто ехал вместе со мною в Магадан. Это не принято.

Перед крыльцом райотдела стоял только я вместе со своими конвоирами.

Человек в костюме опять показался на крыльце с пакетом.

— Шаламов! Варлам Тихонович! — Райотдел! Сейчас я вам дам расписку, — сказал человек моим конвоирам.

Я вошел в помещение. Первым делом — где печка? Вот она — батарея центрального отопления. Дежурный за деревянным барьером. Телефон. Победнее, чем у товарища Смертина в Хатыннахе. А, может быть, потому что, это был такой первый кабинет в моей колымской жизни? Вверх по корридору уходила крутая лестница на второй этаж.

Вошел человек в штатском костюме, который принимал нас на улице.

— Идите сюда.

По узкой лесенке поднимались мы на второй этаж, дошли до двери с надписью: «Я. Атлас, ст. уполномоченный».

— Садитесь.

Я сел. В крошечном кабинете главное место занимал стол. Бумаги, папки, списки какие-то. Атласу было лет тридцать восемь-сорок. Полный, спортивного вида мужчина, черноволосый, чуть лысоватый.

— Фамилия?

— Шаламов.

— Имя, отчество, статья, срок?

Я ответил.

— Юрист?

— Юрист.

Атлас вскочил с места и обошел вокруг стола: «Прекрасно!»

— С вами будет говорить капитан Ребров!

— А кто такой капитан Ребров?

— Начальник СПО. Идите вниз.

Я возвратился к своему месту около батареи. Размыслив

я решил заблаговременно съесть тот килограмм «беляшки», который мне дали конвоиры. Бак с водой и прикованная к нему кружка были тут же. Ходики на стене мерно тикали. В полудреме я слышал, как кто-то прошел мимо меня наверх быстрыми шагами, и дежурный разбудил меня.

— К капитану Реброву!

Меня провели на второй этаж. Открылась дверь небольшого кабинета, и я услышал резкий голос:

— Сюда, сюда!

Обыкновенный кабинет, чуть побольше того, где я был часа два назад. Стекловидные глаза капитана Реброва устремлены были прямо на меня. На углу стола стоял недопитый стакан чаю с лимоном, обкусанная корочка сыра на блюде. Телефоны. Папки. Портреты.

— Фамилия?

Я сказал.

— Имя-отчество, статья, срок? — Юрист?

— Юрист.

Капитан Ребров перегнулся через стол, приближая ко мне стеклянные глаза, и спросил:

— Парфентьева знаешь?

— Да, знаю.

Парфентьев был моим бригадиром в забойной бригаде на прииске еще до того, как я попал в бригаду Шмелева. Из Парфентьевской бригады меня перевели в бригаду Потураева, а оттуда — к Шмелеву. У Парфентьева я работал несколько месяцев.

— Да. Знаю. Это мой бригадир, Дмитрий Тимофеевич Парфентьев.

— Так. Хорошо. Значит, Парфентьева знаешь?

— Да, знаю.

— А Виноградова знаешь?

— Виноградова не знаю.

— Виноградова, председателя Дальстройсуда?

— Не знаю.

Капитан Ребров зажег папиросу, глубоко затянулся и проговорил, потушив папиросу о блюде.

— Значит, ты знаешь Виноградова и не знаешь Парфентьева?

— Нет, я не знаю Виноградова...

— Ах, да. Ты знаешь Парфентьева и не знаешь Виноградова. Ну, что ж!

Капитан Ребров нажал кнопку звонка. Дверь за моей спиной открылась.

— В тюрьму!

Блюдечко с окурком и недоеденной корочкой сыра осталось в кабинете начальника СПО на письменном столе справа, возле графина с водой.

Глубокой ночью конвоир вел меня по спящему Магадану.

— Шагай скорее.

— Мне некуда спешить.

— Поговори еще! — Боец вынул пистолет. — Застрелю как собаку. Списать нетрудно.

— Не спишешь, — сказал я. — Ответишь перед капитаном Ребровым.

— Иди, зараза!

Магадан — город маленький. Вскоре мы добрались до «Дома Васькова», как называется местная тюрьма. Васьков был заместителем Берзина, когда строился Магадан. Деревянная тюрьма была одним из первых магаданских зданий. Тюрьма сохранила имя человека, который строил ее. В Магадане давно построена каменная тюрьма, но и это новое, «благоустроенное» здание по последнему слову пенитенциарной техники называется «Домом Васькова».

После кратких переговоров на «вахте» меня впустили во двор «Дома Васькова». Низкий, приземистый, длинный корпус тюрьмы из гладких тяжелых лиственных деревьев. Через двор — два «Палатки» — деревянные здания.

— Во Вторую, — сказал голос сзади.

Я ухватился за ручку двери, открыл и вошел.

Двойные нары, полные людьми. Но не тесно, не вплотную. Земляной пол. Печка-полубочка на длинных железных ногах. Запах пота, лизоля и грязного тела. С трудом я вполз наверх

— теплее все-таки — и пролез на свободное место. Сосед проснулся.

— Из тайги?

— Из тайги.

— Со вшами?

— Со вшами.

— Ложись тогда в угол. У нас здесь вшей нет. Здесь дезинфекция работает.

— Дезинфекция — это хорошо, — думал я. — А главное — тепло.

Утром кормили. Хлеб, кипяток. Мне еще хлеба не полагалось. Я снял с ног бурки, положил их под голову, спустил ватные брюки, чтобы согреть ноги, заснул и проснулся через сутки, когда уже давали хлеб, и я был зачислен на полное довольствие «Дома Васькова».

В обед давали юшку от галушек, три ложки пшеничной каши. Я спал до утра следующего дня, до той минуты, когда дикий голос дежурного разбудил меня.

Я слез с нар.

— Выходи на двор — иди вот к тому крыльцу. Двери подлинного «Дома Васькова» открылись передо мной, и я вошел в низкий тускло освещенный коридор. Надзиратель отпер замок, отвалил массивную железную щеколду и открыл крошечную камеру с двойными нарами. Два человека, согнувшись, сидели в углу нижних нар.

Я подошел к окну, сел. За плечи меня тряс человек. Это был мой приисковый бригадир, Дмитрий Тимофеевич Парфентьев.

— Ты понимаешь что-нибудь?

— Ничего не понимаю.

— Когда тебя привезли?

— Три дня назад. На легковушке Атлас привез.

— Атлас? Он допрашивал меня в райотделе. Лет сорок, лысоватый. В штатском.

— Со мной ехал в военном.

— А что тебя спрашивал капитан Ребров?

— Не знаю ли я Виноградова.

— Ну?

— Откуда же мне его знать?

— Виноградов — председатель Дальстройсуда.

— Это ты знаешь, а я не знаю, кто такой Виноградов.

— Я учился с ним.

Я начал кое-что понимать. Парфентьев был до ареста областным прокурором в Челябинске, Карельским прокурором. Виноградов, проезжая через «Партизана», узнав, что университетский товарищ в забое, передал ему деньги, попросил начальника «Партизана» Анисимова помочь Парфентьеву. Парфентьева перевели в кузницу молотобойцем. Анисимов сообщил о просьбе Виноградова в МВД, Смертину, тот — в Магадан, капитану Реброву, и начальник СПО приступил к разработке дела Виноградова. Были арестованы все юристы — заключенные по всем приискам Севера. Остальное было делом следовательской техники.

— А мы здесь зачем? Я был в палатке...

— Нас выпускают, — сказал Парфентьев.

— Выпускают? На волю? То-есть не на волю, а на пересылку, на транзитку?

— Да, — сказал третий человек, выползая на свет и оглядывая меня с явным презрением.

Раскормленная розовая рожа. Одет он был в черную дошку, зефирная рубашка была растегнута на груди.

— Что, знакомы? Не успел вас задавить капитан Ребров. Враг народа...

— А ты-то, друг народа?

— Да уж, по крайней мере, не политический. Ромбов не носил. Не издевался над трудовыми людьми. Вот из-за вас, из-за таких и нас сажают.

— Блатной, что ли? — сказал я.

— Кому блатной, а кому портной.

— Ну, перестаньте, перестаньте, — заступился за меня Парфентьев.

— Гад! Не терплю!

Загремели двери.

— Выходи!

Около вахты толкалось человек семь. Мы с Парфентьевым подошли поближе.

— Вы что — юристы, что ли? — спросил Парфентьев.

— Да! Да!

— А что случилось? Почему нас выпускают?

— Капитан Ребров арестован. Велено освободить всех, кто по его ордерам, — негромко сказал кто-то всеведущий.

Нас повели на «транзитку» в огромный пакгауз с четырехэтажными нарами, где тысяча людей голых на верхних нарах и глухо закутанных в рваное тряпье на нижних дышали, двигались, говорили, стучали — многоголосый барачный гул встретил нас. И мы исчезли в людском море. Во всех проходах стояли тесно. На верхних нарах лежали тесно.

Я выбрал место среди спящих, нацелился локтем, опустил сверху, втиснулся под невнятную ругань и уснул.

В. Шаламов

Г О Р И

Вот он домик в Гори
С балдахином Славы!
Вот откуда Горе
Вышло в путь кровавый.
Рядом же в музее
Болтолог с указкой
Тешит ротозеев
Сладенькою сказкой.
В этом зданьи надо б
Свести, как в Пантеоне,
Жертв исчадья Ада
Души миллионов!

Ярослав Россов

Это стихотворение мы получили с оказией из Совсоюза. РЕД.



Здесь, в этом мире многослезном,
Не забывай о небе звездном,
Со всех сторон объявшем нас,
О тайне, веющей оттуда
На жизни длящееся чудо,
На каждый день, на каждый час.

Будь тайне этой чуткой чашей,
Пойми, нет будней в жизни нашей,
Для мудрых в мире будней нет, —
Сквозь боль и гнев и нетерпенье —
Свет изумленья и прозренья,
Неотвратимый звездный свет.



Песня вспыхнула мгновенно
И поет во мне, —
Песня так же несомненна,
Как полет во сне.

Так уверенно и стройно
Пробивает путь,
Как во сне летишь спокойно,
Распрямляя грудь.

И как там не знаешь цели,
Только свой полет,
Так и песня в пленном теле
Вольная живет.

Лидия Алексеева

СТАРУХА

*...И между ними происходит
следующий разговор.*

Гамсун

На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо старухи, останавливаюсь и спрашиваю ее: «Который час?»

— Посмотрите, — говорит старуха. Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок.

— Тут нет стрелок, — говорю я.

Старуха смотрит на циферблат и говорит мне:

— Сейчас без четверти три.

— Ах, так. Большое спасибо, — говорю я и ухожу. Старуха кричит мне что-то вслед, но я иду и не оглядываюсь. Я выхожу на улицу и иду по солнечной стороне. Весеннее солнце очень приятно. Я иду пешком, шурю глаза и курю трубку. На углу Садовой мне попадается навстречу Сакердон Михайлович. Мы здороваемся, останавливаемся и долго разговариваем. Мне надоедает стоять на улице, и я приглашаю Сакердона Михайловича в подвальчик. Мы пьем водку, закусываем крутым яйцом с килькой, потом прощаемся, и я иду дальше.

Тут я вспоминаю, что забыл дома выключить электрическую печку. Мне очень досадно. Так хорошо начался день,

Эту рукопись мы получили с оказией из Совсоюза. Автор ее, поэт и прозаик Даниил Хармс (псевдоним ленинградского поэта А. И. Ювачева). Литературно Д. Хармса надо определить как «абсурдиста». Он принадлежал к группе т.н. «обэриутов» (Объединение реального искусства) вместе с А. Введенским, Н. Заболоцким, К. Вагиновым, И. Бахтеревым и др., создавшейся в 1927-28 г.г. В 1940 г. Л. Хармс был арестован НКВД и погиб. РЕД.

и вот уже первая неудача. Мне не следовало бы выходить на улицу.

Я прихожу домой, снимаю куртку, вынимаю из жилетного кармана часы и вешаю их на гвоздик, потом запираю дверь на ключ и ложусь на кушетку. Буду лежать и постараюсь заснуть.

С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казни. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они перестали вдруг двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватях и не могут даже есть, потому что у них не открываются даже рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк, и они все околевают.

Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть. Мне вспоминается старуха с часами, которую я видел сегодня во дворе, и мне делается приятно, что на ее часах не было стрелок. А вот на днях я видел в комиссионном магазине отвратительные кухонные часы, и стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки.

Боже мой! Ведь я еще не выключил электрической печки! Я вскакиваю и выключаю ее, потом опять ложусь на кушетку и стараюсь заснуть. Я закрываю глаза. Мне не хочется спать. В окно светит весеннее солнце, прямо на меня. Мне становится жарко. Я встаю и сажусь в кресло у окна.

Теперь мне хочется спать, но спать я не буду. Я возьму бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе странную силу. Я все обдумал еще вчера. Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудеса. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть пальцем и квартира останется за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он про-

должает жить в сарае, и, в конце концов, умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда.

Я сижу и от радости потираю руки. Сакердон Михайлович лопнет от зависти. Он думает, что я уже не способен написать гениальную вещь... Скорее, скорее за работу. Долой всякий сон и лень! Я буду писать восемнадцать часов подряд!

От нетерпения я весь дрожу. Я не могу сообразить, что мне делать: мне нужно было взять перо и бумагу, а я хватал разные предметы, совсем не те, которые мне были нужны. Я бегал по комнате: от окна к столу, от стола к печке, от печки опять к столу, потом к дивану и опять к столу. Я задыхался от пламени, которое пылало в моей груди. Сейчас только пять часов. Впереди весь день, и вечер, и вся ночь...

Я стою посреди комнаты. О чем же я думаю? Ведь уже двадцать минут шестого. Надо писать. Я придвигаю к окну столик и сажусь за него. Передо мной клетчатая бумага, в руке перо.

Мое сердце еще слишком бьется, и рука дрожит. Я жду, чтобы немножко успокоиться, я кладу перо и набиваю трубку. Солнце светит мне прямо в глаза, я жмурюсь и закурываю трубку.

Вот мимо меня пролетает ворона. Я смотрю из окна на улицу и вижу, как по панели идет человек на механической ноге. Он громко стучит своей ногой и палкой.

— Так, — говорю я сам себе, продолжая смотреть в окно.

Солнце прячется за трубу противостоящего дома. Тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Надо воспользоваться этой тенью и написать несколько слов о чудотворце. Я хватаю перо и пишу:

«Чудотворец был высокого роста».

Больше я ничего написать не могу. Я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать голод. Тогда я встаю и иду к шкапику, где хранится у меня провизия. Я шарю там, но ничего не нахожу. Кусок сахара и больше ничего. В дверь кто-то стучит.

— Кто там?

Мне никто не отвечает. Я открываю двери и вижу перед собой старуху, которая утром стояла на дворе с часами. Я очень удивлен и ничего не могу сказать.

— Вот я и пришла, — говорит старуха и входит в мою комнату.

Я стою у двери и не знаю, что мне делать: выгнать старуху или, наоборот, предложить ей сесть? Но старуха сама идет к моему креслу возле окна и садится на него.

— Закрой дверь и запири ее на ключ, — говорит мне старуха.

Я закрываю и запираю дверь.

— Встань на колени, — говорит старуха. И я становлюсь на колени.

Тут я начинаю понимать всю нелепость своего положения. Зачем я стою на коленях перед какой-то старухой? Да и почему эта старуха находится в моей комнате и сидит в моем любимом кресле? Почему я не выгнал эту старуху?

— Послушайте-ка, — говорю я, — какое право имеете вы распоряжаться в моей комнате, да еще командовать мной? Я вовсе не хочу стоять на коленях.

— И не надо, — говорит старуха, — теперь ты должен лечь на живот и уткнуться лицом в пол.

Я тотчас исполнил приказание...

Я вижу перед собой правильно начертанные квадраты. Боль в плече и в правом бедре заставляет меня изменить положение.

Я лежал ничком, теперь я с большим трудом поднимаюсь на колени. Все члены мои затекли и плохо сгибаются. Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях посередине пола. Сознание и память медленно возвращаются ко мне. Я еще раз оглядываю комнату и вижу, что в кресле у окна будто сидит кто-то. В комнате не очень светло, потому что сейчас, должно быть, Белая ночь. Я пристально вглядываюсь. Господи! Неужели это старуха все еще сидит в моем кресле? Я вытягиваю шею и смотрю. Да, конечно, это

сидит старуха и голову опустила на грудь. Должно быть, она уснула.

Я поднимаюсь и прихрамывая подхожу к ней. Голова у старухи опущена на грудь, руки висят по бокам кресла. Мне хочется схватить эту старуху и вытолкать ее за дверь.

— Послушайте, — говорю я, — вы сидите в моей комнате. Мне надо работать. Я прошу вас уйти.

Старуха не движется. Я нагибаюсь и заглядываю старухе в лицо. Рот у нее приоткрыт, и изо рта торчит соскочившая вставная челюсть. И вдруг мне делается все ясно: старуха умерла.

Меня охватывает страшное чувство досады. Зачем она умерла в моей комнате? Я терпеть не могу покойников. А теперь возись с этой падалью, иди разговаривать с дворником и управдомом, объясняй им, почему эта старуха оказалась у меня. Я с ненавистью посмотрел на старуху. А, может быть, она не умерла? Я щупаю ее лоб. Лоб холодный. Рука тоже. Ну, что же мне делать?

Я закуриваю трубку и сажусь на кушетку. Безумная злость поднимается во мне.

— Вот сволочь! — говорю я вслух.

Мертвая старуха как мешок сидит в моем кресле. Зубы торчат у нее изо рта. Она похожа на мертвую лошадь.

— Противная картина, — говорю я, но закрыть старуху газетой не могу, потому что мало ли что может случиться под газетой.

За стеной слышно движение: это встает мой сосед — паровозный машинист. Еще не хватало, чтобы он пронюхал, что у меня в комнате сидит мертвая старуха! Я прислушиваюсь к шагам соседа. Чего он медлит? Уже половина шестого. Ему пора давно уходить. Боже мой! Он собирается пить чай! Я слышу, как за стенкой шумит примус. Ах, поскорее ушел бы этот проклятый машинист!

Я забираюсь на кушетку с ногами и лежу. Проходит восемь минут, но чай у соседа еще не готов и примус шумит. Я закрываю глаза и дремлю.

Мне снится, что сосед ушел, и я вместе с ним выхожу на лестницу и захлопываю за собой дверь с французским замком. Ключа у меня нет, и я не могу попасть обратно в квартиру. Надо звонить и будить остальных жильцов, а это уж совсем плохо. Я стою на площадке лестницы и думаю, что мне сделать, и вдруг вижу, что у меня нет рук. Я наклоняю голову, чтобы лучше рассмотреть, есть ли у меня руки, и вижу, что с одной стороны у меня вместо руки торчит столовый ножик, а с другой стороны — вилка.

— Вот, — говорю я Сакердону Михайловичу, который сидит почему-то тут же на складном стуле. — Вот видите, — говорю я ему, — какие у меня руки?

А Сакердон Михайлович сидит молча, и я вижу, что это не настоящий Сакердон Михайлович, а глиняный.

Тут я просыпаюсь и сразу же понимаю, что лежу у себя в комнате на кушетке, а у окна, в кресле, сидит мертвая старуха.

Я быстро поворачиваю к ней голову. Старухи в кресле нет. Я смотрю на пустое кресло и дикая радость наполняет меня. Значит, это все был сон. Но только где же он начался?

Входила ли старуха вчера в мою комнату? Может быть, это тоже был сон? Я вернулся вчера домой, потому что забыл выключить электрическую печку. Но, может быть, и это был сон? Во всяком случае, как хорошо, что у меня в комнате нет мертвой старухи и значит не надо идти к управдому и возиться с покойником.

Однако сколько же времени я проспал?

Я посмотрел на часы: половина десятого. Должно быть утра.

Господи! Чего только не приснится во сне!

Я спустил ноги с кушетки, собираясь встать, и вдруг увидел мертвую старуху, лежащую на полу за столом, возле кресла. Она лежала лицом вверх, и вставная челюсть, выскочив из рта, впиалась одним зубом старухе в ноздрю. Руки подвернулись под туловище и их не было видно, а из-под задравшейся юбки торчали костлявые ноги в белых, грязных шерстяных чулках.

— Сволочь! — крикнул я, и, подбежав к старухе, ударил ее сапогом по подбородку.

Вставная челюсть отлетела в угол. Я хотел ударить старуху еще раз, но побоялся, чтобы на теле не остались знаки, а то еще потом решат, что это я убил ее.

Я отошел от старухи, сел на кушетку и закурил трубку. Так прошло минут двадцать. Теперь мне стало ясно, что все равно дело передадут в уголовный розыск, и следственная бестолочь обвинит меня в убийстве. Положение выходит серьезное, а тут еще этот удар сапогом.

Я подошел опять к старухе, наклонился и стал рассматривать ее лицо. На подбородке было маленькое темное пятнышко. Нет, придраться нельзя. Мало ли что? Может быть, старуха еще при жизни стукнулась обо что-нибудь? Я немного успокаиваюсь и начинаю ходить по комнате, куря трубку и обдумывая свое положение.

Я хожу по комнате и начинаю чувствовать голод, все сильнее и сильнее. От голода я даже начинаю дрожать. Я еще раз шарю в шкапике, где хранится у меня провизия, но ничего не нахожу, кроме куска сахара.

Я вынимаю свой бумажник и считаю деньги. Одиннадцать рублей. Значит, я могу купить себе ветчинной колбасы и хлеб и еще останется на табак. Я поправляю сбившийся за ночь галстук, беру часы, надеваю куртку, выхожу в коридор, тщательно запираю дверь своей комнаты, кладу ключ в карман и выхожу на улицу. Надо раньше всего поесть, тогда мысли будут яснее и тогда я предприму что-нибудь с этой падалью.

По дороге в магазин мне приходит в голову: не зайти ли к Сакердону Михайловичу и не рассказать ли ему все, может быть, вместе скорее придумаем, что делать. Но я тут же отклоняю эту мысль, потому что некоторые вещи надо делать одному, без свидетелей.

В магазине не было ветчинной колбасы, и я купил себе полкило сарделек. Табака тоже не было. Из магазина я пошел в булочную. В булочной было много народу, и к кассе стояла длинная очередь. Я сразу нахмурился, но все-таки встал. Оче-

редь подвигалась очень медленно, а потом и вовсе остановилась, потому что у кассы произошел какой-то скандал.

Я делал вид, что ничего не замечаю и смотрел в спину молоденькой дамочки, которая стояла в очереди передо мной. Дамочка была, видно, очень любопытной: она вытягивала шейку то вправо, то влево и поминутно становилась на цыпочки, чтобы лучше разглядеть, что происходит у кассы. Наконец она повернулась ко мне и спросила:

— Вы не знаете, что там происходит?

— Простите, не знаю, — сказал я как можно суше.

Дамочка повертелась в разные стороны и наконец опять обратилась ко мне:

— Вы не могли бы пойти и выяснить, что там происходит?

— Простите, меня это несколько не интересует, — сказал я еще суше.

— Как не интересует? — воскликнула дамочка. — Ведь вы же сами задерживаетесь из-за этого в очереди!

Я ничего не ответил и только слегка поклонился. Дамочка внимательно посмотрела на меня.

— Это, конечно, не мужское дело стоять в очереди за хлебом, — сказала она. — Мне жалко вас. Вам приходится тут стоять. Вы, должно быть, холостой?

— Да, холостой, — ответил я, несколько сбитый с толку, но по инерции продолжая отвечать довольно сухо и при этом слегка кланяясь.

Дамочка еще раз осмотрела меня с головы до ног и вдруг, притронувшись пальцем к моему рукаву, сказала:

— Давайте я куплю, что вам нужно, а вы подождите меня на улице.

Я совершенно растерялся.

— Благодарю вас, — сказал я. — Это очень мило с вашей стороны, но, право, я мог бы и сам.

— Нет, нет, — сказала дамочка. — А теперь идите. Я куплю, а потом рассчитаемся.

И она даже слегка подтолкнула меня под локоть.

Я вышел из булочной и встал у самой двери. Весеннее солнце светит мне прямо в лицо. Я закуриваю трубку. Какая

милая дамочка! Это теперь так редко. Я стою, жмурюсь от солнца, курю трубку и думаю о милой дамочке. Ведь у нее светлые карие глазки. Просто прелесть, какая она хорошенькая!

— Вы курите трубку? — слышу я голос рядом с собой. Милая дамочка протягивает мне хлеб.

— О, бесконечно вам благодарен, — говорю я, беря хлеб.

— А вы курите трубку! Это мне страшно нравится, — говорит милая дамочка.

И между нами происходит следующий разговор:

Она: Вы, значит, сами ходите за хлебом?

Я: Не только за хлебом, я себе все сам покупаю.

Она: А где же вы обедаете?

Я: Обыкновенно я сам себе варю обед. А иногда ем в пивной.

Она: Вы любите пиво?

Я: Нет, я больше люблю водку.

Она: Я тоже люблю водку.

Я: Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с вами вместе выпить!

Она: И я тоже хотела бы выпить с вами водки.

Я: Простите, можно вас спросить об одной вещи?

Она (сильно покраснев): Конечно, спрашивайте.

Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога?

Она (удивленно): В Бога? Да, конечно.

Я: А что вы скажете, если нам сейчас купить водку и пойти ко мне. Я живу тут рядом.

Она (задорно): Ну что ж, я согласна.

Я: Тогда идемте.

Мы заходим в магазин, и я покупаю поллитра водки. Больше у меня денег нет, какая-то только мелочь. Мы все время говорим о разных вещах, и вдруг я вспоминаю, что у меня в комнате, на полу, лежит мертвая старуха. Я оглядываюсь на мою новую знакомую: она стоит у прилавка и рассматривает банки с вареньем. Я осторожно пробираюсь к двери и выхожу из магазина. Как раз против магазина останавливается трам-

вай. Я вскакиваю в трамвай, даже не посмотрев на его номер. На Михайловской улице я вылезая и иду к Сакердону Михайловичу. У меня в руках бутылка водки, сардельки и хлеб.

Сакердон Михайлович сам открыл мне дверь. Он в халате, накинутом на голое тело, в русских сапогах с отрезанными голенищами и меховой с наушниками шапке, но наушники были подняты и завязаны на макушке бантом.

— Очень рад, — сказал Сакердон Михайлович, увидя меня.

— Я не оторвал вас от работы? — спросил я.

— Нет, нет, — сказал Сакердон Михайлович. — Я ничего не делал, а просто сидел на полу.

— Видите ли, — сказал я Сакердону Михайловичу. — Я к вам пришел с водкой и закуской. Если вы ничего не имеете против, давайте выпьем.

— Очень хорошо, — сказал Сакердон Михайлович. — Вы входите.

Мы прошли в его комнату. Я откупорил бутылку с водкой, а Сакердон Михайлович поставил на стол две рюмки и тарелку с вареным мясом.

— Тут у меня сардельки, — сказал я. — Как мы будем их есть: сырыми или будем варить?

— Мы их поставим варить, — сказал Сакердон Михайлович, — а пока они варятся, мы будем пить водку под вареное мясо.

Сакердон Михайлович поставил на керосинку кастрюльку, и мы сели пить водку.

— Водку пить полезно, — говорил Сакердон Михайлович, наполняя рюмки. — Мечников писал, что водка полезнее хлеба, а хлеб это только солома, которая гниет в наших желудках.

— Ваше здоровье, — сказал я, чокаясь с Сакердоном Михайловичем.

Мы выпили и закусили холодным мясом.

— Вкусно, — сказал Сакердон Михайлович. Но в это мгновение в комнате что-то резко щелкнуло.

— Что это? — спросил я.

Мы сидели молча и прислушивались. Вдруг шелкнуло еще раз. Сакердон Михайлович вскочил со стула и, подбежав к окну, сорвал занавеску.

— Что вы делаете? — крикнул я.

Но Сакердон Михайлович, не отвечая мне, кинулся к керосинке, схватил занавеской кастрюльку и поставил на пол.

— Черт побери, — сказал Сакердон Михайлович. — Я забыл в кастрюльку налить воды, а кастрюлька эмалированная, и теперь эмаль отскочила.

— Это понятно, — сказал я, кивая головой. Мы сели опять за стол.

— Черт с ними, — сказал Сакердон Михайлович, — мы будем есть сардельки сырыми.

— Я страшно есть хочу, — сказал я.

— Кушайте, — сказал Сакердон Михайлович, пододвигая мне сардельки.

— Ведь я в последний раз ел вчера с вами в подвальчике, и с тех пор ничего еще не ел, — сказал я.

— Кушайте, — сказал Сакердон Михайлович. — Да, да, да, — сказал Сакердон Михайлович.

— Я все время писал, — сказал я.

— Черт побери! — утрированно вскричал Сакердон Михайлович. — Приятно видеть перед собой гения.

— Еще бы, — сказал я.

— Много поди наваляли? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да, — сказал я, — исписал пропасть бумаги.

— За гения наших дней, — сказал Сакердон Михайлович, поднимая рюмку.

Мы выпили. Сакердон Михайлович ел вареное мясо, а я — сардельки.

Съев четыре сардельки, я закурил трубку и сказал:

— Вы знаете, я ведь пришел к вам, спасаясь от преследования.

— Кто же вас преследовал? — спросил Сакердон Михайлович.

— Дама, — сказал я. Но так как Сакердон Михайлович ничего не спросил меня, а только молча налил в рюмки водку, то я продолжал: — А с ней я познакомился в булочной и сразу влюбился.

— Хороша? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да, — сказал я, — в моем вкусе. — Мы выпили, и я продолжал:

— Она согласилась идти ко мне и пить водку. Мы зашли в магазин, но из магазина мне пришлось потихонечку удрать.

— Не хватило денег? — спросил Сакердон Михайлович.

— Нет, денег хватило в обрез, — сказал я, — но я вспомнил, что не могу пустить ее в свою комнату.

— Что же, у вас в комнате была другая дама? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да, если хотите, у меня в комнате находится другая дама, — сказал я, улыбаясь. — Теперь я никого к себе в комнату не могу пустить.

— Женитесь. Будете приглашать меня к обеду, — сказал Сакердон Михайлович.

— Нет, — сказал я, фыркая от смеха. — На этой даме я не женюсь.

— Ну, тогда женитесь на той, которая из булочной, — сказал Сакердон Михайлович.

— Да что вы всё хотите меня женить? — сказал я.

— А что же? — сказал Сакердон Михайлович, наполняя рюмки. — За ваши успехи!

Мы выпили. Видно, водка начала оказывать на нас действие. Сакердон Михайлович снял свою меховую с наушниками шапку и швырнул ее на кровать. Я встал и прошелся по комнате, ощущая уже некоторое головокружение.

— Как вы относитесь к покойникам? — спросил я Сакердона Михайловича.

— Совершенно отрицательно, — сказал Сакердон Михайлович, — я их боюсь.

— Да, я тоже терпеть не могу покойников, — сказал я. — Подвернись мне покойник и не будь он мне родственником, я бы, должно быть, пнул его ногой.

— Не надо лягать мертвецов, — сказал Сакердон Михайлович.

— Я бы пнул его сапогом прямо в морду, — сказал я. — Терпеть не могу покойников и детей.

— Да, дети гадость, — согласился Сакердон Михайлович.

— А что, по-вашему, хуже: покойники или дети? — спросил я.

— Дети, пожалуй, хуже, они чаще мешают нам. А покойники все-таки не врываются в нашу жизнь, — сказал Сакердон Михайлович.

— Врываются! — крикнул я и сейчас же замолчал.

Сакердон Михайлович внимательно посмотрел на меня.

— Хотите еще водки? — спросил он.

— Нет, — сказал я, но спохватился и прибавил: — Нет, спасибо, я больше не хочу.

Я подошел и сел опять за стол. Некоторое время мы молчим.

— Я хочу спросить вас, — говорю я наконец. — Вы веруете в Бога?

У Сакердона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина, и он говорит:

— Есть неприличные поступки. Неприлично спросить у человека пятьдесят рублей в долг, если вы видели, как он только что положил себе в карман двести. Его дело: дать вам деньги или отказать, и самый удобный и приятный способ отказать, это соврать, что денег нет. Вы же видели, что у того человека есть деньги, и тем самым лишили его возможности вам просто приятно отказать, а это свинство. Это неприличный и бестактный поступок. И спросить человека... веруете ли в Бога? — тоже поступок бестактный и неприличный.

— Ну, — сказал я, — тут же нет ничего общего.

— Я и не сравниваю, — сказал Сакердон Михайлович.

— Ну, хорошо, — сказал я, — оставим это. Извините только меня, что я задал вам такой неприличный и бестактный вопрос.

— Пожалуйста, — сказал Сакердон Михайлович. — Ведь я просто отказался отвечать вам.

— Я бы тоже не ответил, — сказал я, — да только по другой причине.

— По какой же? — вяло спросил Сакердон Михайлович.

— Видите ли, — сказал я, — по-моему, нет верующих и неверующих людей. Есть только желающие верить и желающие не верить.

— Значит, те, что желают не верить, уже во что-то верят, — сказал Сакердон Михайлович. — А те, что желают верить, уже заранее не верят ни во что.

— Может быть, и так, — сказал я. — Не знаю.

— А верят или не верят во что? В Бога? — спросил Сакердон Михайлович.

— Нет, — сказал я, — в бессмертие.

— Тогда почему вы спросили меня, верую ли я в Бога?

— Да просто потому, что спросить верите ли вы в бессмертие — звучит как-то глупо, — сказал я Сакердону Михайловичу и встал.

— Вы что, уходите? — спросил меня Сакердон Михайлович.

— Да, — сказал я, — мне пора.

— А что же водка? — спросил Сакердон Михайлович. — Ведь и осталось-то всего по рюмке.

— Ну, давайте допьем, — сказал я. Мы допили водку и закусили остатками вареного мяса.

— А теперь я должен идти, — сказал я.

— До свиданья, — сказал Сакердон Михайлович, провожая меня через кухню на лестницу. — Спасибо за угощение.

— Спасибо вам, — сказал я, — до свиданья. И я ушел.

Оставшись один, Сакердон Михайлович убрал со стола, закинул на шкаф пустую водочную бутылку, надел опять на голову свою меховую с наушниками шапку и сел под окном на пол. Руки Сакердон Михайлович заложил за спину, и их не было видно. А из-под задравшегося халата торчали костлявые ноги, обутые в русские сапоги с отрезанными голенищами.

Я шел по Невскому, погруженный в свои мысли. Мне надо сейчас же пойти к управдому и рассказать ему все. А раздевшись со старухой, я буду целые дни стоять около булоч-

ной, пока не встречу ту милую дамочку. Ведь я остался ей должен за хлеб 48 копеек. У меня есть прекрасный предлог ее разыскивать. Выпитая водка продолжала действовать, и казалось, что все складывается очень хорошо и просто.

На Фонтанке я подошел к ларьку и на оставшуюся мелочь выпил большую кружку хлебного кваса. Квас был плохой и кислый, и я пошел дальше с мерзким вкусом во рту.

На углу Литейного какой-то пьяный, пошатнувшись, толкнул меня. Хорошо, что у меня нет револьвера: я бы убил его тут же на месте.

До самого дома я шел, должно быть, с искаженным от злости лицом. Во всяком случае, почти все встречные оборачивались на меня.

Я вошел в домовую контору. На столе сидела низкорослая, грязная, курносая, кривая и белобрысая девка и, глядясь в ручное зеркальце, мазала себе помадой губы.

— А где же управдом? — спросил я. Девка молча продолжает мазать губы.

— Где управдом? — повторил я резким голосом.

— Завтра будет, не сегодня, — отвечала грязная, курносая, кривая и белобрысая девка.

Я вышел на улицу. По противоположной стороне шел инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Шесть мальчишек бежало за инвалидом, передразнивая его походку.

Я завернул в свою парадную и стал подниматься по лестнице. На втором этаже я остановился: противная мысль пришла мне в голову, ведь старуха должна начать разлагаться. Я не закрыл окна, а говорят, что при открытом окне покойники разлагаются быстрее. Вот ведь глупость какая! И этот чертов управдом будет только завтра! Я постоял в нерешительности несколько минут и стал подниматься дальше.

Около двери в свою квартиру я опять остановился. Может быть, пойти к булочной и ждать там ту милую дамочку? Я бы стал умолять ее пустить меня к себе на две или три ночи. Но тут я вспоминаю, что сегодня она уже купила хлеб

и, значит, в булочную не придет. Да и вообще-то из этого ничего бы не вышло.

Я отпер дверь и вошел в коридор. В конце коридора горел свет, и Марья Васильевна, держа в руках какую-то тряпку, терла по ней другой тряпкой. Увидя меня, Марья Васильевна крикнула:

— Ваш спрашивал какой-то штарик!

— Какой старик? — сказал я.

— Не жнаю, — отвечала Марья Васильевна.

— Когда это было? — спросил я.

— Тоже не жнаю, — сказала Марья Васильевна.

— Вы разговаривали со стариком? — спросил я Марью Васильевну.

— Я, — отвечала Марья Васильевна.

— Так как же вы не знаете, когда это было? — сказал я.

— Чаша два тому нажад, — сказала Марья Васильевна.

— А как этот старик выглядел? — спросил я.

— Тоже не жнаю, — сказала Марья Васильевна и ушла на кухню.

Я подошел к своей комнате.

— Вдруг, — подумал я, — старуха исчезла. Я войду в комнату, а старухи-то и нет. Боже мой! Неужели чудес не бывает?!

Я отпер дверь и начал ее медленно открывать. Может быть, это только показалось, но мне в лицо пахнул приторный запах начавшегося разложения. Я заглянул в приотворенную дверь и на мгновение застыл на месте. Старуха на четвереньках медленно ползла ко мне навстречу.

Я с криком захлопнул дверь, повернул ключ и отскочил к противоположной стенке.

В коридоре появилась Марья Васильевна.

— Вы меня жвали? — спросила она.

Меня так трясло, что я ничего не мог ответить, и отрицательно замотал головой. Марья Васильевна подошла поближе.

— Вы ш кем-то разговаривали, — сказала она.

Я опять отрицательно замотал головой.

— Шумашедший, — сказала Марья Васильевна и опять ушла на кухню, по дороге оглянувшись на меня. «Так стоять нельзя. Так стоять нельзя», — повторял я мысленно. Эта фраза сама собой сложилась где-то внутри меня. Я твердил ее до тех пор, пока она не дошла до моего сознания.

— Да, так стоять нельзя, — сказал я себе, но продолжал стоять как парализованный. Случилось что-то ужасное, но предстояло сделать что-то, может быть, еще более ужасное, чем произошло. Вихрь кружил мои мысли, и я только видел злобные глаза мертвой старухи, медленно ползущей ко мне на четвереньках.

Ворваться в комнату и раздробить этой старухе череп, вот что надо сделать! Я даже поискал глазами и остался доволен, увидя крокетный молоток, неизвестно для чего, уже в продолжение многих лет, стоящий в углу коридора. Схватить молоток, ворваться в комнату и трах!

Озноб еще не прошел. Я стоял с поднятыми от внутреннего холода руками. Мысли мои скакали, захватывая новые области, а я стоял и прислушивался к своим мыслям и был, как бы в стороне от них, и был, как бы не их командир.

— Покойники, — объясняли мне мои собственные мысли, — народ неважный. Их зря называют покойниками, они скорее беспокойники. За ними надо следить и следить. Спросите любого сторожа из мертвецкой. Вы думаете, для чего он поставлен там? Только для одного: следить и следить, чтобы покойники не расползались. Один покойник, пока сторож по приказанию начальства мылся в бане, выполз из мертвецкой, заполз в дезинфекционную камеру и съел там кучу белья. Дезинфекторы здорово отлупцевали этого покойника, но за испорченное белье им пришлось рассчитываться из собственных карманов. А другой покойник заполз в палату рожениц и так перепугал их, что одна роженица тут же произвела преждевременный выкидыш, а покойник набросился на выкинутый плод и начал его чавкая пожирать. А когда храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то он укусил эту сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения крови

трупным ядом. Да, покойники народ неважный, и с ними надо быть начеку.

— Стоп! — сказал я своим собственным мыслям. — Вы говорите чушь. Покойники неподвижны.

— Хорошо, — сказали мне мои собственные мысли, — войди тогда в свою комнату, где находится, как ты говоришь, неподвижный покойник.

Неожиданное упрямство заговорило во мне.

— И войду! — сказал я решительно своим собственным мыслям.

— Попробуй! — насмешливо сказали мне мои собственные мысли.

Эта насмешливость окончательно взбесила меня. Я схватил крокетный молоток и кинулся к двери.

— Подожди! — закричали мне мои собственные мысли. Но я уже повернул ключ и распахнул дверь.

Старуха лежала у порога, уткнувшись лицом в пол.

С поднятым крокетным молотком я стоял наготове.

Старуха не шевелилась.

Озноб прошел, и мысли текли ясно и четко. Я был командиром их.

— Раньше всего закрыть дверь! — командовал я сам себе.

Я вынул ключ с наружной стороны двери и вставил его с внутренней. Я сделал это левой рукой, а правой я держал крокетный молоток и все время не спускал со старухи глаз. Я запер дверь на ключ и, осторожно переступив через старуху, вышел на середину комнаты.

— А теперь мы с тобой рассчитаемся, — сказал я. У меня возник план, к которому обыкновенно прибегают убийцы из уголовных романов и газетных происшествий: я просто хотел запрятать старуху в чемодан, отвезти за город и спустить в болото. Я знал одно такое место.

Чемодан стоял у меня под кушеткой. Я вытащил его и открыл. В нем находились кое-какие вещи: несколько книг, старая фетровая шляпа и рваное белье. Я выложил все это на кушетку.

В это время громко хлопнула наружная дверь, и мне показалось, что старуха вздрогнула.

Я моментально вскочил и схватил крокетный молоток.

Старуха лежит спокойно. Я стою и прислушиваюсь. Это вернулся машинист. Я слышу, как он ходит у себя по комнате. Вот он идет по коридору на кухню. Если Марья Васильевна расскажет ему о моем сумасшествии, это будет нехорошо. Чертовщина какая! Надо и мне пройти на кухню и своим видом успокоить их.

Я опять перешагнул через старуху, поставил молоток возле самой двери, чтобы, вернувшись обратно, я бы мог, не входя еще в комнату, иметь молоток в руках, и вышел в коридор. Из кухни неслись голоса, но слов не было слышно. Я прикрыл за собою дверь в свою комнату и осторожно пошел на кухню: мне хотелось узнать, о чем говорит Марья Васильевна с машинистом. Коридор я прошел быстро, а около кухни замедлил шаги. Говорил машинист, по-видимому, он рассказывал о чем-то случившемся с ним на работе. Я вошел. Машинист стоял с полотенцем в руках и говорил, а Марья Васильевна сидела на табурете и слушала. Увидя меня, машинист махнул рукой.

— Здравствуйте, здравствуйте, Матвей Филиппович, — сказал я ему и прошел в ванную комнату. Пока все было спокойно. Марья Васильевна привыкла к моим странностям и этот последний случай могла и забыть.

Вдруг меня осенило: я не запер дверь. А что если старуха выползла из комнаты? Я кинулся обратно, но вовремя спохватился и, чтобы не испугать жильцов, прошел через кухню спокойными шагами.

Марья Васильевна стучала пальцем по кухонному столу и говорила машинисту: —

— Ждóрово, ждóрово, вот это ждóрово! Я бы тоже швиш-тела!

Я с замирающим сердцем вышел в коридор и тут же чуть не бегом пустился к своей комнате.

Снаружи все было спокойно. Я подошел к двери и, при-

отворив ее, заглянул в комнату. Старуха по-прежнему лежала спокойно, уткнувшись лицом в пол. Крокетный молоток стоял у двери на прежнем месте. Я взял его, вошел в комнату и запер за собой дверь на ключ. Да, в комнате определенно пахло трупом. Я перешагнул через старуху, подошел к окну и сел в кресло. Только бы мне не стало дурно от этого, пока еще хоть слабого, но все-таки нестерпимого запаха. Я закурил трубку. Меня подташнивало и немного болел живот. Ну, что же я так сижу? Надо действовать скорее, пока старуха окончательно не протухла. Но, во всяком случае, в чемодан ее надо запихивать осторожно, потому что как раз тут она и может тяпнуть меня за палец, а потом умирать от трупного заражения — благодарю покорно! эге! воскликнул я вдруг. А интересуюсь я, чем вы меня укусите? Зубки-то ваши вон где!

Я перегнулся в кресле и посмотрел в угол, по ту сторону окна, где, по моим расчетам, должна была находиться вставная челюсть старухи. Но челюсти там не было.

Я задумался: может быть, мертвая старуха ползала у меня по комнате, ища свои зубы? Может быть, даже нашла их и вставила себе обратно в рот?

Я взял крокетный молоток и пошарил им в углу. Нет, челюсть пропала. Тогда я вынул из комода толстую байковую простыню и подошел к старухе. Крокетный молоток я держал наготове в правой руке, а в левой я держал байковую простыню.

Брезгливый страх к себе вызывала эта мертвая старуха. Я приподнял молотком ее голову: рот был открыт, глаза закатились кверху, а по всему подбородку, куда я ударил ее сапогом, расплзлось большое темное пятно. Я заглянул старухе в рот. Нет, она не нашла свою челюсть. Я опустил голову. Голова упала и стукнулась об пол.

Тогда я расстелил на полу байковую простыню и подтянул ее к самой старухе. Потом ногой и крокетным молотком я перевернул старуху через левый бок на спину. Теперь она лежала на простыне. Ноги старухи были согнуты в коленях,

а кулаки прижаты к плечам. Казалось, что старуха, лежа на спине, как кошка, собирается защищаться от нападающего на нее орла. Скорее, прочь эту падаль!

Я закатал старуху в толстую простыню и поднял ее на руки. Она оказалась легче, чем я думал. Я опустил ее в чемодан и попробовал закрыть крышку. Тут я ожидал всяких трудностей, но крышка сравнительно легко закрылась. Я щелкнул чемоданными замками и выпрямился.

Чемодан стоит передо мной, с виду вполне благопристойный, как будто в нем лежат белье и книги. Я взял его за ручку и попробовал понять. Да, он был, конечно, тяжел, но не чрезмерно, я мог вполне донести его до трамвая.

Я посмотрел на часы: двадцать минут шестого. Это хорошо. Я сел в кресло, чтобы немного передохнуть и выкурить трубку.

Видно, сардельки, которые я ел сегодня, были не очень хороши, потому что живот мой болел все сильнее. А, может быть, это потому, что я ел их сырыми? А, может быть, боль в животе была чисто нервная?

Я сижу и курю. И минуты бегут за минутами. Весеннее солнце светит в окно, и я жмурюсь от его лучей. Вот оно прячется за трубу противостоящего дома, и тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Я вспоминаю, как вчера в это же время я сидел и писал повесть. Вот она: клетчатая бумага и на ней надпись, сделанная мелким почерком*...

Рукава моей куртки насквозь промокли от пота и липли к рукам. Я сел на чемодан и, вынув носовой платок, вытер им лицо и шею. Двое мальчишек остановились передо мною и стали меня рассматривать. Я сделал спокойное лицо и пристально смотрел на ближайшую подворотню, как бы поджидая кого-то. Мальчишки шептались и показывали пальцами на меня. Дикая злоба душила меня. Ах, напустить бы на них столбняк!

* Тут в манускрипте не достает одной страницы. РЕД.

И вот из-за этих паршивых мальчишек я встаю, поднимаю чемодан, подхожу с ним к подворотне и заглядываю туда. Я делаю деревянное лицо, достаю часы и пожимаю плечами. Мальчишки издали наблюдают за мной. Я еще раз пожимаю плечами и заглядываю в подворотню.

— Странно, — говорю я вслух, беру чемодан и тащу его к трамвайной остановке.

На вокзал я приехал без пяти минут семь. Я беру обратный билет до Лисьего Носа и сажусь в поезд.

В вагоне, кроме меня, еще двое: один, как видно, рабочий, он устал и, надвинув на глаза кепку, спит. Другой, еще молодой парень, одет деревенским франтом: под пиджаком у него розовая косоворотка, а из-под кепки торчит курчавый кок. Он курит папиросу, всунутую в ярко-зеленый мундштук из пластмассы.

Я ставлю чемодан между скамейками и сажусь. В животе у меня такие рези, что я сжимаю кулаки, чтобы не застонать от боли.

На платформе два милиционера ведут какого-то гражданина в пикет. Он идет, заложив руки за спину и опустив голову.

Поезд трогается. Я смотрю на часы: десять минут восьмого. О, с каким удовольствием спущу я эту старуху в болото! Жаль только, что не захватил с собой палку, должно быть, старуху придется подталкивать!

Франт в розовой косоворотке нахально разглядывает меня. Я поворачиваюсь к нему спиной и смотрю в окно.

В моем животе происходят ужасные схватки, тогда я стискиваю зубы, сжимаю кулаки и напрягаю ноги.

Мы проезжаем Ланскую и Новую Деревню. Вон мелькает золотая верхушка Буддийской пагоды, а вон показалось море. Но тут я вскакиваю и, забыв все вокруг, мелкими шажками бегу в уборную.

Безумная волна качает меня и вертит мое сознание.

Поезд замедляет ход. Мы подъезжаем к Лахте. Я сижу, боясь пошевелиться, чтобы меня не выгнали на остановке из уборной.

— Скорей бы он трогался! Скорей бы он трогался!

Поезд трогается, и я закрываю глаза от наслаждения. О, эти минуты бывают столь же сладки, как мгновенья любви! Все силы мои напряжены, но я знаю, что за этим последует страшный упадок.

Поезд опять останавливается. Это Ольгино, значит, опять эта пытка.

Холодный пот выступает у меня на лбу и легкий холодок порхает вокруг моего сердца. Я поднимаюсь и некоторое время стою, прижавшись головой к стене.

Поезд идет, и покачивание вагона мне очень приятно.

В вагоне никого нет. Рабочий и франт в розовой косоворотке, видно, слезли в Лахте или Ольгино. Я медленно иду к своему окошку и вдруг я останавливаюсь и тупо гляжу перед собой. Чемодана там, где я его оставил, нет. Должно быть, я ошибся окном. Я прыгаю к следующему окошку, чемодана нет! Я прыгаю назад, вперед, я пробегаю вагон в обе стороны, заглядывая под скамейки, но чемодана нигде нет.

Да разве можно тут сомневаться? Конечно, пока я был в уборной, чемодан украли. Это можно было предвидеть!

Я сижу на скамейке с вытаращенными глазами, и мне почему-то вспоминается, как у Сакердона Михайловича с треском отскакивала эмаль от раскаленной кастрюльки.

— Что же случилось? — спрашиваю я сам себя. — Ну, кто теперь поверит, что я не убивал старухи? Меня сегодня же схватят, тут же или в городе на вокзале, как того гражданина, который шел, опустив голову.

Я выхожу на площадку вагона. Поезд подходит к Лисьему Носу: мелькают белые столбики, ограждающие дорогу. Поезд останавливается. Ступеньки моего вагона не доходят до земли. Я соскакиваю и иду к станционному павильону. До поезда, идущего в город, еще полчаса.

Я иду в лесок. Вот кустики можжевельника. За ними меня никто не увидит. Я направляюсь туда.

По земле ползет большая зеленая гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю ее пальцем. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну и в другую сторону.

Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине.

Я низко склоняю голову и негромко говорю:

— Во имя Отца, Сына и Святого Духа, ныне, присно и вовеки веков. Аминь!...

На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась.

Д. Хармс, 1939 г.

ЛЕСНАЯ ОПЕКА

Я, как нищий, здесь уныло
Шел с протянутой душой —
И осина уронила
Прямо в душу — золотой.

Шел, в земле считая щели,
Шишки, трещины судьбы, —
И парчой тропу одели
Огнелистые дубы.

Шел с поникшей головою,
В слабостях себя виня, —
И гигантская секвойя
Грудью стала за меня.

Перелистывали клены
Многотомный свод небес...
Под защиту ли закона
Взял бродягу-ветрогона
Свободолюбивый лес?

Или с чувством превосходства
Шубой с барского плеча
Он пожаловал сиротство
Горемыки-рифмача?

Или за служенье слову
Новосела окружил
Верноподданной любовью
Бессловесный старожил?

Николай Моршен

ЭМБРИОЛОГИЯ ПОЭЗИИ

Не то чтобы заглавие это так уж мне нравилось, или чтоб я совсем принимал его всерьез. Лучшего не нашел, хоть и вижу, что нескромно оно, да и неточно. Трактату было бы к лицу, а не беглым наблюдениям моим. Точности же ради (метафорической конечно) было бы лучше стибрить у того же факультета другое словцо, — очень уж только нудное. Не генезис поэтических организмов меня интересует. Да и как в нем разберешься? И творятся они, и рождаются, и помогают им родиться. Стряпают их со знанием дела, но и дивятся тому, что получилось из собственной стряпни. Тут и не поймешь, где стряпуха, где повивальная бабка, где роженица. Все в одном лице? Тем трудней уразуметь, как они уживаются друг с другом. Любопытней всего, к тому же — для меня по крайней мере — сам этот организм, в зачаточном своем виде, одноклетчатый, быть может, или из малого числа клеток состоящий. И зачаточным я его зову по сравнению с более сложными другими, отнюдь не задаваясь целью следить за его ростом и постепенным осложнением. Не обязан он, да и незачем ему расти: он и так целостен, довлеет себе. Этой законченностью его я и люблю.

Так что и в гистологи не гожусь. Не любят они, — или разве что запершись в лаборатории, тайком. Останусь при моем заглавии, чуть менее педантичном, мне поэтому и более симпатичном. А немножко «— логиин», так и быть, припущу; одним любованием не удовольствуюсь. Знаю, на обворованном факультете — а нынче, увы, и на том, куда предполагал я краденое сбыть — *наукой* этого не назовут: где ж у вас, скажут, подсчеты, жаргон, диаграммы? Пусть. Я им даже отказ облегчу: сказку-памятку всему прочему предположу. Прочее же будет, честь честью, как у них, изготовлено с помощью фишек. Случалось мне, никому не в обиду будь сказано, и мысли на летучих листках этих записывать.

1. Бразильская змея

Десять лет пролетело с тех пор, как довелось мне пови-
дать странный город Сан Пауло. Пароход, на котором возвра-
щался я из Аргентины, утром прибыл в Сантос, и лишь к вечеру
отправился снова в путь. Была предложена экскурсия. Дюжи-
ны две пассажиров разместились в автокаре. Поучала нас то-
щенькая девица с таким же голоском, ребячливо лепеча и
не вполне свободно изъясняясь по-испански. Мы обогнули
церковь, двухбашенную, строгого барокко, и стали выезжать
за-город на холмы, когда я заметил, поглядев назад, кладби-
щенские ворота. Едва успел я прочесть надпись на них и
удивиться, усомниться даже, верно ли я ее прочел, как девица
стрекотнула фальцетиком, быстро, но совершенно спокойно:
«Кладбище философии»; точно название это ровно ничего
неожиданного в себе не заключало. Никто не оглянулся, да и
поздно было оглядываться. Мы поднимались. Глядя на песчаные
скаты и перелески, я рассеянно себя спрашивал, что это, ро-
дительный падеж двусмыслицей своей сочинителей имени под-
вел, так что и философия, не пожелав стать заменой религии,
коварно с ними распрощалась; или впрямь умерли они обе,
и вместе тут погребены.

Мы поднялись еще немного выше, и по ровной теперь
дороге стали приближаться к городу. За поворотом взгромо-
дились бесформенные, но внушительных размеров постройки,
и голосок затараторил: «Наш самый крупный национальный
бразильский завод», что и было тотчас подтверждено огром-
ной вывеской «Фольксваген». Следующая гласила «Мерцедес-
Бенц», с прибавкою «до Бразиль», так что об отечественности
ее не стоило и распространяться. Затем мы узнали, что почти
столь же громоздкое нечто вдали — «один из заводов графа
Матараццо», а также, что город, куда мы въезжаем был осно-
ван четыреста лет назад, но разрастаться стал недавно и теперь
растет быстрее всех в мире городов: скоро достигнет пяти
миллионов населения. Высокий дом направо — «один из домов
графа Матараццо». В центр мы поедem потом, а сперва осмот-
рим «Институту Офидико Бутантан», одну из двух главных
достопримечательностей города. Другая в центре.

Институт изготавливает противоядия. Страна до роскоши
богата всевозможными змеями, скорпионами и ядовитыми пау-

ками. Образцы всего этого имеются в Институте. Для больших змей вырыт глубокий бетонированный ров. Остальное размещено за стеклом в низких залах длинного одноэтажного здания. Против него павильончик, перед дверью которого посетителям демонстрируют змей густоволосый смуглый мальчуган и пожилой, хворый — покусанный должно быть — метис. Обвивает он их вокруг торса; нажимает снизу под головой, заставляет разевать пасть. Всех изящней (в своем роде) неядовитая, узкая, длинная, темнорозовая с черным. Мальчуган измывает над ней зверски, узлом завязывает, предлагает дамам в виде ожерелья. Писк и визг; смешки. Во рву — омерзительное кишенье, липкое вверх по бетону всей длиной, да не выше, вспалзыванье, в кучу скатыванье, сплетенье. В доме, возле витрин никого; полутемно; едва разборчивы чернильные на бумажках надписи. Вместе посажены два огромных, с крота величиной, черных паука; укус их смертелен; противоядие не найдено. Как и вот этой средних размеров змеи, исчерна-кремнисто-аспидной, ненарядной. Разбираю с трудом письмена: «смерть через пять минут», а имечко — Яраракуссú. Читаю еще раз. Не ошибся? Нет. Только звучать оно конечно должно Жараракуссú. Ничего, хорошо и так. Поистине, Гоголь прав: «Иное название еще драгоценнее самой вещи».

Слава Богу, покидаем Бутантан. Едем в центр. Голосок окреп и приободрился. Размашистый особняк в саду: «Одна из резиденций графа Матараццо». Улицы широкие, сады пышные, ограды дородные. «Тут богатые люди живут. Консульства. Иностранцы». Кварталы зовутся «Сад Америка», «Сад Европа»; бульвары — «Франция», «Италия», «Англия». Сейчас выедем на центральную площадь. Там остановка. Полтора часа перерыв для завтрака и осмотра драгоценностей. Минуем собор. «Башни — сто метров. Сто две статуи в человеческий рост». Скучнее нео-готики я не видывал (*Gotik ohne Gott*, как один ее находчивый историк озаглавил свою книгу). «Стоп. Слезайте. Драгоценности вон тут. Ресторан рядом».

Девица исчезла. Второй достопримечательностью оказались уральские камни. Не уральские, но вроде; их в этой стране такое же изобилие, как и змей. Шестиэтажный дом швейцарской фирмы на всех этажах экспонирует разнообразные из них изделия. Не без ее участия устроены и эти ювелирно-змеиные экскурсии. Музей их финансировать не догадался.

Там лучшее южно-американское собрание старинных мастеров; хорошо, что недавно видел я его в Париже. Камушками, цепочками, браслетами и брошками иные пассажиры нашего «Федерико» так увлеклись, что и позавтракать не успели. Я побывал на двух этажах, камешек получил в подарок, соответствующий месяцу моего рождения, и вышел на площадь. Посреди нее — густой тропический сад; жирные клумбы, толстолиственные деревья. В центре — объемистый, с выгнутыми крышами, прихотливо изукрашенный китайский храм. Странно: черных и полубелых горожан тут сколько угодно; желтых я еще не повстречал ни одного. Подойдя поближе, увидел над дверью щиты: ОО и WC, пожал плечами, завернул на другую дорожку, чуть не купил в киоске, тоже китайском, латино-португальский словарь, и вышел из сада к цилиндрической сорокаэтажной библиотеке, полками наружу, обернувшейся вблизи жилым домом: кроме черной тени под палящим солнцем ничего на полках не было. Подивившись этому творению знаменитого зодчего, главного строителя новой бразильской столицы, названной именем страны (если бы Петр назвал Петербург Россией, как бы нынче назывался его город?), приметил я рядом щупленький в два косых этажа домишко и в нем ресторан скромнейшего вида, где я, однако, совсем недурно позавтракал. Выпил затем кафезиньо за пять крузейрос возле швейцарского Урала; подъехала машина с девицей, и мы отправились в обратный путь.

Плакат в три этажа «Эристов. Водка аутентика». Прекраснейшее здание дурного вкуса, ослепительно блещущее на солнце. «Одно из предприятий графа Матараццо» пропел голосок. «Самый богатый человек Бразилии. Пять миллионов крузейрос ежедневного дохода. Дом весь из каррарского мрамора». Вдали на высоте — «наш национальный музей». Эх-ма, времени для него нет. Нужно торопиться. А тут как раз — беда. Откуда ни возьмись, упал туман на холмы. Шофер замедлил ход; остановился; поехали, как на похоронах. Видимость нулевая, сказало бы одно милое моему сердцу существо. «На прошлой неделе тут многие погибли: точно такая же машина грохнулась в обрыв». Пискнув это, фальцетик умолк. Навсегда. Для меня, по крайней мере. Черепашьим шагом выбрались из тумана. Миновали кладбище философии. Стали огибать церковь. Отпросился я тут на волю, вылез, и

церковь осмотрел. Ничего колониального, никакой экзотики. Раннее, церемонное еще и немного угрюмое иберийское барокко. Пречистая Дева в белом атласном платье с нежно-золотою вышивкой. К пристани кружным путем по рынку прошел, насквозь пропахшему жареным кофе. «Федерико» еще и не готовился к отплытию. Тучи показались на горизонте. Стало прохладней. На палубе красили подставки зонтов. Я ее пересек, нашел вдалеке от маляров соломенное кресло, сел и стал глядеть на пейзаж по ту сторону залива, широко и зелено расстилавшийся передо мной.

Глядел я сперва совершенно бездумно. Вид был — еще утром я это заметил — необычен, и очень, по своему, хорош. Лишь совсем вдали высились холмы, или скорей лесные внизу, повыше скалистые горы, а на зеленой равнине нигде, не то чтобы лесов или рощ, но и настоящих деревьев видно не было: кусты, деревца. И ни одного селенья или городка, — только хутора, на порядочном расстоянии друг от друга, домики с односкатной крышей, садики, обнесенные низким забором или стеной. Прошла минута, другая, и стал я вдруг вспоминать (мысль промелькнула у меня об этом и утром), где ж я видел раньше ненастоящую эту, с горами вдали, без мельниц и парусов, Голландию. Еще минута прошла — вспомнил: именно в Голландии. В амстердамском музее. Ведь это — Пост; скромный, но милый живописец великого века; Пост, побывавший в Бразилии и больше уже ничего кроме Бразилии не писавший. И как раз *этой* Бразилии; повторял ее на все лады; картины его очень похожи одна на другую. А так как гением он не был, то в натуре этот пейзаж оказался еще лучше, чем у него. Такой негромкий, мирный, просторный. Такой бережно очеловеченный.

Покойно у меня стало на душе. Чем то я был утешен — но чем же? — еще утром, от змей отделавшись. А теперь и совсем ко мне пришла, отрадная, как в редкие минуты жизни, безмятежность. Все я сидел на палубе, все глядел на дружественную чужеземную равнину, и когда тронулся корабль, продолжал глядеть, пока видно было; запомнил до последних мелочей. Как хорошо, что я Франса Поста повстречал когда то на своих путях, и вот увидел — через триста лет — то самое, что он видел. Как мил этот «Федерико», чьи генуэзские матросы дразнят венецианских: «лагунные моряки». Как хорошо, что

есть кладбище философии, и что так несметно богат конде Матараццо, — и что дома подражают книжным полкам, и что возле превращенного в уборную (это, впрочем, довольно гадко) китайского храма можно купить латинский словарь. Но нет, не это главное. Другое, другое главное! Лучше всего, что змею зовут Яраракуссú. Так я и записал на сохраненном мной листочке: «Яррарра. Куссú. Куссú».

Мальчик заснет сегодня счастливым. А ведь мальчику скоро помирать.

2. Спор о змее и об осенней весне

Не хотел бы я жить в южном полушарии. Привык бы, конечно, как и все они привыкли. В Буэнос-Айресе ясно всякому: подует южный ветер — холод; подует северный — теплынь. Но все таки дико... Рождество справляют в самую жару. Благовещение — осень; Пасха, Троица — осень. А вчера ведь и взаправду был — жаркий даже — весенний день. Двенадцатое октября. Осенняя весна. «Октябрь уж наступил — уж роща отряхает...» Как раз и не отряхает; «нагие ветви» только что позеленели. Если б здесь, побывал, назвал бы он это весенней осенью.

Осенью весна; зимою... И так далее. Мир вверх дном, — без чертовщины, несказочно; география, только и всего. А скажешь «весенняя осень», и ласкают слух эти слова, — не звуком, хоть ласков и он; ласкают внутренний слух, не звуком пленяемый, а смыслом. В «осенней весне» смысл немножко другой; но не это важно, а противоборство в слиянии, там и тут, совмещение несовместимого. Оно воображение завлекает в совсем особую игру, — даже когда противоречие это и менее явно, зачаточно, проявится лишь если принять игру, понять, что она больше, чем игра, и что противоречие, покуда ты будешь играть — рассудок усыпив — тебе на радость разрешится. Как во всем, что вчера казалось мне забавным и нелепым...

Так думал я (если можно назвать это «думал»), проснувшись засветло в своей каюте. Рано было вставать. Я и света не зажег. Но тут прервал меня другой голос, — мой же собственный, только «утренний и скучный», хоть и по другому, чем у цыганки в блоковских стихах.

— Глаза протереть не успел, и за ту же забаву! День денской искал себе игрушек, тешил себя ими до вечера, сам же подконец ребячеством это назвал; выпался, наигравшись вдоволь, а теперь снова начинаешь? Да еще и не с того, чем кончил. Новенького захотелось? Мог бы и получше что-нибудь сыскать. Эта ведь твоя «осенняя весна», или наоборот, всего лишь, как не можешь ты не знать, риторическая фигура, оксímорон, «остроглупое» словцо. Пусть и острая, да глупость. Лучше не остри, чтобы не глупить.

— Риторика лишь то, что мы отчисляем в риторику, — по вине автора, или по своей. А греков нам бранить не пристало. Имя, придуманное ими, ведь и само — оксímорон. Тебе, для вящей остроты, перевести его захочется, пожалуй, «острая тупость». А вот и нет: лопнет струна; до противоречия в чистом виде незачем ее натягивать, да и промаха не избежишь при этом. «Белая ночь» — мы с тобой знаем — хорошо было кем то впервые сказано, как и по-французски, где это значит «ночь, проведенная без сна», а «белая чернота» или «черная белизна» в тупик заводит и вряд ли кому пригодится. Просчитался американский поэт, «Дважды два — пять» озаглавив свой сборник: неверная таблице умножения — все еще таблица умножения. Простой выворот рассудка — вверх ногами, невпаад, наоборот — столь же рассудочен, как и любое невывернутое оказательство его. Умно заостренное упразднение рассудка, выход, пусть и ненадолго, из под его опеки, вот что такое оксиморон. Разума и смысла он не устраняет, но ставит особенно резкую преграду тем готовым — рассудком изготовленным — значениям и сочетаниям значений, без которых нельзя обойтись в обыденной речи, но с которыми поэзии делать нечего.

— Поэзии? Ей по-твоему и житья без таких противоречий нет? И какая же поэзия в словосочетаниях вроде «паровая конка» или «красные чернила»?

— Учебников наших старых ты не забыл; хвалю. У Поржезинского кажется, да и на лекциях Бодуэна, приводились эти примеры; но ведь иллюстрировался ими вовсе не оксиморон. Никакого упразднения рассудка совсем и не понадобилось для изъятия из выцветших наименований их первоначальной мотивировки конями и чернотой: ее перестали ощущать еще и до подклейки прилагательных, с ней несовмести-

мых. Оксиморон тут и не ночевал, в отличие, например, от пусть и давно примелькавшегося, во все языки перешедшего из латыни «красноречивого молчания».

— Тут уж по твоему и в самом деле — поэзия?

— Потенциальная, хоть и ослабленная привычкой. За-
меть, что не в одних словах тут дело. Можно различными
словами о говорящем, о выразительном безмолвии сказать;
можно его и без всяких слов показать. «Народ безмолвствует»,
это всего лишь авторская ремарка; на сцене (если этот вариант
выберут) мы безмолвие увидим, вспомним, быть может, циче-
роновское *sum tacent, clamant*, но всех слов будет сильнее этот
оксиморон поэтической мысли, обошедшейся без слов. Как
у Еврипида, когда Геракл возвратил Алкесту мужу, вывел ее
из подземного царства, снял покров с ее головы — она мол-
чит, смерть еще владеет ее речью, она не скажет ничего до
конца трагедии. И конечно дело не в том, часто ли или редко
мы «ловим» поэта на применении противоречивых словесных
формул, а в характерности того, что сказывается в этих фор-
мулах, для существа поэзии. Есть и очень разные степени их
противоречивости... Но разве не заставляют воображение на-
ше работать — поэтически работать — такие древностью за-
вещанные нам сочетания, столкновения слов, как «безумные
умы» или «бессонный сон» (*mentes dementes, hypnos áypnos*).

— Однако эти два примера с прочим тобою сказанным
плохо вяжутся: в них чистейшее логическое противоречие,
подчеркнутое тем, что одни и те же слова противопоставляют-
ся друг другу отрицательной частицей.

— Настоящей контрадикторности, как в логике выра-
жаются, тут нет. Понятия «безумный» и «бессонный» растяжи-
мы. Это не то, что сказать «нежелезное» или хотя бы «дере-
вянное железо»; не бессмыслица тут, а именно оксиморон.

— Но ведь и значение этого досадного словечка тоже
крайне растяжимо.

— О да! Как раз и следует понимать его на много шире,
чем это делается обычно в трактатах по риторике или поэти-
ке. В объем понятия обозначаемого им входят не только (об-
щеизвестные заглавия вспоминая) «живой труп» или «живые
мощи», но и «мертвые души», — если отвлечься от того «тех-
нического» смысла, который, наравне с другим, слову «души»
(ревизские души) присущ у Гоголя. Одинаково сюда отно-

сятся, как еще парадоксальней сочетаемые «слепые рты» (у Мильтона, «Лицидас») или «глаз слушает» (заглавие книги у Клоделя), так и гораздо менее резко или строго противопоставляемые друг другу смыслы слов. Например у Ходасевича

Все, что так нежно ненавижу
И так язвительно люблю,

или ахматовский столь часто приводимый двойной оксиморон

Смотри, ей весело грустить
Такой нарядно обнаженной.

— В противоречии своем второй стих тут и там, менее решителен, чем первый.

— Если б сказано было «изящно обнаженной» и «мучительно люблю», оксиморон исчез бы совсем. Но и без того ему, в обоих случаях, далеко до вполне крутых, непримиримых столкновений.

— Как и любимому тобой знаменитому стиху Корнеля

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles,

где прилагательное вовсе ведь и не означает полного отсутствия света.

— Когда актер от имени Сида произнесет эти слова в четвертом акте, описывая ночное сражение, ты никакого противоречия в них не заметишь, но не заметишь тем самым и поэтической их прелести, отнюдь не меньшей, чем тех строчек Ходасевича и Ахматовой, где она была бы уничтожена только заменой наречий квази-противоречащих определяемому ими глаголу, наречиями (вроде придуманных мной) вовсе не противоречащими ему.

— А «весело грустить» и «нежно ненавидеть»?

— Тут нажим сильнее. И заметь, что сила его отражается каждый раз и на следующем стихе, заставляет и его воспринять более «оксиморно». Но деревянного железа нет и здесь. Не бессмыслица нежно ненавидеть. Не бессмыслица весело грустить. Всякий рассудочный анализ этих мнимых бессмыслиц поэтическому их смыслу только бы повредил; зато, когда мы ощутили, что сильный оксиморон первых строчек прибавляет энергии менее сильному вторых, мы тем самым начали понимать, что это...

— Так и есть! Сейчас скажешь: прибавляет силы их поэзии. В совмещении противоречий вся она для тебя и состоит. Шаг еще, и ты свою «весеннюю осень» концентратом поэзии объявишь!

— Концентрируют химики. Я им не подражаю; как и отцеживаньем аптекарским не занимаюсь: о «чистой» поэзии не пекусь. Но живую клеткой это сопряжение враждующих сил может обернуться, — если чересчур прозрачный для рассудка повод его будет изъят или забыт. Живую клеткой, порождающей поэзию, и которая уже поэзия. Это не фигура, а натура...

— Ишь ты, в рифму заговорил!

— Вот именно, как рифма, когда согласует она несходное. Тем ведь она и действенней, чем сходства меньше. Противоречия ищет, и его снимает одинаковостью звучания. *Повторяет*, как эхо, но совсем не то, что было сказано.

Помолчим теперь: вставать пора. Розовеет полоска над океаном. Оденусь; выпью кофе; и сяду на правом борту, глядеть как ширится полоса. Когда солнце взойдет, быть может летучие рыбы — резвый оксиморон природы — выпорхнут из волн передо мной, искристой стаей промчатся, и утонут, чтобы вынырнуть еще раз вдалеке.

Горизонт, однако, быстро подернулся туманом. День обещал стать пасмурным. После кофе я пошел в совсем безлюдную еще, пеплом вчерашних сигар пахнущую курительную комнату, сел в кресло, зажег трубку и опять начал слушать свои мысли.

Обещал я себе вчера подумать о другом. Змея надоумила меня, с древа познания сорвав и мне вручив записку со своим именем. Но поутру весенняя осень спутала мои мысли или изменила их порядок. Не зря, может быть. Не в звуках одних, не в одних смысло-звуках поэзия. Змеиное яростное и кусательное имя...

— Подожди-ка, остановись на минутку. «Яраракуссú» кусает ведь только по-русски, а ярость и совсем исчезнет, если словцо это правильно произнести. Жárким тогда оно делается что ли, если так прикажешь рассуждать? И ведь «Рио де Янейро» ты не говоришь. Как же...

— Ошибка моя, в ту же секунду осознанная, столь же меня порадовала, как и само имя. Поучительна она, — ты сей-

час увидишь; а пока что заметь, что русские слова «ярость», «кусать» и производные от них, по звуку не безразличны: выражают, изображают свой смысл, а не просто его обозначают. Что же до имени змеи, туземного конечно, а не исконно португальского, то начальный его звук не столь уж важен по сравнению с дальнейшими: портрет змеи не пострадает от его замены. Имя ее — одно из тех слов, приблизительный смысл которых легко угадывается по их звучанию или по движениям речевого аппарата, звучание это производящим. Возможность такого угадыванья давно подтверждена экспериментами немецкого (позже в Америку переселившегося) психолога и этнолога Вернера.

— Но вчера за обедом — ты ведь не забыл — англичанин назвал эту змею Джэрэрэка. Вот и смазан портрет. Неузнаваем. Так и все эти выразительные звучания на честном слове держатся, беззащитны, эфемерны. Оттого языковеды и не желают ими заниматься. Ненаучно! И от экспериментов Вернера отмахиваются.

— При всей их научности. Если они это делают по указанной тобой причине, то поступают наперекор одному из первейших своих — со времени Соссюра — принципов: не смешивать переменчивости языка с его состоянием в настоящее время, или в другой момент, столь же обособленный от прошлого и будущего. Если же оттого, что их предмет — система языка (того, другого или всех языков), для которой важно лишь наличие значений и умения объясняться с их помощью, а не наглядность связи между знаками и значением этих знаков, сколько бы она ни казалась очевидной, то языковеды правы. Для игры в шахматы и анализа этой игры тоже ведь незачем знать, похожи ли шахматные кони на коней, и подобает ли королеве по ее сану амазонкой скакать через все шахматное поле. Упрощенное, портретность утратившее имя экзотической змеи обозначает ее ничем не хуже ее туземного столь живописного имени, — которое живописало, к тому же, не эту породу змей, а змею или гремучую змею вообще. Да и любая ономатопия не в силу своих изобразительных качеств, а им вопреки входит в систему языка, и, приравливаясь к ней, эти качества легко теряет. Как и вновь обретает их (наряду с какими угодно другими элементами языка), когда начинает служить не обозначенью, а изображению и выраже-

нию. Оставаясь или вновь становясь ониматопеей, она остается или становится элементом не языка (*langue*), а речевой деятельности (*langage*) или слова (*parole*), и по преимуществу поэтического слова, которое не растворяется в системе языка (русского, например), а при всем уважении к ней, лишь пользуется ею. Языковедческому учету она именно поэтому и не подлежит. Ее и от иллюзии отделить трудно. Все бытие ее зависит от желанья, чтоб она была.

— Ты хочешь сказать, что и замечать ее не обязательно?

— Вне поэзии. Вне того восприятия слова, которого требует поэзия и которое поэзию порождает или способно бывает породить.

— Но замечать, это все таки одно, а воображать, что она там, где ее нет — другое. Чему ж ты радовался, когда понял, что вопреки здравому смыслу нечто русское в змеином имени услышал?

— Вот, вот. Тут то мы к сути дела и подходим. Я говорил об иллюзии... Всякое сходство можно объявить иллюзией, но и всякая иллюзия сходства есть сходство. Никакой надобности вспоминать о «ярости» и об «укусе» не было: змеиное имя и без того было похоже на змею, изображало ее длиной, ритмом, артикуляционным усилием, нужным для произнесения его, и неразрывно с изображением выражало испуг, вызываемый змеей. Но как только я сходство это в имени, бумажкою мне сообщенном, усмотрел, я невольно его усилил и этим, для своего чувства, подтвердил, сочетав последний слог имени, как и неверно произнесенный первый с русскими словами, по смыслу подходящими, близкими по звуку, такими же изобразительными, как оно...

— Права ты на это не имел. И что же ты извлек из этого каприза?

— Именно это право. Через подтверждение особой природы, особой, неотделимой от иллюзии реальности того, что зовется онимато...

— пейей. Охота тебе выезжать по тряской дороге на шестиколесном этом слове!

— Да ведь смысл то его в буквальном переводе — «изготовление имен», словотворчество, словотворчество, причем греки в основу этого творчества неизменно полагали — такова исходная точка (хоть и не вывод) платоновского «Кратила» —

родство, соответствие, сходство (в чем бы оно ни заключалось) между именем и тем, что названо этим именем.

— Так что ты из двух возможностей, сопоставляемых в этом диалоге: соответствие слов их смыслу «по природе» и «по закону» (или уговору), отвергаешь вторую и решительно выбираешь первую?

— Только для поэтической речи и для возникновения речи вообще. В языках, лингвистами изучаемых, в рассудительном и практическом языке нет ничего кроме общепризнанной условной связи между знаками и тем, что обозначают эти знаки. Но когда слова перестают быть для нас разменной монетой, когда мы вслушиваемся, вдумываемся в них, нам открывается «природная», то-есть чем то в их качестве оправданная связь, — не с их единично-предметным значением, но с их предварительным, до-предметным, а потому и не вполне определенным смыслом. Смысл этот начинает нам казаться неотъемлемо им принадлежащим, и сами они — слова нашего родного языка — незаменимыми, нужными этому смыслу. Подсказывают они нам, внушают именно этот смысл...

— Что-то я тебя плохо понимаю. Слово «воробей» воробья тебе внушает, а воробей, на подоконнике сидящий...

— Ничего мне не внушает, а лишь — при случае — напоминает, что зовется по-русски «воробей». Тогда как слово «воробей» *этого* воробья, *его* образа, мысли *о нем* не внушало; оно мысли и воображению «воробья вообще» представляло, изображало, — было для них невещественным этим, несуществующим иначе, чем в наших мыслях, воробьем.

— Прямо какая то платоновская идея...

— До какой бы то ни было философии о ней. Скажи: «имя», если ты номиналист, сути дела это не изменит, ты все таки будешь о смысле имени а не о его начертании или звуке говорить. Но звук со смыслом — именно с этим неопределенно-общим смыслом — по непосредственному нашему чувству теснейшим образом и связан, неотъемлем от него, «по природе» ему принадлежит. *Похож* на этот смысл...

— Чорт знает что ты несешь! Чем же «воробей» более похож на воробья, чем шперлинг или муано? И почему *должно* воробью называться воробьем, а не шперлингом?

— Я уже сказал: по непосредственному нашему и всех русских чувству. Разве слова нашего, с детства усвоенного

языка не кажутся нам выразительней, ближе к их смыслу, чем соответственные слова другого языка, пусть и превосходно нам знакомого? Непристойные непристойней, ласкательные ласкательней, ругательные ругательней? Разве нам трудно понять рассказ Лео Шпитцера (в одной из ранних его работ) о простодушном итальянском военнопленном, бранившем в письмах из австрийского лагеря чудаков, называющих почему то лошадь «пферд», тогда как зовется она «кавалло», — «да ведь она и есть кавалло!» Так же ведь и для нас гора, это прежде всего и по преимуществу «гора», а не «берг» и не «монтань». Для нас «гора» выше, круче, *гористей* (совсем как для француза его монтань и для немца его берг). Недаром говорящий не по гречески был для грека «варвар», бормотун (греческое слово — ономотопея, изображающая невнятное бормотанье), а для русского говорящий не по-русски — немотствующий, «немец». И недаром старая немка (учитель Шпитцера, Фосслер рассказал о ней) всю жизнь прожившая в Бразилии, совсем забывшая немецкий язык, умирая в горьких мученьях, перед концом вспомнила его, и в день смерти молилась по-немецки.

— Пусть так, но где же тут сходство, это нелепое твое «похож». И ведь навело тебя на все эти рассуждения змеиное имя, отнюдь не русское.

— Зато похожее. А? Разве нет? Не на ту змею, что была за стеклом, а на ту «вообще», что ползала где то среди воображаемых кустов или скал. Похожее было имя. Оттого я его «должным», «по природе» нареченным и почувствовал, оттого и руссифицировал невольно, оттого, подстегивая сходство, «Яррарра. Куссú. Куссú» и записал.

— Тебе скажут, что ты попросту путаешь собственный произвол с объективными данными, подлежащими анализу, доступными учету. И когда ж ты мне наконец объяснишь насчет горы, лошади, воробья, где тут сходство; не то что большее или меньшее, чем в других языках, а какое бы то ни было вообще сходство?

— Это не сходство, это все-равно-что-сходство. Не ономотопея, но ее замена. Такое слияние звуковой и смысловой стороны в имени, которое помогает нам или нас учит обходиться без ономотопеи. «Привычка свыше нам дана / Замена счастью она». Поэзия все таки счастья ищет, хотя простым и

привычным чувством — «кавалло», это и есть кавалло — отнюдь не пренебрегает. Но мы рассуждение об ономастических и других требованиях, предъявляемых ею к слову — как и о сходстве, о поэтическом сходстве — отложим: всех узлов здесь, на корабле, нам не развязать. Что же до объективности, понимаемой, как в естественных науках, то ее в таких рассуждениях быть не может. Возможно приближение к ней, возможно и нужно укрощение субъективности; но никакая наука не в состоянии сказать — здесь поэзии нет, здесь есть поэзия. И даже ономастия, метафора, образ, звукообраз, — наличия, не говоря уже о действительности всего этого, никакая лакмусовая бумажка не обнаружит. Для того, чтобы судить о поэзии, нужно — хоть и в самой малой мере — стать поэтом.

— Поэт... И я, мол, поэт... Рукой на тебя остается махнуть. Ну а как же подлинный поэт сходство это твое ономастическое создаст, там, где его вовсе не было?

— Как по-твоему «скакать» — ономастия или нет? Толком небось не знаешь? И я не знаю. А «тяжело-звонкое скаканье»? Или «на звонко-скачущем коне»? В немецком языке гораздо больше готовых ономастических, чем в русском или других нам с тобой известных языках; во много раз больше, чем Лихтенберг их еще в восемнадцатом веке насчитал; но еще больше — во всех языках — потенциальных ономастических, слов пригодных порознь или в союзе с другими для изобразительного выражения вложенных, или вернее вкладываемых в эти слова смыслов. А тут то ведь и рождается поэзия...

— Ах ты Боже мой! Только что у тебя оксиморон на престоле восседал, а теперь ты уж кажется всю поэзию хочешь отдать во власть этой твоей неученым тягостной, а учеными презираемой ономастической.

— Нет. Ты отлично знаешь: именно не хочу. Двоецарствие утверждаю, а не монархию. С чего бы я радовался осенней весне, если бы «яраракуссу» вчера было моей единственной находкой? Ономастия непосредственно касается корней поэтической и вероятно — хоть мы и не можем в ее корни заглянуть — всякой вообще речи. Но поэзия не в одной речи коренится; или по крайней мере не все то в ней коренится, что мы зовем поэзией. И если я теперь, на север плывя, дал бы себе труд вспомнить подряд все, что кольнуло, за живое задело меня среди змей и уральских камней в угодах графа

Матарацио, я бы конечно Бутантана моей благодарности не лишил, но во всем прочем немало нашел бы близкого к тому средоточию противоречий, к той вспышке их на острие пера, которое греками поздно, слишком поздно, а потому и скептически названо было метким, но и обманчивым все же, да еще и громоздким — как и «ономатопея» — для нынешних языков именем. Неуклюжи они оба, что и говорить; столь же или еще более, чем другие, в Пиитиках и Риториках дремавшие имена, нынче воскрешаемые, — не всегда кстати, не всегда с разбором. Придется, однако, к этим двум привыкнуть: едва ли не трудней без них, чем безо всех прочих обойтись.

— Ну привыкай, привыкай. Помолчу. Но слишком в дебри не забирайся. Не то я рукопись твою...

Трубка моя догорела. Выйду на палубу. Надо мне будет, когда возвращусь домой, к мыслям этим вернуться; додумать прежде всего именно их.

3. Царь Оксиморон и царица Ономатопея

Поэзия рождается из слова, через слова, в словах, из слов. Из услышанной музыки их звуков, смыслов, звукослов. Этого долго не понимали; многие не понимают и теперь. Но это так. Спору нет. Однако могут ее порождать — разве *об этом* есть или был когда-нибудь спор? — также и «все впечатленья бытия», — «И взоры дев, и шум дубровы, / И ночью пенье соловья»; как и очень многое другое, и прежде всего, быть может, те «вечные противоречия сущности» (т.е. действительности), о которых Пушкин (пусть и при другом ходе мыслей) упоминает в пояснении своем к этому как раз стихотворению. Скажут, что поэт и все это многое, противоречивое именуется словами или тотчас претворяет в слова, но такое суждение упустит из виду, что «впечатленья бытия» ведут также и к созданию по ту сторону слов находящихся лиц, событий и положений, а если к воплощению в словах (не в том, что рисуется нам *сквозь* слова, в отдалении от них), то все-таки не в любых, а в пригодных для такого воплощенья. Порою нужные — незаменимые — слова приходят сразу, но чаще всего, как о том свидетельствуют пушкинские, например, черновики, лишь в результате долгого труда. Мы все мыслим словами, но не одними словами, и сплошь и рядом очень смут-

ными словами; а бытие сводить к словам кому же и в голову придет?

Двойственность корней и самой природы словесного искусства ощущалась издавна, хоть и не высказывалось это иначе, как в частичных и сбивчивых формулировках. Оксиморон и ономатопея уже тем хороши, что путаницы в этом отношении, с какой бы они досадной узостью ни понимались, по их поводу не возникало. Риторика, древностью нам завещанная, как и Пиитика менее отдаленных веков, различала фигуры (или тропы) словесные и фигуры мысли, ономатопею, если вообще отмечая, то среди первых, оксиморон относя неизменно ко вторым. У Цицерона («Об ораторе», кн. III) о них весьма отчетливо сказано, что зависят они не от выбора слов, а исключительно от особой манеры мыслить и чувствовать, отчего и остаются в силе, если другими заменить высказывающие их слова, тогда как словесные фигуры при такой замене исчезают. Различение это, принимаемое и Квинтилианом, восходит к эллинистической традиции, воскрешенной в Италии XV-го века и распространившейся в следующем столетии на всю Европу. С полной ясностью, однако, проводится редко. Пьер Фонтанье, полтора столетия назад, подводя итог всей риторике «великого» и сменившего великий века, называет оксиморон (тем самым расширяя это понятие) «парадоксизмом» и в своем (недавно переизданном) трактате «Фигуры речи» характеризует его как речевой прием (*artifice du langage*), при котором «мысли и слова, в обычном понимании противоположные или противоречащие друг другу, сближаются и сочетаются таким образом, что хоть и кажутся взаимноисключающими и враждующими между собой, в то же время поражают ум (*frappent l'intelligence*) самым удивительным согласием, и являют смысл наиболее верный, как и наиболее сильный и глубокий».

Авторы Риторик, скажете вы, и сами риторикой не пренебрегали. Но преимущества «парадоксизма» (которому он вполне мог бы оставить старое его имя) оценил Фонтанье совершенно правильно, хоть и немножко однобоко, относя их не к воображению, а к уму, или верней (как видно по его примерам даже из Расина, не говоря уж о Вольтере или Буало) к той разновидности ума, которую французским словом *esprit* только и можно обозначить. Но этого исключать вовсе ведь

и незачем, да и говорит он вместе с тем о силе, о глубине, о верности, а все это возможно и вполне поэтически истолковать, — романтически даже, если вам угодно. Всего же более хорош он тем, что совмещения противоречий правде не противопоставляет, и не сводит его ни к игре мыслей, ни — еще того менее — к игре слов. Место в своей классификации он ему отводит довольно неуверенно; но тут удивляться нечему: риторика во все времена ощущала неловкость, когда слова трактуемые ею превращались, на ее собственный слух, в нечто большее, чем слова. Этого еще и нынешняя лингвистика боится, — вполне законно, поскольку методология не замыкает себя в порочный круг и воздержание не переходит в отрицание. Нет предмета изучения легче выскальзывающего из рук, чем язык, особенно когда мы его ловим, из лингвистики переходя в поэтику. Звуковую и структурную его сторону мы отделили от смысловой, без чего лингвистики и быть не может, а теперь отделение это сразу же ставится под вопрос, причем раздвояется и само понятие смысла, в зависимости от того насколько он связан со словами, в какой мере определен, помимо их предметного значения, звуковыми и звуко-смысловыми качествами их. «Мысли (*idées*) и слова», — так начинается определение «парадоксизма», или оксиморона, у Фонтанье, и если бы мы спросили его, враждуют ли и согласуются ли тут мысли, ко вне-словесному миру относящиеся, хоть и воспринимаемые сквозь слова, он наверное ответил бы утвердительно. К фигурам *мысли* эта фигура относится, если их по Цицерону определять? Он опять сказал бы: да. Под каким именем оксиморон ни описывать, в нем останется возможность выхода за пределы слов. Останется, правда, и другая: обернуться ничем иным, как именно словесною игрой. Но такой уклон в «цветы красноречия» грозит не ему одному. Величие его не в этом.

Британских рифмачей суровый судия, достопочтенный Самуил, именуемый даже и поныне доктором (а не просто) Джонсоном, разбирая эпитафии, сочиненные славным пиитою Попием (как у нас выражались в те времена), обнаружил изъян в той, что возносит хвалу пресветлому мужу Исааку Ньютону на гробнице оного в Вестминстерском аббатстве. Латынью изречено и на мраморе высечено там среди прочего, что мрамор сей провозглашает погребенного смертным, тогда как Время, Природа и Небо свидетельствуют о его бессмер-

тии. По мнению Доктора, сопряжение прилагательных «смертный» и «бессмертный» — либо пустой звук, либо столь же пустой каламбур (*quibble*): Ньютон не бессмертен ни в каком смысле этого слова, который противоречил бы его смертности. Критика эта кажется на первый взгляд всего лишь рассудительной и к поэтическому «безрассудству» (преодолению рассудка) несправедливой. На самом деле это не так. Джонсон только формулирует свою мысль, как если бы она была ему внушена внепоэтическим здравым смыслом, но в сущности не понравилась ему в этом оксимороне высоко ценимого им поэта именно рассудочность: выбор противоречия либо бесплодно и сухо контрадикторного, либо с полной отчетливостью мнимого: только о мертвых и пишут, что они бессмертны. *Le gros bon sens* говорят французы; переведу это «толстый здравый смысл». При всей своей любви к нему — смягченной юмором, и разумом просвещенной — Джонсон был поэт (бывал им, мог им быть); бескостную гибкость в оценках отвергал, но критик был не оловянный. О балагурах, каламбурах, об агудесас (прости мне, Грациан!) и кончетти (не осерчай, о Лили, о Марино!), обо всем, чем оксиморон шалит и откуда исчезает, размененный на гроши, он высказался, если взвесить все, мудрей, чем многие писавшие об этом, и в давние времена и в совсем недавние.

Свои «Жизнеописания английских поэтов» (1780), откуда я и отзыв об эпитафии Ньютона почерпнул, начал он с очерка, посвященного средней руки (но искусному все же) стихотворцу (*Abraham Cowley*), что дало ему повод вкратце охарактеризовать манеру старших, «метафизическими» прозванных по его же почину поэтов, которым тот приятно и немного вяло подражал. Характеризует он ее словечком *wit*, столь же трудно переводимым, как вышеупомянутое *esprit*, и довольно к нему близким, — особенно если принять цитируемое им определение все того же Попия: «то, что мыслилось часто, но никогда еще не было так хорошо выражено» (т.е. так метко сказано). Однако Джонсон определение это критикует; низводит оно, по его словам, силу мысли к одной лишь удачливости языка. Сам он предлагает другое: «*Discordia concors*, сочетание несходных образов, или открытие тайного сходства в вещах, кажущихся непохожими». О противоречии он не говорит, не желая очевидно свое определение чрезмерно суживать; но ла-

тинская формула, восходящая к Овидиевым «Метаморфозам» (I, 433) и Горацию (Epist. I, 12, 19 «concordia discors») именно противоречие или противоположность имеет в виду, коренясь повидимому в Гераклитовом всеобщем противоборстве, порождающем всемирную гармонию. Джонсону, разумеется, ясно, что все эти «открытия», то-есть поиски и находки, приводят нередко к одной лишь словесной эффектности и новизне; он как раз на это, у «метафизиков» — невпопад порою — и сетует; но не исключает (что делает честь его не слепому к поэзии уму) возможности и такого — парадоксального, «оксиморного» — острословия, которое не застрянет в словах и не удовлетворится одной лишь остротой. Вопреки определенности его вкуса, нами (не всегда к выгоде для нас) утраченной, но мешавшей ему полностью оценить Марвелла или Донна, он все таки — не этой одной страничкой, но ею прежде всего — открыл наследникам и опровергателям своим очень плодотворные пути мысли, хоть быть может те и не сознавали, что открыл их именно он. Когда Вордсворт в предисловии ко второму изданию «Лирических баллад» (1802) объявляет «восприятие сходства в несходстве» «основой вкуса», когда Кольридж много лет спустя, пишет (1818? «On Poesy or Art») об «удовольствии, доставляемом новизной», что оно «состоит в отождествлении двух противоположных элементов», или в знаменитом финале тринадцатой главы («Литературной биографии», 1817) определяет воображение как силу «уравновешивающую или примиряющую противоположные или враждующие (discordant) качества», как еще и за десять лет до того (в письме) возводит удовольствие, доставляемое искусством к «антитетической, уравновешивающей любящей природе человека» — разве не напоминает нам все это древнюю, латыни преданным Доктором воскрешенную и вполне заслуживавшую воскрешения формулу.

Если, однако, оксиморон — это, значит сам он к формулам вроде этого «дружного раздора» или «согласного разногласия» не сводится. Надо понимать его значительно шире, а тем самым и глубже. Хотя сгущение в два слова для него и характерно, — несловесно (в основе) надо его понимать. Тогда — только тогда — царская власть его и обнаружится: над искусством вымысла не меньше, чем над искусством слова. Да и в искусстве слова царит он не над словами, не над не-

посредственными, «языковыми» их смыслами, столь остро (*so wittily, avec autant d'esprit, con tanta agudeza*) сталкивающимися в нем, а над той живой протоплазмой чувства, мысли, воображения, что и тут расстилается по ту сторону слов, их звуковой, но и смысловой их ткани. Словесный оксиморон, если он речью рожден, а не наскоро склеен из подходящих вокабул языка, можно рассматривать как получившую отдельную жизнь клетку этой протоплазмы, как поэтический микроорганизм, зародыш поэзии, способный вырасти, разрастись, но который поэзия уже и сам, потому что мы сквозь него видим, откуда он растет, и предвкушаем в нем возможности его роста. Когда он образует заглавие, относящееся к вымыслу, нам возможности эти (частично, по крайней мере) вымыслом и будут раскрыты; но необходимости в таких заглавиях нет: оксиморон вымысла может всего лишь подразумеваться. Гоголь высказал его заглавием своей поэмы, над которым можно было бы поэтически задуматься еще ее и не прочитав, — пусть даже и в другом, совсем не гоголевском духе. Но и «Похождения Чичикова» остаются историей о мертвых душах и, что куда важнее, историей мертвых душ.

«Без вины виноватый». Почти поговорка. К очень многим вымыслам и правдам легко применимое речение. Для риторики это оксиморон; но это и кратчайше выраженная суть «Царя Эдипа». Трагедии нет, подменена она свирепым случаем из хроники происшествий, если Эдип вполне виновен, сознательно убил отца, сознательно стал мужем матери. Но и нет трагедии, если Эдип вовсе не виноват, как признал бы нынче любой судья, как решило бы любое жюри (даже и без ссылки на «комплекс Эдипа»). Сам Эдип у Софокла — как уже и в легенде — свою безвинную вину признает виной, не отрицает того, что в христианстве зовется невольным грехом, и еще совсем недавно историки (Sir Maurice Bowra, 1944) это страшное чувство оскверненности, овладевшее им, учитывали и как будто понимали. Однако нынче Ричмонд Лэттимор, прославленный переводчик трагиков, Пиндара и Гомера, ученый с большим именем, совершенно серьезно спрашивает себя (в своей книге «*Story Patterns in Greek Tragedy*»), в чем же собственно «причина или хотя бы разумное основание» падения Эдипа. И перечисляет: виновность предков? преступления и неразумные действия родителей? изъян в самом Эдипе:

гордыня, безудержность гнева, примесь недомыслия в остром его разуме? или просто зависть богов, наказание за чрезмерный успех? Отцеубийства и того, что Софокл оксиморонно и непереводаемо называет небрачным браком рожденного и родившей (стихи 1214-1215), он вовсе не счел нужным и упомянуть. Для него — приходится думать — как для нынешних многих, в отличие едва ли не от всего прежнего человечества, и уж тем более от его поэтов, скверна греха — мираж, безвинной вины не бывает: либо знаячи убил, либо все равно, что и не убивал. «И в самом деле — слышу я уже целый хор довольно-таки резких голосов — да или нет, виновен он или невинен? Кто ж это нынче всерьез станет принимать пустую игру слов, остроглупостью прозванную самими греками?»

Других времен — отвечаю — когда и трагедии у них больше не было, и вся прочая поэзия скорей прозябала, чем процветала. Если оксиморон и впрямь всегда и всюду лишь завитушкой, «украшеньем» словесным считать, тогда с очень многим, и не в одной словесности, нужно будет распрощаться. Но и распрощавшись, как же владычества его в прошлом не замечать, и на какое понимание этого прошлого можно тогда рассчитывать? Пусть риторика описала его как (нынче сказали бы) прием (который, нужно заметить, у Аристотеля еще не упомянут), но существовал он как нечто большее, когда риторики еще не существовало, и нет основания ей в угоду приковывать его к какой либо одной грамматической или логической (анти-логической) модели. «Радость — страданье одно», у Блока («Роза и крест») — такой же оксиморон, как «нежная ненависть» или «веселая грусть», с той лишь разницей, что тут очевиднее выходжение за пределы слова. Как и в двойном державинском «Я — царь, я — раб, я — червь, я — Бог», или в совете Августина: «Если хочешь бежать от Бога, беги к Богу», где стираются границы, как и в том стихе, между поэтическим упразднением рассудка и религиозным его преодолением. Границы всегда, разумеется, были шатки между рассудительным, собственно-риторическим применением таких «парадоксизмов» и другим, не просто «фигуральным», а порой и единственно возможным, как для религиозной мысли, так и для поэтической. «Хочешь мира, готовь войну», — внешне это похоже на только что приведенный совет, но к этому от того переходя, мы вышли из базилики на площадь, или с

Капитолия (где венчали поэтов) спустились на Форум и прислушались к голосу рассудка, в этом случае, быть может, и весьма лукавого.

Это не значит, однако, что лишь на скалистых вершинах Парнасса — или Синая — водится редкостный зверь называемый оксиморон. Аристофан не хуже с ним знаком, чем Эсхил, или Экклезиаст, или псалмопевец Давид. Все горько-нелепое, но и все занятное, забавно-улыбчивое в жизни приближается постоянно к безрассудному этому столкновению-слиянию несовместимого, — хотя бы даже бразильская моя Голландия, та же нынче, что и триста лет назад. Оттого то оно и царствует, что способно сильно менять свой облик; и еще оттого, что всего верней нас уводит от пресного дважды два четыре, как и от несоленой солью посоленного дважды два пять; а разве есть поэзия, которая не уводила бы нас от непоэзии? Это о вымысле верно, как и об искусстве слова; но хоть оксиморон словесным и бывает, он все таки, в существе своем, мысли принадлежит, а не словам. Прибегая к словам, он и в звуке их умеет находить себе поддержку, но само по себе звучание их смысла, это все таки уже другое царство, обширнее, чем его, и вместе с тем менее обширное. Лишь изредка попадаетея такое, что им обоим в равной мере принадлежит, как изумительная строчка Бодлера

O fangeuse grandeur! Sublime ignominie!

где двойной оксиморон дважды подчеркивается повторами гласных (*eu, eu* и неударных *an, an*, в первой половине стиха, двумя ударными и двумя неударными *i* во второй), но это случай совсем особый, вполне сравнимого с ним я еще не нашел. Это царя Соломона посетила, «с весьма большим богатством», киннамоном и нардом благоухая, царица Савская. Имя же ей Ономатопея.

Знаю, что и этим именем зовется, когда обуживают его смысл, нечто довольно жалкое: звукоподражательное воспроизведение бляенья, мычанья и всяческих (по-разному в разных языках изображенных) мяу, куку и кукареку; да еще таким же способом образованные наименования других звуков и производящих эти звуки вещей или существ. Но почему же «имятворчество» — даже и считая вместе с греками, что тво-

ряты эти имена не иначе, как по сходству с тем, что ими именуется — ограничивать лишь такими простейшими его образцами, пусть и захватывающими отнюдь не малую область (значительно ббольшую, чем обычно думают)? Ведь звуками можно подражать не только звукам, но и другим чувственным восприятиям, или вернее впечатлениям, производимым ими, — тем более, что и «чистое» звукоподражание подражает не столько звуку, сколько нашему внутреннему на него отклику, а этот отклик вполне может быть родствен другим, ни с какими звуками не связанным; оттого и метафоры понятны, приписывающие звукам жесткость и мягкость, степень темноты или света, цвет. Да и подражает этим откликом, или лучше сказать выражает их язык не одними тембрами своих звуков, но и их ритмом, мелодией, а также движениями органов речи, нужными для их произнесенья и воспринимаемыми (или воображаемыми при чужом произнесеньи), не слухом, а моторным чувством, дающим нам отчет о мускульных наших усилиях. Слово «глоток» или еще выразительней немецкое «Schluck» именно такие, не звуковые, а мускульные ономаптоны. Разные приемы подражания трудно или невозможно бывает и распутать, когда они сочетаются в одном слове; и конечно ни о какой проверяемой точности воспроизведения тут и никогда речи быть не может. — Похоже имя бразильской змеи на змею рядом, за стеклом? — Похоже. — Но лишь потому, что похоже на змею вообще, и на страх внушаемый змеей. — Так что же это тогда за сходство? — То самое, которое в поэзии, как и во всяком искусстве, только и принимается в расчет. Его не определишь; но притчу о нем расскажу, почерпнув ее у Розанова («Опавшие листья», в начале первого короба).

Когда его три дочери были в дошкольном еще возрасте, увидел он однажды в окне кондитерской зверьков из папьемаше. Купил трех — слона, жирафу и зебру — и придя домой сказал дочкам: «Выбирайте себе по одному, но такого зверя, чтобы он был похож на взявшего». Девочки выбрали: «толстененькая и добренькая Вера, с милой улыбкой» — слона; «зебру, — шея дугой и белесоватая щетинка на шее торчит кверху (как у нее стриженные волосы)» — Варя; «а тонкая, с желтовато-блеклыми пятнышками, вся сжатая и стройная жирафа досталась» Тане. Розанов прибавляет: «Все дети были

похожи именно на этих животных, — и в кондитерской я оттого и купил их, что меня поразило сходство по типу, по духу».

Последние два пояснительных слова ничего, конечно, не изъясняют, и мы все принуждены пользоваться такими же в подобных случаях; но язык уподоблений, основанный лишь на немногих, по-началу, должно быть, совсем и не осознанных признаках, был, как мы видим, безошибочно и немедленно понят. Именно так и создаются, так же и понимаются ономапои. Так понимались они некогда всеми — иначе и возникновения языка представить себе нельзя; так их понимает и теперь тот, кому доступна поэтическая речь (были несомненно друзья розановской семьи не усматривавшие ни малейшего сходства его дочерей со слоном, зеброй и жирафой). Здесь как раз и начинает просвечивать для нас истина, без усвоения которой ни в каких искусствах, и прежде всего в изобразительности языка, ничего нельзя понять. Только такое небуквальное, до конца не анализируемое и до всякого анализа улавливаемое сходство по-настоящему действительно, только оно способно дать чувство приближения к тождеству изображающего с изображенным. Как тотемизм невыносим, если тотем — восковая фигура из паноптикума, так и при чересчур подробном, чересчур дословном воспроизведении исчезает без следа то сближение-слияние видимого с невидимым или слышимого с неслышимым, которого ищет всякое искусство, и которого достигает на своих особых — ономапопейных — путях поэтическая речь.

Царство ее, это царство ономапои. Не потому, чтобы в ней встречалось очень много ономапои, а потому что вся она проистекает из того стремления, того искания, которое всего наглядней — нередко и всего наивней — предстает нам в ономапое. Звукосмысловая ткань этой речи отнюдь не сводится к звукоподражанию, которое в ней и вообще самостоятельной роли не играет. «Смыслоподражание», вот как можно было бы основную ее функцию назвать. Она и звуком и смыслом и звукосмыслом (то-есть сразу же предстоящим восприятию слиянием того и другого), и всем вообще качеством образующих ее слов и словосочетаний стремится к отождествляющему сходству с тем, о чем она говорит и чего мы никакой другой речью высказать не можем. Но ведь и оно-

матопея, даже самая грубо-звуковая, только оттого подражает звуку, что смысл данного слова, со звуком связанного, хочет сделать нам понятным. Вот почему и может она служить скромным образчиком, но и универсальной моделью всякого смыслоподражания.

Я еще о нем ничего почти и не сказал. Не о поэтической речи говорю: лишь о зарождении ее, эмбриологии поэзии. Ономатопея, как и (на другом уровне, до-словесном) оксиморон, это именно ее зародыши, ее начатки. Но рождается она и в пении, в ритмах, в интонациях-мелодиях, еще только ищущих слова; об этом — в другой главе. Однако без слов она обойтись не может. Пока нет слов, ее еще нет. И я обращусь теперь к таким сочетаниям их, к таким словам, лепетам, элементам слов, которые помогут может быть нам подслушать, поймать налету беспомощное, первое, простейшее ' — из самой способности говорить — рождение поэтического слова.

(Окончание следует)

В. Вейдле

С Е Б Е

Не пиши последних строк
Предпоследним вечером!
Ведь уже на всё, что мог,
Здесь тобой отвечено!

Брось вопросы задавать —
Обо всем ведь спрошено!
Можно-ль там цветок сорвать,
Где кругом всё скошено?

Просто тропкою иди,
Чужеземной, узкою,
Что быть может впереди
Всё ж сольется с русскою!



Конечно мы в плену земли,
Но всё-же, как-бы в утешенье,
Давайте строить корабли,
Сперва — для кораблекрушенья.

А после будет нам дано
Быть может радостное право
Преодолеть простор и дно,
Упрямый шквал и риф лукавый.

А если всё ж не доплывем —
Узнаем за свою дорогу
То, для чего мы здесь живем:
Порыв, надежду и тревогу.

Дм. Кленовский, 1971

МИХАИЛ КУЗМИН

КРИТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННИКОВ

«Кузмин — ...писатель, единственный в своем роде», — так выделил его Александр Блок среди «разрастающегося племени наглых и пустых стихотворцев» (еще в августе-сентябре 1907 года).

Хотя весной 1971 года уже исполнилось 35 лет со дня смерти, а через четыре года можно будет отмечать и столетие со дня рождения этого «художника (курсив А. Блока, М. С.) до мозга костей, тончайшего лирика, остроумнейшего диалектика в искусстве», приходится согласиться с печальным выводом В. Жирмунского, сделанным еще в 1916 году, что роль М. Кузмина «в истории русской поэтической литературы... до сих пор еще недостаточно оценена». Мы же вправе сказать, что его роль совсем не оценена. О творчестве Михаила Кузмина вряд ли знают даже аспиранты литературоведческих факультетов, не говоря уже о неискушенных любителях литературы.

Не случайно, что и авторы некоторых учебников по истории русской литературы для филологических факультетов высших учебных заведений путают Михаила Алексеевича Кузмина, называя его, то М. Кузьминым, то Н. Кузьминым.¹

А между тем он был, по словам В. Жирмунского, вождем «третьего поколения символистов» и последним русским символистом, положившим вместе с Н. Гумилевым, С. Городецким, А. Ахматовой, О. Мандельштамом, В. Нарбутом, М. Зенкевичем и В. Ходасевичем основы русскому акмеизму.

Начав печататься еще в середине 1905 года (сонеты и драматическая поэма в одиннадцати картинах «История рыцаря д'Алесслио» были помещены в «Зеленом сборнике» за

¹ К. М. Новикова, Л. В. Щепилова. Русская литература XX века. Дооктябрьский период. М. 1966, стр. 254-5.

1905 год), Михаил Кузмин сразу же вошел в русскую литературу как зрелый и оригинальный поэт, драматург и прозаик, издавший за двенадцать дореволюционных лет два десятка книг, в том числе три тома драматических произведений, четыре сборника стихов и десять книг художественной прозы.

После «предельно резкого политического размежевания» происшедшего в результате Октябрьского переворота Михаил Кузмин очутился в числе тех *настоящих* писателей, которых Е. Замятин в статье «Я боюсь» отнес к группе «безумцев, мечтателей, еретиков, отшельников, бунтарей, скептиков» и которые после кратковременного творческого подъема в начале 20-х годов быстро замолчали или, как писала Марина Цветаева, заплатили «пожизненным заключением в самих себе, в этой крепости — вернее петропавловской».

Юрию Анненкову принадлежит единственный, кажется, портрет Михаила Кузмина, написанный акварелью в 1919 году, напоминающий следующие мастерски схваченные словесные зарисовки Марины Цветаевой, взятые из ее воспоминаний, относящихся к январю 1916 года: — «И вот, с конца залы — как в обратную сторону бинокля, огромные — как в настоящую сторону — во весь глаз воображаемого бинокля — глаза... С того конца зала — неподвижно как две планеты — на меня шли глаза. Глаза были — здесь. Передо мною стоял — Кузмин. Глаза — и больше ничего. Глаза — и все остальное... С гладкой небольшой драгоценной головы, от уха к виску, два волосных начеса, дававших на висках по полукольцу, почти кольцу — как у Кармен или Тучкова IV или у человека застигнутого бурей...».

Биографические сведения о Михаиле Кузмине очень скудны. Родился он в дворянской семье 23 сентября (5 октября по новому стилю) 1875 года в городе Ярославле. Детские годы прошли в Саратове. Десятилетним мальчиком он уже учится в Петербургской гимназии, а потом — в консерватории.

Литературной деятельностью начал заниматься довольно поздно, после того как убедился, что не станет хорошим композитором. В начале 900-х годов путешествовал по Италии и Египту. Эти путешествия отразились в тематике и характерах его первых произведений. Возвратившись из этого длительного путешествия, Кузмин близко сходится со старообрядцами и ездит с ними по северным губерниям в поисках древних икон.

Об этом упоминает Александр Блок в письме к матери от 20 сентября 1907 года: «Кузмин опять уйдет совсем от людей и будет жить, как прежде, в раскольниковой лавке».

О Кузмине периода 1905-1909 года можно сказать словами Сергея Городецкого, который так писал о себе самом: — «Он вырос и развился в университетских кружках и в интимной обстановке узкого литературного круга, собиравшегося на квартире у А. Блока... Лирический уют белой комнаты в Гренадерских казармах, где жил А. Блок, вел его к уединенному самосозерцанию, к комнатному творчеству».

После появления в печати первых произведений Кузмина, свидетельствовавших о приходе в литературу сложившегося поэта, символисты приняли его в свой круг, как равного, так же как и Сергея Городецкого. В 1906 году он уже сотрудничает в «Золотом руне», а во второй половине 1907 года вместе с В. Брюсовым, А. Белым, З. Гиппиус и Д. Мережковским выходит из состава «Золотого руна» и сотрудничает в «Весах», где принимали участие — К. Бальмонт, М. Волошин, С. Городецкий, Вяч. Иванов, А. Ремизов, В. Розанов, Ф. Сологуб и К. Чуковский.

Имя Михаила Алексеевича Кузмина пестрит в письмах Александра Блока этих лет. Он соглашается со взглядом Эллиса (Л. Кобылинского) на творчество Кузмина (письмо от 5-го марта 1907 г.); пишет матери, что в осеннем Петербурге 1907 года «даже Кузмин скрывает свою грусть» (письмо от 20 сентября 1907 г.); упоминает имя Кузмина в числе поэтов, с которыми мог бы выступать на авторском вечере (письмо к А. Н. Чеботаревской от 19 февраля 1908 г.); переписывает и посылает матери новое стихотворение Кузмина (письмо от 30 января 1908 г.); упоминает в письме С. К. Маковскому, что Кузмин принес ему корректуру стихов (письмо от 23 декабря 1909 г.); высоко отзываясь о каждой напечатанной вещи Кузмина («Комедия о Евдокии из Гелиополя, или Обращенная куртизанка», напечатанная в «Цветнике Ор» за 1907 г., «кошница первая»; «Сети», 1-ая книга стихов, М., 1908: «Зеленый сборник», СПб., 1905). Повидимому их встречи были часты. Поэзия Кузмина волновала взыскательного Блока. Об этом свидетельствует одно его письмо, написанное во время чтения сборника «Сети»: — «Вчера я всю ночь не спал, а днем бродил по полям и смотрел на одуванчики, почти засыпая, почти за-

сыпая. Потому Вы не застали меня. А сейчас проспал 13 часов без снов и встал бодрый; ясный воздух, читаю Вашу книгу вслух и про себя, в одной комнате и в другой. Господи, какой Вы поэт и какая это книга! Я во все влюблен, каждую строку и каждую букву понимаю и долго жму Ваши руки и крепко, милый, милый. Спасибо.

Любящий Вас — Александр Блок».

В 1910 году происходит формальный раскол символистов и образование акмеистской группы, которая выступала против мистических крайностей, чрезмерной метафорической усложненности и увлечения символикой, отстаивая возврат к «земле», к точному значению слова и к материальному миру вещей. Михаил Кузмин *формально* не принадлежал ни к этой группе, ни к акмеистскому «Цеху поэтов» (1912 г.), а только примыкал к ним. Однако его статья «О прекрасной ясности», напечатанная в органе акмеистов, журнале «Аполлон» (№ 4 за 1910 год), была одним из краеугольных камней «*кларизма*», т.е. принятого акмеистами эстетического принципа чувственной и пластической ясности поэтического языка и художественных образов.

В дневниках Александра Блока за 1911, 1912 и 1913 годы имя Кузмина встречается среди выдающихся деятелей театра и литературы. А в записи от 15 ноября 1912 года находим и преувеличенное упоминание о его тяжелой болезни: «О Кузмине — болен, доживает последние годы».

Довольно любопытно (и даже смехотворно) утверждение советского критика А. А. Волкова, одного из авторов много томной «Истории русской литературы», изданной Академией Наук СССР (1954), о том, что Михаил Кузмин вместе с К. Бальмонтом, Ф. Сологубом, Вяч. Ивановым и А. Ремизовым поддерживал «империалистические устремления буржуазии» и в 1914 году был охвачен «казенно-шовинистическим настроением» и оправдывал «антинародную войну» как «христианский подвиг» и залог «обновления жизни».

Акмеисты в своем большинстве враждебно приняли Октябрьский переворот. Одни из них эмигрировали. Другие, как Н. Гумилев, приняли активное участие в борьбе против большевиков. Третьи — постепенно входили в советскую литературу или ушли в пожизненное заключение в самих себе. О

Кузмине в дневнике Александра Блока от 21 августа 1917 года записано: «В «Бродячей собаке» выступали покойники: Кузмин и Олечка Глебова...»

Следует отметить, что именно Александр Блок делал все от него зависящее, чтобы «сохранить Кузмина» для русской литературы. Об этом в частности свидетельствует и вечер, посвященный 45-тилетию со дня рождения (в примечаниях к 6-му тому сочинений А. Блока неправильно сказано, что он был посвященный 50-тилетию) Михаила Алексеевича Кузмина, организованный его друзьями 29 сентября 1920 года. На вечере кроме Александра Блока, с речами выступали Н. Гумилев, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум. В юбилейном приветствии Блок говорил: —

«Дорогой Михаил Алексеевич, сегодня я должен приветствовать вас от учреждения, которое носит такое унылое казенное название — «Профессиональный союз поэтов». Позвольте вам сказать, что этот союз, в котором мы с вами оба, по условиям военного времени, состоим, имеет одно оправдание перед вами: он, как все подобные ему учреждения, устроен для того, чтобы найти средства уберечь вас, поэта Кузмина, и таких, как вы, от разных случайностей, которыми наполнена жизнь и которые могли бы вам сделать больно.

Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что все те, от лица которых я говорю, радостно и с ясной душой приветствуют вас как поэта, но ясность эта омрачена горькой заботой о том, как бы вас уберечь. Потерять поэта очень легко, но приобрести поэта очень трудно; а поэтов, как вы, на свете сейчас очень немного.

В вашем лице мы хотим охранить не цивилизацию, которой в России, в сущности, еще и не было, и когда еще будет, а нечто от русской культуры, которая была, есть и будет...»

И Кузмина действительно уберегли. Его охранили. В хронике литературных событий пореволюционных лет нередко встречается и имя Михаила Кузмина. 27 февраля 1919 года он читал стихи в кафе «Привал комедиантов» вместе с А. Блоком, В. Рождественским, Н. Оцупом и В. Маяковским. В январе 1921 года он помещает свои стихи в новом журнале «Дом искусств». Хотя среди редакторов этого журнала был и Максим Горький, А. В. Луначарский в своей рецензии писал, что в «Доме искусств» к революционной современности «тяготения

не чувствуется, — потому-то он и производит впечатление абсолютной ненужности». 14 августа 1921 г. в Петрограде вышел специальный выпуск газеты «Жизнь искусства» с призывами помочь голодающему крестьянству. В этом выпуске опубликована статья и стихи Михаила Кузмина. В 1923 году вышел литературный альманах «Петроград», в котором были помещены стихи и проза Михаила Кузмина.

За семь лет творческого подъема, до 1924 года, Кузмин написал и издал девять сборников стихотворений, пять книг прозы и статей об искусстве и два драматических произведения. Последней творческой вспышкой была его книга стихов (1925-28 гг.) «Форель разбивает лед», изданная в Ленинграде в 1929 году. А после этого наступило то, что так ясно выразила Анна Ахматова во время своего приезда в Париж 1965 году: «Волошин, Кузмин, Вячеслав Иванов — все они для нас больше не существуют».

Как известно, Михаил Кузмин не принадлежал к тем писателям, которых Евгений Замятин называл «юркими» и «пролетарскими». Он был среди отшельников, еретиков, мечтателей. После эмиграции, изгнания, гибели и смерти своих близких друзей и ценителей поэзии, больной и угнетенный, он замолчал.

«Ну, Кузмин умер собственной смертью, — говорила Анна Ахматова С. Р. Эрнсту, во время встречи в Париже в июне 1965 года, — у него было несколько сердечных припадков, его отвезли в госпиталь, там его ко всему еще и простудили. Умер он без свидетелей... Смерть его в 1936 году была благословением, иначе он умер бы еще более страшной смертью, чем Юркун, который был расстрелян в 1938 году...»

Оказывается, что имя Кузмина упоминалось в состряпанном деле против Бенедикта Лившица, тоже расстрелянного в 1938 году.

Умер Михаил Алексеевич Кузмин 3-го марта 1936 года.²

Еще в 1907 году, почти за 30 лет до своей смерти, по просьбе Модеста Гофмана, приготавливавшего «Книгу о русских писателях последнего десятилетия», Кузмин написал крошеч-

² В «Истории русской литературы конца XIX — начала XX века. Библиографический указатель под ред. К. Д. Муратовой, М.-Л., 1962, стр. 275 ошибочно указан день смерти Кузмина — 1 марта.

ную автобиографию, которую назвал своего рода эпитафией. Приводим ее полностью: — «Скромность, приличествующая людям и скудость места, заставляют меня ограничиться как бы родом эпитафии, могущей быть составленной таким образом: «30 лет он жил, пел, смотрел, любил и улыбался». Немного прибавит к этому знание, что родной мой город — Ярославль, что род мой — дворянский, что деды мои — французы, что вторая родина — Петербург, что вначале занимался музыкой, что печататься начал с 1905 года. Чувство нежной и благодарной гордости не позволяет мне умолчать, что первое одобрение имел я от В. Я. Брюсова. Вот и все».

Эту биографическую канву существенно дополняют воспоминания «из двух углов» — двух разных подходов к личности и творчеству Михаила Кузмина: восторженного гимна поэту, написанного вдохновенной Мариной Цветаевой, и весьма сдержанного, без романтического покрова, с деталями будничной жизни, «житейскими, бытовыми странностями» поэта, — Ирины Одоевцевой: — «Домой я, как всегда, возвращаюсь с Гумилевым.

— Как вам понравился Кузмин? — спрашивает он.

— Не знаю, — совершенно искренно отвечаю я.

Гумилев недовольно морщится: — Вы просто не умеете его оценить...

И я так до сих пор еще и не знаю, нравился ли он мне или нет?

Вернее, нравился и не нравился в одно и то же время».

О творчестве Михаила Кузмина довольно много было написано в литературных журналах до 1917 года. В библиографическом указателе под редакцией К. Д. Муратовой приведено 38 позиций; среди них 15 статей принадлежат таким авторитетным критикам и тонким ценителям искусства, как А. Белому, В. Брюсову, К. Чуковскому, Н. Гумилеву, С. Городецкому, В. Ходасевичу и В. Жирмунскому. Но после революции появилось только десять небольших (2-4 журнальных страницы) заметок и статей, в том числе две в литературных энциклопедиях. От 1931 года (времени появления 5-го тома «Литературной энциклопедии») и до 1966 года (год выхода 3-го тома «Краткой литературной энциклопедии») — за целых 35 лет — о творчестве Кузмина в СССР не было напечатано ни строчки!

Законодатели поэтических вкусов первого двадцатилетия нашего века — В. Брюсов, А. Блок и Н. Гумилев — сразу же высоко оценили *поэзию* Михаила Кузмина, «того, — как пишет Ирина Одоевцева, — легендарного Кузмина, чьи стихи — «Из долины мандолины...» — повторяет сам Блок наизусть. А ведь Блок, по словам Гумилева, не признает никого из современных поэтов».

Как мы уже говорили, Александр Блок был «влюблен в каждую строчку» первого сборника стихов Кузмина — «Сети», вышедшего в 1908 году. В рецензии на этот сборник Блок писал, что Кузмин «поет так нежно и призывно, что голос его никогда не оскорбит, редко оставит равнодушным и часто напомнит душе о ее прекрасном прошлом и прекрасном будущем, забываемом среди волнений наших железных и каменных будней».

В. Жирмунский в статье «Преодолевшие символизм» говорит, что Кузмин это — «один из самых больших поэтов наших дней», «большой и взыскательный художник слова. Его изысканная простота в выборе и соединении слов есть сознательное искусство или непосредственный художественный дар, который делает современного поэта учеником Пушкина».

И в *прозе* М. Кузмин проявил себя как новатор и мастер острой, занимательной фабулы, яркого изображения деталей быта, обстановки, внешних событий. Б. М. Эйхенбаум отмечал в прозе Кузмина редкое соединение французского изящества «с какой-то византийской замысловатостью». В ней органически сливаются «прекрасная ясность» — с витиеватыми узорами быта и психологии, «не думающее о цели» искусство с неожиданными тенденциями». Б. М. Эйхенабум находил в прозе Кузмина и отзвуки византийского романа, и влияние древнерусской экзотики, и черты французского авантюрного романа XVII-XVIII веков, и мастерства Анри де Ренье и Анатolia Франса, и естественного тяготения к «единственному, пожалуй, русскому учителю Кузмина» — Лескову.

Не менее интересен и Кузмин-драматург. Рассматривая одну из первых его комедий — «Комедию о Евдокии из Гелиополя, или Обращенную куртизанку», (1907), Александр Блок писал, что она отличается «играющей прозой и воздушными стихами». «Мелодия мистерии звенит, как серебряный колокольчик, в освеженном вечернем воздухе. Это — наиболее

совершенное создание в области *лирической драмы* в России, проникнутое какой-то очаровательной грустью и налитое тончайшими ядами той иронии, которая так свойственна творчеству Кузмина».

В произведениях же последних лет своего творческого пути Михаил Кузмин во многом предваряет модернистические тенденции, свойственные сюрреализму («Для Августа», 1927 и «Лазарь», 1928 гг.).

Кроме оригинальных произведений, Михаил Кузмин оставил блестящие переводы Шекспира, Апулея и Боккаччио, а также интересные статьи о живописи, театре и по вопросам теории литературы.

М. Стивенсон

1

Пример предустановленной гармонии:
Новорожденный стал новопреставленным.

Пустой собор. Не кашляй. Отпевание.
На мраморе надгробное рыдание
(Последнее, немое целование...).
Пойдем к цветам, у гробика расставленным.

К слепому личику, косому лучику?
Но в лучшем из миров всегда все к лучшему...
Он умирал без боли, без сознания.

...На кладбище: имеет ли значение
Высоко в небе смутное свечение?

...Те бронзовые розы на распятии,
Те отблески на обелиске. Снятие
С креста. И грусть, и жалость, и апатия.

2

«Поэты — бессмертны...» Светлело, неярко,
Над лондонской маленькой Мраморной Аркой.

Ты спорил о славе у края Гайд-парка,
Где Байрон — а может быть, это Петрарка?

Бессмертье поэтам? А если ни жарко,
Ни холодно им от такого подарка?

...Там дальше Вестминстер, аббатство, где лица
«Бессмертных» поэтов... Но мрамор пылится

И Шелли не видит, что — солнце, что птица
Летит над аббатством и воздух струится.

...А в греческой урне, любимице Китса,
Не сердце, а м е р т в о е сердце хранится.

Игорь Чиннов

О ЖИВОТНЫХ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО

*«Животных любите: им Бог дал начало мысли
и радость безмятежную... Человек, не возносись
над животными: они безгрешны».*

«Братья Карамазовы».

Настоящая работа — завершение прежних двух статей в «Новом журнале» о ландшафте и о времени и пространстве у Достоевского. Этические и эстетические воззрения человека связаны с его отношением к животным и ко всему живому. Некогда О. Шпенглер изумительно выразил, как биолог, а он был и ученым биологом, отличие животного мира от растительного. Философ описывает дуб, в его могучей красоте, после дождя. Тысячи листьев, сотни ветвей, корней, сила жизни, древность и долговечность. И он, этот дуб-великан, не свободен, недвижим, по своей воле не шелохнется его лист. Недвижно замерли его листья в солнечном свете, а на них висят тысячи тысяч капель и в них живут и движутся, плывут, крутятся, крошечные инфузории. Их жизнь — мгновение, но есть тут у них некая тень свободы в их перемещениях в крошечной прозрачности капли, что висит один миг на листьях дуба... Через животное, говорит Достоевский, мы приближаемся к тайне Жизни.

Статья эта, делится на четыре неравные части: 1) бестиарий Д., перечисление животных из его творчества в алфавитном порядке с их звуками. 2) образцы метафорическо-фразеологического и пословичного использования животного мира в речи, от коня, слона, крокодила, свиньи, собаки, до орла

¹ Насколько я сам, и с помощью достоевсковеда С. В. Белова, разузнал, нет работ на эту тему, кроме статейки А. Тесковой в сборнике о Достоевском. Прага, 1931.

и клопа. 3) животное, как действующее, как фактор в развитии сюжета, фабулы. 4) животное — символ: лев, свинья, орел, насекомое и т. д. Для своей работы я использовал десяти томное московское изд. 1956 г., «Дневник писателя» в изд. И. П. Ладыжникова, «Забытые и неизвестные страницы», изд. Л. П. Гроссмана и некоторые другие публикации, напр., «Северный вестник». Примеры же взяты только из художественных произведений и из «Дн. пис.».

Изображение и даже рисование животного мира имело довольно уже утвержденную традицию когда Д. формировался как писатель и мыслитель. Кроме классической традиции, (напр. Гомер) на манеру описаний, на «интерес к младшим братьям» человека, влияли труды А. Гумбольдта, Л. Бюффона и натуральной «гоголевской школы» в России. На Достоевского несомненно влияли и романтики — Бернардэн де Сэнт Пьер, Гюго, Гофманн, и, конечно, Н. Некрасов — певец страдания. Искусство изображения животных И. Тургенева и Л. Толстого, как это ни странно, мало откликнулось у Д. Как легкомысленно с кондачка утверждать, что природа не интересовала писателя, что произведения пластических искусств его мало занимали (Н. Н. Страхов), так же точно неверно не замечать и значения животных в жизни и творчестве Д. Во многом он самый своеобразный русский изобразитель мира животных и гадов.

1) Агнец, аист, акриды, Ами, Амишка, собаки. — Бабочка, баран, барашек, белка, белки, Белка (собака), белочки, белый конь, белые кони (упряжка), белый медведь, «безрыбье», бестия (пиккола бестия), Ма бишь (франц. — моя лань), бланбеки, блохи, болонка, борзая, стая борзых, боевой конь, Бри-бри (франц. — пичужка), букашки, бульдог, бык, быки, золоторогие быки, бычок. — Васенька-кот, Васька-кот, Васька-козел, верблюд, верблюды, волк, волки, волченки, Волчок-собака, вол, воля, воробей, вор-воробей, воробы, воробушки, ворона, вороненькая (лошадка), Воронок-конь, вошь, вран, вши. — Гад (паук), гад (змея), галка, галчата, гаргосы, гидра, Гнедко, в виде голубине, голубок, голубь, голубчики (голуби), гончие (псы), гуси (дикие), гуси (домашние), гусь. — Датская собака, дворняжка, дворовая собака, собаки, дракон (уродец). — Еж, ежик, ежики, енотовый, «ехидна». — Жаворонок, Жар-птица, жеребец, низшие жи-

вотные, жук, журавль, Жучка, жучки. — Зайцы, зайчик, заяц, зверенок, зверинцы, зверок, зверь, красный зверь (волк, медведь и т. п.), зверьки, Земирка (собака), змейки, змея, змея подколотная, змий страсти, премудрый змий. — Индюк, индейский петух, инфузория, ихневмон, ищейка. — Каган² (птица), какаду, канарейка, караси, карась, киты, клепер (порода лошади), клопы, кляча, саврасая клячонка, кобель, кобыла, кобыленка, кобылка, козел, козявка, комар, конек, кони, конь, корова, коршун, кот, котеночек, котик (мех), кошка, кошка-Машка, беленькая кошечка, китайская кошка, крокодил, кролик, кролики, крот, крысы, кукушка, кулики, Культьпка (собака), курица. — Лань, ластовица, ласточка, лебедь, лебединая песнь, лев, левретка, летучая мышь, лисица, лихач (конь и извозчик), лошаденка, пегая лошаденка, лошади, лошадка, казанские бойкие лошадки, ломовая лошадь, лягушки. — Малявочка, медведица, медведь, «медвежонок», меделянский щенок, мерин, Мими (собачка), моська, мотылек, мотыльки, мошка, мул, муравей, муравьи, муравейник, муха, мухи, мушка, (мошка), мыши, белые мышки, мышонок, летучая мышь. — Наседка, насекомые. — Обезьяна, овца, овечка, одры (худые кони), олени, орел, Орел Великий (Россия), орел кавказский, орел карагуш, оса, осиное гнездо, осел, «зеленый осел», ослица валаамова, охота псовая, охотничьи собаки. — Павлин, паук, пауки, пегий (конь), Перезвон (собака), перелетные птицы, пес, пескарики, петух, пигалица, Полкан (собака), попугай, поросенок, пристяжная, пташка, птенчик, стаи птиц, хищная птица, птичка, птицы небесные, пудель, пчелка золотая, пчелы. — Рак, резвоногие кони, рыба, золотая рыбка, рысак, рысачок. — Савраски (кони), сверчок, свинушка, свиньи, «селезень», пара серых (кони), сеттер, синица, скворец, скорпион, скот, скотина, скоты, слизняки, слон, снеток, собака, собаченка, собачка, соболь, сова, совы, сокол, соловей, сорока, страус, стрекоза, стрепет, судаки, сука борзая, сурок, сыч, сычиха. — Табуны (коней), Танкред³ (конь), таракан, тараканы-пруссаки, тарантул, теленок, телочка, те-

² Достоевский в разных произведениях после каторги поминает птицу-Каган, полагая, что это занчит *Хан*, царь-птица.

³ Символическое имя неукротимого жеребца в романтическом рассказе Достоевского. Танкред, исторически известный, свирепый, вождь норманнов в первом крестовом походе.

лята, террнеф (нюфаундлендский пес), тетерева, тля, тигр, Трезорка (собака), тритон (водяной), тройка (коней), гнедая сухопарая резвая тройка, «трутень». — Удав (змея), улитка, устрица, утка, уточка. — Фаланга (членистоногое), Фальстаф, Сэр Джон Фальстаф — Фрикса (бульдог), филин, Фиделька (собачка). — Хамелеон, хомяк. — «Цыпленок», цыплята. — Чайка, червь, червяк, червячок, черепаха, черный конь, серая четверня, чижики. — Шавка, шакалы, Шарик (собака), шпиц. — Щегол, щенок, щенки, щеночек, щука. — Ягненок, язевый, ястреб, ящерицы. — Свыше ста родов и видов животных!

Мир животных полон звуков, ономастопей: Визг, визжат, ворчат, гогочут, кричат «га-га!», жужжат, звенят, лают, твякают, поют, заливаются трелью, рычат, храпят, клохчут, квакают, хрю-хрю, шю- шю- шю, щелканье соловья, рычание, рев и т. д. Все подано скупое, точно, уместно и ярко, как шепот кота в рассказе «Чужая жена и муж под кроватью».



2) В первом отделе я перечислил всех животных в творчестве Достоевского, во втором даю только ряд образцов из области фразеологической, пословичной и метафорической текстов Д. — У богатого телята, а у бедного — ребята (поговорка). Где та мышь, чтоб коту звонок привесила? Гол, как сокол. Деньги-голуби: прилетят и опять улетят. Да он на всех зверей похож! Обманчива иногда бывает наружность... под цветами иногда таится змея. Смотрит, как баран, который увидел новые ворота. Будем жить, как рыба с водой, как братья родные. Двух воробьев одним камнем убить. Без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке. Забежать вперед зайцем. Голова — змея хитрая. Не жнут, и не сеют, а своевольны, как воздух рассекаемый их резвыми крыльями (распространение евангельской цитаты). Далеко кулику до Петрова дня, (угрожающе, об Англии: Далеко куликам!). Черного кобеля не отмоешь до бела. Ворон ворону глаз не выклюет. Мала птичка, да ноготок востер (поговорка). Точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшуюся в его паутину. Сестра ему дорогу протачивала, как крыса работала, Кукушина⁴ это — прогрессивная вошь. Человек есть животное,

⁴ Героиня из романа И. С. Тургенева.

по преимуществу созидающее. Лицо, как воронье яйцо. Выражение перепуганного цыпленка, наипротивнейшее в мире. Польские клерикалы: Волки перерядились в овец. Один гад съест другую гадину. Влюблен, как воробей. Всякая женщина-змея, и всякая змея-женщина. Англии бояться-никуда не ходить (переделка пословицы). Убежишь, как мышь в подполье. С одного вола двух шкур не дерут. Муху преувеличиваю в слона. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье. Задувает теперь по всем по трем... динь-динь-динь. Даже простой комар весьма бы удобно перешиб его крылом своим. Отвратительная, как паук, идея разврата. Худая, как общипанный, чахлый цыпленок. Грешен, как козел. Та- та -та! вышла кошка за кота! Злая улыбка змеилась по его губам. Лучше проскользнуть какой-нибудь кошкой по лестнице. Одна была песня у волка, и ту перенял туляк. Хищный тип.⁵ В результате пуст: курица болтуна снесла (яйцо без зародыша).

Достоевский, порой, пользуется цитатой с упоминанием животного, для создания комической ситуации. Тишайший и нежнейший Девушкин в «Бедных людях», вдруг, ради выигрыша в глазах Вареньки, начинает увлекаться поэзией. Сперва он говорит, что люди должны «завидовать беззаботному и невинному счастью небесных птиц» и сразу же обнаруживает «сходное» желание: «...Зачем я не птица, не хищная птица!» Так сентиментальное и чуть слащавое излияние о небесных птицах Евангелия прерывает юмористическая концовка. Алеша Карамазов в главке «Речь у камня» серьезно сравнивает школьников-детей с голубями и называет их «голубчиками, потому что вы все очень похожи на них, на этих хорошеньких сизых птичек».

В известных случаях Д. вводит животных в рисуемую им картину, как ее часть, некое дополнение к описанию ландшафта. Вот, напр., осенний вечер у озера Средней России: «...Порхнет ли испуганная пташка, камыш ли зазвенит от легонького ветерка или рыба всплеснется в воде — всё, бывало, слышно... Вспорхнет чайка запоздалая, то окунется в холодной воде, то опять вспорхнет и утонет в тумане... Ветер

⁵ Термин Аполлона Григорьева по отношению к некоторым героям литературы.

сорвет тучу листьев с чахлых веток, закрутит ими по воздуху, а за ними длинною, широкою, шумною стаей, с диким пронзительным криком, пронесутся птицы, так что небо чернеет и все застилается ими».



3) Лошадь — основное тогда средство передвижения и транспорта — основа благополучного крестьянского хозяйства, а часто и гордость владельца, на первом месте у Д. Лошадь же нередко изображена, как символ обижаемого, олицетворение безропотности в страдании. Самыми важными для зарисовки лошади являются: «Маленький герой», «Записки из мертвого дома», «Преступление и наказание» и «Дневник писателя».

В рассказе «Маленький герой» конь Танкред играет роль романтического персонажа-фактора. Написанный во время заключения в крепости, рассказ овеян романтикой с легким налетом сентиментализма. Авторский голос защищает возвышенность романтики и романтизм как таковой. Одиннадцатилетнего героя сравнивают с Делоржем («Перчатка» Ф. Шиллера). Говорится, что в жизни грубые снобы хотят «безостановочно карать романтизм, то-есть зачастую все *прекрасное и истинное*, каждый атом которого дороже всей их слизняковой породы». И вот, влюбленный отрок не может поехать на пикник, для него нет места в экипаже, нет и лошади! А дама сердца едет! Тогда он, слыша насмешливый вызов подружки его дамы сердца, решается принять вызов и вскочить на страшного жеребца, хотя и опытный ездок не решился сесть на бешенное животное. «У подъезда стоял конь... грызя удила, роя копытами землю, поминутно вздрагивая и дыбась от испуга. Два конюха осторожно держали его под уздцы. Бешенный невыезженный жеребец... Конь держал себя гордо и заносчиво. (Опытный ездок) протянул было руку, но вдруг был озадачен бешеным вскоком его на дыбы... посмотрел на дикую лошадь, которая вся дрожала, как лист, храпела от злости и дико поводила налившимися кровью глазами, поминутно оседая на задние ноги и приподымая передние, словно собираясь рвануться на воздух и унести вместе с собою обоих вожатых своих». Ездок решил не ехать на таком звере и хозяин коня заметил: «Танкред, друг мой, здесь не по тебе народ; видно,

твой седок какой-нибудь Илья Муромец». Но маленький герой «стал ногой в стремя... В этот миг Танкред взвился на дыбы, взметнул головой, одним могучим скачком вырвался из рук остолебеневших конюхов и полетел, как вихрь, только все ахнули да вскрикнули». Автор замечает, что в этом поступке мальчика «было как будто и впрямь что-то рыцарское». Далее описана краткая скачка, когда Танкред «повернулся налету, но так круто, что мне и теперь задача, как от такого крутого поворота не сплечил себе ног (Танкред)... Он бросился назад к воротам яростно мотая головой, прядая из стороны в сторону, будто охмелевший от бешенства, взметывая ноги... стрясая меня со спины, точно как будто на него вспрыгнул тигр и впился в его мясо зубами и когтями». После спасения с лошади «я весь дрожал, как былинка под ветром, так же как и Танкред, который стоял, упираясь всем телом назад, неподвижно, как будто врывшись копытами в землю, тяжело выпуская пламенное дыхание из красных, дымящихся ноздрей, весь дрожа, как лист, мелкой дрожью». Здесь налицо все элементы реального, яркого описания и вместе с тем окрашенного романтикой. Тут и имя коня, тут и не горячее, а романтическое *пламенное* дыхание и летит не пар, но дым исходит из ноздрей коня, подстать некоему эпическому коню или змею русских былин.

Совершенно иное описание кроткой лошадки — Гнедка в «Записках из мертвого дома». Сама покупка лошади-водовозки обставлена живыми, с оттенком натурализма, разговорами каторжан о коне и его статях. Глава VI так и называется: «Каторжные животные». Когда они выбрали, наконец, конька, то «были веселы как дети... черкесы так даже вскакивали на лошадь верхом; у них глаза разгорались». Новый Гнедко «была славная лошадка, молоденькая, красивая, крепкая и с чрезвычайно милым, веселым видом. Уж разумеется по всем другим статьям она оказалась безукоризненною... Вынесли хлеба с солью и с честью ввели нового Гнедка в острог». Водовоз — каторжник Роман — был характера молчаливого, «постоянное обращение с лошадьми, пишет Д., придает человеку какую-то особенную солидность и даже важность». Скоро конь стал любимцем острога: «Гнедко, войдя в острог, стоит с бочкой и ждет (Романа), косит на него глазами. — Пошел один! — крикнет ему Роман и Гнедко тотчас же повезет один,

довезет до кухни и остановится... Умник, Гнедко! — кричат ему, — один привез! Слушается... Гнедко мотает головою и фыркает, точно он и в самом деле понимает и доволен похвалами. И кто-нибудь непременно тут же вынесет ему хлеба с солью. Гнедко ест и опять закивает головою, точно проговаривает: «Знаю я тебя, знаю! И я милая лошадка, и ты хороший человек!» Я тоже любил подносить Гнедку хлеба. Как-то приятно было смотреть в его красивую морду и чувствовать на ладони его мягкие, теплые губы, проворно подбиравшие подачку... Кроме Гнедка были у нас собаки, гуси, козел Васька, да жил еще некоторое время орел». Иного духа описание рысака на Невском проспекте в Петербурге: «Топот и грохот, и сиплые окрики кучеров... Успею (перебежать) или нет? Из тумана на расстоянии лишь одного шагу от вас вдруг вырезывается серая морда жарко дышащего рысака, бешено несущегося со скоростью железнодорожного курьерского поезда: пена на удилах, дуга на отлете, вожжи натянуты, а красивые сильные ноги с каждым взмахом быстро, ровно и твердо отмеривают по сажени. Один миг, отчаянный окрик кучера и — все мелькнуло и пролетело из тумана в туман... Подлинно петербургское видение!». Впечатление от пролета рысака подготовлено было писателем тем, что упомянут «учащенный, безумный, секущий топот» в ушах пешехода. Эта картинка с рысаком из «Гражданина» была перенесена Достоевским и в «Дневник писателя».

Лошадь-мученицу Достоевский описал четыре раза. Иван Карамазов вспоминает стихотворение Н. А. Некрасова о том как мужик сечет лошадь свою по глазам, «по кротким глазам». До этого, сходная, по жестокости мужика, сцена описана в сне Раскольниковов, а для обеих картин существенно стихотворение поэта «До сумерек», 1859 г., особенно часть вторая. Сон Раскольниковов связан как-то в его подсознании и с той бессмысленной жестокостью, с которой он убьет Лизавету, родственницу процентщицы. Грезится Родиону Раскольникову его детство, прогулка с отцом. Он видит тяжелую телегу, «из тех больших телег, в которые впрягают больших ломовых лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Он всегда любил смотреть на этих огромных ломовых коней, долгогривых, с толстыми ногами, идущих спокойно, мерным шагом и везущих за собою какую-нибудь целую гору, нисколько не

надсаждаясь. Но теперь... впряжена была маленькая, тощая саврасая крестьянская клячонка, одна из тех, которые — он часто это видел — надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров... *и при этом их так больно, так больно бьют* всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему *так жалко*, так жалко на это смотреть». (Во сне он видит, как хозяин нагружает телегу всеми пьяными-сотоварищами). «Все: секи ее!.. Не трошь! мое добро! Что хочу, то и делаю! (С ужасом Раскольников бежит подле лошади и) «видит, как ее секут по глазам, по самым глазам». Описывается как потом несчастное животное бьют оглоблей, калечат ударами лома... — «Доконал! кричат в толпе, — А зачем вскачь не шла!...» Родион с отцом прорывается к уже мертвой лошаденке, «обхватывает ее мертвую окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы». Ужас жестокого сновидения связуется у взрослого Раскольникова с намерением убить старуху-процентщицу. После сна об убийстве лошади, герой ужасается самого себя, своей мечты об убийстве и грабеже. Он молится: «Господи! покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей!». Но тут-то и приходит последнее искушение — уход Лизаветы, и снова «мысль наклеывалась в его голове, как из яйца цыпленок». А что, если жизнь ростовщицы «не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит?»

В «Братьях Карамазовых» Иван толкует Алёше о человеческой жестокости и приводит как пример «стихи о том, как мужик сечет лошадь кнутом по глазам, по кротким глазам... Умри да вези! Клячонка рвется, и вот он начинает сечь ее, беззащитную, по плачущим, «по кротким глазам». Вне себя она рванула и вывезла и пошла, вся дрожа, не дыша, как-то боком, с какою-то припрыжкой, как-то неестественно и позорно, — у Некрасова это ужасно. Но ведь это всего только лошадь, лошадей сам Бог дал, чтобы их сечь». Далее следует рассказ о людской жестокости с детьми.

Если сравнить описание истязания и мук лошади у Достоевского со стихами Некрасова, то у поэта лошадь просто стала — остановилась и ее бьют сперва поленом. Она не «рванула и вывезла», а «напряглась и пошла». Достоевский распространяет в прозе лишь намеченное в стихах, он добавляет: «вся дрожа, не дыша, как-то боком, с какою-то при-

прыжкой, как-то неестественно и позорно». — Сравнение женщины с клячей, ранее, но после стихов Некрасова, дано в предсмертном вопле Катерины Ивановны в «Преступлении и наказании»: «Пора!... Прощай горемыка! Уездили клячу!.. Надорва-а-алась!...»

В 1866 году было основано первое «Российское общество покровительства животным». Вскоре его членом стал Достоевский. В «Дневнике писателя» за 1876 г. он дает отрывки из речи председателя О-ва о значении моральных и материальных выгод, связанных с защитой животных, и говорит, что это дело нужное и благое: «Действительно, говорит писатель, не одни же ведь собачки и лошадки так дороги Обществу, а и человек, русский человек, которого надо образить⁶ и очеловечить... Научившись жалеть скотину, мужик станет жалеть и жену свою». Далее рассказывается, как дети видят непомерно наложенный воз и как мужик «сечет свою завязшую в грязи клячу», или: «как мужик, везший на бойню в большой телеге телят... сам преспокойно сел тут же в телегу на теленка. Ему сидеть было мягко, точно на диване с пружинами, но теленок, высунув язык и вылупив глаза, может, издох еще не доехав до бойни... Такие картинки, несомненно, зверят человека и действуют развратительно, особенно, на детей». Необходимо-де защищать животных даже и зная, что «у нас люди мрут с голоду по голодным губерниям». Д. вспоминает о поездке семьи своей в Петербург в 1837 г. из Москвы. «Мы ехали на долгих, почти шагом, почти шагом, почти неделю». Описывается встреча с курьерской тройкой с фельдъегерем, избивающим по шее ямщика. Делает он это в надежде ускорить езду, чтоб избиваемый жеще хлестал по коням: «Фельдъегерь все бьет методически ямщика, а тот безумно хлещет лошадей. Ямщик же наверно сорвет злость позже на жене. Тут каждый удар по скоту выскакивал из каждого удара по человеку». Д. советует Обществу покровительства животным вырезать на печати такую картину, как он изобразил и добавляет: «Пьяному не до сострадания к животным».

Лошадь, собственная лошадь — мечта в разговорах Снегирева с больным Ильюшей. Ранее, в рассуждениях о земле и

⁶ Д. говорит: «Словцо народное, дать образ, восстановить в человеке образ человеческий».

агрикультуре, Д. говорит, что мальчики так и рождаются «уже с лошадкой». Частное землевладение, свое маленькое хозяйство, может спасти человечество от ужасов городского пролетариата. Трагедию безлошадья в деревне Д. отлично понимал. С лошадкой связано в его творчестве и упоминание разнообразных, ныне исчезнувших экипажей. Тут всякие кареты, возки на полозьях, линейки, дрожки, гитары, кибитки, брички, возки, телеги, возы, сани с особыми полостями и т. д. Так некогда было, и не будет уже никогда. А тогда в городе — то зимой «мерзлый пар валил от лошадей», и «сквозь рыхлый снег звенели об камни подковы» рысаков, раздавалось «ии! пади!..» И вспоминается мне пронзительной грусти песенка Булата Окуджавы: «А всё-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков...»

Собака, подобно лошади, играет в основном три роли: фактор сюжетной ткани в произведении, друг человека и символ забитой, презираемой приниженности. Иногда собака имеет значение человека, служит баснеподобным олицетворением лающей братии писак. В «Дн. пис.» за 1876 г. Достоевский вспоминает турецкую поговорку-поговорку (НБ! такая существует), и говорит: «Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели». Описание Волка же, важно для биографов Достоевского так как сообщает факт о слуховых галлюцинациях у отрока-Достоевского. Эти галлюцинации очень сходны с галлюцинациями Н. В. Гоголя (См. «Старосветские помещики»). В рассказе о мужике Марее и его доброте дано и описание ряда животных: «Я выламываю себе ореховый хлыст, чтобы стегать им лягушек. Занимают меня тоже букашки и жучки, я их собираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных, красно-желтых ящериц, с черными пятнышками, но змеек боюсь... *И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками...* Впечатления эти останутся на всю жизнь... Я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!...» — Волк бежит! прокричал я, задыхаясь». И т. д.

В первом периоде творчества Д. собака связана, как и лошадь, с проявлением героизма. Изображение же собаки в «Неточке Незвановой» и в «Униженных и оскорбленных» окра-

шено романтизмом. Тут и Гофманн, и Гварини, и налет влияния Ч. Диккенса, упоминание Мефистофеля из «Фауста» Гете и т. п. В «Неточке Незвановой» бульдог Фальстаф овечья некоторой романтикой. Он — зол, горд, неприступен, но он же спаситель сына княгини, а сам тоже спасен от гибели. Катя, желая доказать свою храбрость, в глазах Неточки, гладит опасного и уже рычащего пса. Затем та же Катя из озорства выпускает бульдога в ею не закрытую дверь. Бульдог бежит к дверям другой комнаты, где находится ненавистная ему женщина. Вину за проделку Кати с бульдогом, из любви и рыцарского благородства, принимает на себя Неточка и происходит некое примирение двух, друг в друга страстно влюбленных подростков. О собаке и Кате говорится на многих страницах. Самолюбие Кати «мог оскорбить даже бульдог наш, Сэр Джон Фальстаф. Фальстаф бы хладнокровен и флегматик, но зол как тигр, когда его раздражали, зол даже до отрицания власти хозяина... Он был силен как медведь... Он был лукав, как кошка, и, чтоб не показать вида, что заметил оплошность отворявшего дверь, подошел к окну, положил на подоконник свои могучие лапы и начал рассматривать противоположное здание... Как истый англичанин, был молчалив, угрюм и ни на кого не бросался первый, только требовал, чтоб почтительно обходили его место на медвежьей шкуре...»

Совершенно романтично описание собаки Азорки в «Униженных и оскорбленных». Это собака-друг, это символ и совести Иеремии Смита, нечто пытающееся примирить сурового англичанина с отвергнутой дочерью, соединительная связь с внучкой Нелли-Еленой. На протяжении почти всего большого романа Азорка действует или о нем вспоминает Нелли. Эта собака тоже была спасена от смерти или злой опасности. Азорка был ранее цирковым псом, а потом другим фокусам научила его Нелли и он мог и сурового дедушку рассмешить. С самого начала повествования жуткий старик и его собака вводятся автором, как нечто таинственное: «Я увидел старика и его собаку... (и меня охватило) странное «мистическое предчувствие», пишет Достоевский. «Откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которая так на него похожа?». Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят... С виду она была так стара, как не бывают никакие собаки.

Собака необыкновенная, в ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное... Это, может быть, какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде и что судьба ее каким-то таинственными неведомыми путями соединена с судьбою ее хозяина. Худа она была, как скелет, или (чего же лучше?) как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз». Собака и ее хозяин напоминают автору Гофманна и иллюстрации к его творениям художника Гварини. Когда в кондитерской Миллера внезапно тихо умирает Азорка, «старик тихо склонился к бывшему другу и слуге, прижал свое бледное лицо к его мертвой морде...» Через несколько минут умер и старик Смит.

Ничего похожего на романтику нет в описаниях животных в «Записках из мертвого дома», где сконцентрировано самое большое число разнообразных животных и где каждое из них имеет свой особенный характер и свои повадки. «Шарик был наша острожная собака, так, как бывают ротные, батарейные и эскадронные собаки. Она жила в остроге с незапамятных времен, никому не принадлежала, всех считала хозяевами и кормилась выбросками из кухни. Это была довольно большая собака, черная с белыми пятнами, дворняжка не очень старая, с умными глазами и с пушистым хвостом. Никто-то никогда не ласкал ее, никто-то не обращал на нее никакого внимания. Еще с первого же дня я погладил ее и из рук дал ей хлеба... Теперь, долго меня не видя, меня, первого, который в несколько лет вздумал ее приласкать, она бегала и отыскивала меня между всеми и, отыскав за казармами, с визгом пустилась мне навстречу. Уж и не знаю, что со мной случилось, но я бросился целовать ее, я обнял ее голову, она вскочила мне передними лапами на плеча и начала лизать мне лицо... Так вот друг, которого мне посылает судьба! подумал я».

И всегда, после работы Горянчиков-Достоевский спешил за казармы «обхватывал его (Шарика) голову и целовал, целовал ее, и какое-то сладкое, а вместе с тем и мучительно горькое чувство щемило мне сердце... Одно существо, меня любящее, ко мне привязанное, мой друг, мой единственный друг — моя верная собака, Шарик». — Особенно печальна история другой собаки-Белки, третью же — Кулятьпку «я сам завел, принеся ее как-то с работы, еще щенком». Белка

была со странностями и калека, ее переехала телега; спина ее была вогнута «внутрь, так что когда она, бывало, бежит, то казалось издали, что бегут двое каких-то белых животных, срошенных между собою». Эта смиренная собака не лаяла и не ворчала, боялась людей и собак. Ложилась на спину перед каждым арестантом и тот пырял ее сапогом. Один Горянчиков и приласкал горемыку, и тогда она «вся затрепетала и начала громко визжать от умиления». Трогательно и живо описано поведение Белки с другими собаками. Несмотря на всю ее приниженную тихость, «ее на валу за острогом разорвали собаки». Ни робость, ни кротость ее не спасли! Д. очень старательно-любовно описывает цвет шерсти, формы тела Культияпки-уродца. Рассказано и как Культияпку принял под свое покровительство Шарик, и какой был характер у нее — «пылкий и восторженный». Позднее арестант Неустроев обратил внимание на цвет и густоту шерсти у собаки и тайно ее зарезал, чтоб «выложить мехом бархатные полусапожки для аудиторши». Вообще же в городе часто «негодяи-лакеи продавали за *тридцать* копеек собак. Их вешали, сдирали шкуры и продавали».

В том же отделе книги описан и козел — Васька, «преграциозное и прешаловливое создание. Он бежал на кличку, вскакивал на скамейки, на столы, бодался с арестантами, был всегда весел и забавен». Когда он подрос, его охолостили. Козел разжирел, стал спокоен «но привязался к арестантам, ходил с ними на работу». Его украшали ветвями и цветами и даже вздумали вызолотить его рога. Однако, козла заметил майор-начальник острога и велел его зарезать. Так кончил веселый Васька...

С какой-то щемящей сердце грустью, но в спокойном, сдержанном тоне идет повествование о раненом орле-карагуше. Был он горд и непримирим, «яростно оглядывался кругом, разевал свой горбатый клюв, готовясь дорого продать свою жизнь...» Жил орел в углу, у паль, никого к себе не подпускал, а мучили его арестанты тем, что натравливали собаку. Она научилась хватать его за больное крыло. Потом решили выпустить калеку в степь, — «хоть и околеет, да не в остроге». Пришли на работу и «орла сбросили с валу в степь. Это было глубокой осенью, в холодный и сумрачный день. Ветер свистал в голой степи и шумел в пожелтелой,

иссохшей, клочковатой степной траве. Орел пустился прямо, махая большим крылом и как-бы торопясь уходить от нас куда глаза глядят... Мелькала в траве его голова. — И не видать уж, братцы...» Перед освобождением из острога Горянчиков-Достоевский обходит острог и вспоминает опять орла: «Вот здесь, в этом углу, проживал в плену наш орел...»



В «Братьях Карамазовых» из животных следует отметить Жучку-Перезвона. Смердяков научил Ильюшу всадить иголку или булавку в мякиш хлеба и дать голодной собаке, чтоб проглотила. Ильюша так и сделал с Жучкой. Вскоре воспоминание о жалобном визге убежавшей собаки стало мучить ребенка. Заболев он задумался: не наказание ли Божье — болезнь? Далее повествуется о старшем его друге Коле Красоткине, его подвигах и о причине ссоры с Ильюшей. Коля, пожалев Ильюшу, находит забежавшую Жучку, но сперва тайно прячет ее у себя, переименовав ее имя на Перезвон. У постельки Ильюшечки он внезапно показывает Перезвона и доказывает, что это и есть Жучка. Он дарит собаку больному другу. Предсмертные часы Ильюши скрашены обретенной Жучкой и подаренным ему меделянским щеночком. Много страниц посвящено Жучке и истории вражды класса с Ильюшей, и, наконец, общему примирению. История с Жучкой играет тут, как и влияние Алеши Карамазова, ключевую роль. Ильюша, в момент появления Жучки у себя в постельке, прячет свое лицо в шерсти собаки и плачет. Наступает и примирение со всеми и печаль: он знает, что скоро умрет. Мысль ребенка возвращается к животным, и к тем, кто остается жить. Ильюша просит, чтоб его отец, его друг-Коля и Жучка-Перезвон приходили к нему вечером на могилку: «А я буду вас ждать... Папа, папа!... Папочка, когда засыпят мою могилку, покроши на ней корочку хлебца, чтоб воробушки прилетали, я услышу, что они прилетели, и мне весело будет, что я не один лежу». Так и поступил несчастный отец после погребения своего мальчика, накрошил хлебца, приговаривая: «Вот и прилетайте, птички, вот и прилетайте воробушки!...»

Птицы, птички, «которых нет ничего лучше на свете», играют роль светлых, воздушно-легких, быстрыкрылых и пе-

вучих гостей на Земле. Их поминает в новообретенном раю герой «Сна смешного человека», о них говорит брат Зосимы Маркел. Он просит и у птичек прощения перед смертью. В «Идиоте» Мышкин, в Швейцарии так полюбивший осликов, они его словно к сознанию вернули, говорит о детях. Он сравнивает их с птичками. Науськиваемые взрослыми, они преследовали бедную отверженную Мари. Потом их помирил Мышкин и когда Мари смертельно разболелась, дети стали ее посещать: «Они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро: *pous t'aimons, Marie*». В «Подростке» Макар Долгоруков говорит с умилением о красоте летней ночи, о реке, о лесе, о птичках и их голосах.

Кроме реальных птиц всякого рода, соловьев, чижигов, тетеревов, орлов, галок и т. п., в творчестве Достоевского значительна и сторона символики связанной с птицей. Ну, хотя бы такой, как в словах адвоката Фетюковича о Мите Карамазове (насмешливо): «При таких обстоятельствах я сейчас же кровожаден и зорок, как кавказский орел, а в следующую минуту слеп и робок, как ничтожный крот». К этому отделу я прежде всего отношу и птиц из литературы. Это «птицы небесные» Евангелия, беззаботные, питаемые Творцом («Бедные люди», «Маленький герой» и др.); это птицы, которых из глины лепил и одушевлял юный Христос, что отразилось в «Записках из мертвого дома», Двуглавый орел и т. д. К «литературным птицам» отношу у Д. и ряд страниц превосходно переведенных (кем?) из латинской книги пророчеств Иоанна Лихтенбергского изд. 1528 г. Очень сокращая, приведу лишь две выдержки. «Восстанет орел великий на Востоке... и любовь милосердия воспламенит Бог орла восточного». Достоевский толкует Восточного Орла, как Россию и ее войну за славянство («Дн. пис.», за 1877 г.). Орел «летит на трудное, крылами двумя сверкая» и т. д. Образ могучего орла тронул воображение Д. еще много ранее, как символ России. Полет орла вспоминает он и при мысли о русско-турецкой войне 1877-78 гг. Так мы подошли к проблеме животного символа.



4) В отделе символики, конечно, прежде всего следует упомянуть басни. Думая о народе и интеллигенции, о «трут-

нях», оторвавшихся от «почвы», Достоевский цитирует полностью басню Крылова о неблагодарной свинье под дубом. Нравоучение же, как для него неподходящее, опускает. Еще интересней, приведенная им в «Гражданине» и перепечатанная в «Дн. пис.», восточная басня о дуэли свиньи со львом. Д. просто тут хочет разделаться со своими грубыми оппонентами. Суть басни такова: Свинья из-за спора со львом решила вызвать его на поединок. Вскоре, поразмыслив, испугалась и решила отказаться. Однако, в свином стаде ей посоветовали вывалиться перед поединком в грязной яме. Свинья так и поступила. На поединок «лев пришел, понюхал, поморщился и пошел прочь. Долго еще потом свинья хвалилась, что лев струсил и убежал с поля битвы... Вот басня». Далее Достоевский лукаво добавляет: «Конечно, львов у нас нет, — не по климату, да и слишком величественно».

Затем Д. превращает льва в просто порядочного человека. В рассуждениях о слове «свинья» Д. употребляет и ныне почти исчезнувший термин классической филологии *апологи-басни*. Но самой острой сатирой — басней нашего писателя является «Крокодил или пассаж в пассаже». Крокодил из зверинца проглотил политического деятеля-экономиста. Однако, в утробе чудовища ему неплохо. Давно, еще в Праге, в О-ве имени Достоевского, а позднее и печатно я указывал, что крокодил есть аллегория на тюремное заключение и идеи Н. Г. Чернышевского. Позднее это с несомненностью было обнаружено и в СССР. Правда, Достоевский в «Дневнике писателя» пытался «опровергнуть клевету». Ему было несколько неловко, как бывшему политическому заключенному и ссылке, открыть забрало. Были и другие причины. В сатире же очень характерны изречения из утробы крокодила, живого, гордого и невредимого Ивана Матвеича. Тут намек следует за намеком: «как с благоговением слушали несчастного узника», но он чувствует себя в крокодиле весьма комфортабельно. Тут и «экономический принцип в действии», отрицание «сладких мямлей», изобретение «рая для всего человечества» и «опровергну всё и буду новый Фурье». Супруга героя — «Милая Нелепость» — по характеру так напоминает Ольгу Сократовну — жену Чернышевского. Сам крокодил описан, «как огромнейший, лежавший, как бревно, совершенно без движения». Иван Матвеевич советует сотрудникам слушать

его изречения из утробы крокодила и ими руководиться, а жене «быть покойной и не отказывать себе в развлечениях». Упомянуты и лекции Лаврова.

Особое место могли бы занять и животные из св. Писания. На их значение указывает и сам Достоевский. В самом конце романа «Бесы» Софья Матвеевна читает умирающему Степану Трофимовичу Верховенскому о свиньях (от Луки, гл. VIII, 32-37), тут Достоевский делает авторскую ремарку: «Место, которое я выставил эпиграфом к моей хронике». По слову Спасителя бесы вошли в свиней, а бесноватый исцелился, т. е. Россия исцелилась от скверны революционеров. Кириллов в том же романе толкует о «преображении всякой твари и всякого зверя из книги Апокалипсиса». С «Преступления и наказания» образы из Откровения Иоанна Богослова тревожат воображение Достоевского и его героев. Особенно это видно в «Идиоте» и «Бесах». Но рассуждения о «Звере», о тайне, о Вороном коне и о Бледном коне и т. п., требуют для себя особой статьи.

Аллегорий же у Д. очень много и в реальном мире животных. Таков, напр., еж — подарок Аглаи князю Мышкину для примирения с ним. Она-де кололась, как еж, теперь же просит прощения у князя. Еще более полна символики роль гадов, насекомых и членистоногих в романах и рассказах писателя. Насекомое — гад есть символ Зла, злобы, сладострастия и садизма. Я полагаю, что впервые яркий образ насекомого-гада явился у Д. в «Записках из мертвого дома». Таков прежде всего убийца детей, татарин Газин: «Мне иногда представлялось, что я вижу перед собою огромного, исполинского паука, с человека величиною... Он любил прежде резать маленьких детей, единственно из удовольствия».

Интересен и вопль Грушеньки на суде над Митей Карамазовым, после злой выходки Катерины Ивановны: «Погубила тебя твоя змея!» Свидригайлов в «Преступлении и наказании», думая о жзнии после смерти, замечает: «Будет там одна комната, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность». В «Идиоте» на Мари после ее падения все «смотрели с презрением таким, как на паука какого». Лиза говорит в отчаянии Николаю Ставрогину в «Бесах»: «Заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь

будем на него глядеть и бояться». Революционеры «чувствовали, что вдруг как мухи попали в паутину (П. Верховенского) к огромному пауку. Злились, но тряслись от страха». В «Подростке» Аркадий говорит о себе: «Во мне была душа паука». Дмитрий Карамазов то цитирует Ф. Шиллера — «Насекомым сладострастье...» и сравнивает себя с ними, то называет сам себя «одно смрадное насекомое». В другом месте — «Я клоп... и вот от меня, клопа и подлеца, она вся зависит... Мысль фаланги до такой степени захватила мне сердце... поступить как клопу, как злому тарантулу». Иван Карамазов думает и говорит о возможном убийстве отца Митей: «Один гад съест другую гадину». Таких сравнений очень много.

Даже в «Дневнике писателя» в чисто политических статьях, насекомое-гад встречается в своеобразных комплексах повторов образа столь обычного у Достоевского. «Громадный муравейник — древняя Римская Империя... но муравейник не закончился, он был подкопан Церковью». В Европе-де желали в 1876 г., «чтоб балканских славян передавили всех, как гадов, как клопов» турки. Через строчку — опять о том же: Европейцы считают славян «именно за гадов и клопов». Трижды и премьер Англии лорд Биконсфильд сравнивается с пауком и тарантулом; раз и с «мохнатой бестией». «Паук, паук... ужасно похож... Тарантул (Биконсфильд) очень возрадуется». Одна главка в «Дн. пис.» под влиянием «Дон-Кихота» названа «Слизняки принимаемые за людей». Это отклик рассуждений Гидальго о том, что армии истребляемые мечом Амадиса Гальского не могли быть обычными, «а были более похожи на тела, как, например, у слизняков, червей, пауков».

Самым подробным (ряд страниц) описанием фантастического насекомого может служить Сон Ипполита в романе «Идиот». Проф. И. Лапшин в книге «Эстетика Достоевского», считал, что образ спрута из «Тружеников моря» В. Гюго повлиял на изображение чудовищного насекомого в сне Ипполита. Я с этим не согласен. В данном случае важен факт из времени посещения Италии Достоевским и вся история с «пиккола бестия» описанная в «Дневнике писателя». В сне-исповеди Ипполит описывает «одно ужасное животное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее... Оно нарочно у меня явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна. ...Оно

коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад, длиной вершка в четыре, у головы толщиной в два пальца, к хвосту постепенно тоньше. Все животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца...» С этим насекомым начинает борьбу собака Норма, хотя кажется и она ощущает мистический испуг, «предчувствует, как и я, что в звере заключается что-то роковое и какая-то тайна».

Потом Ипполит говорит о картине Ганса Гольбейна «Труп Христа». В основном его впечатление от картины вполне соответствует тому, что Анна Григорьевна Достоевская рассказывает о своем муже и о силе его впечатления от картины. Ипполит подчеркивает: «Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого зверя». Далее образ глухой, немой природы, не пощадившей жизнь «бесценного существа» (т. е. Христа), чудится Ипполиту в виде «огромного и отвратительного тарантула». — Страх и Зло связаны у Д. и с образом мыши и иногда с мухой. Свидригайлов во сне на себе находит мышь (по суеверию — знак несчастья, беды) и утром кончает самоубийством. Епанчину в «Идиоте» грезится беда: «В воздухе как будто что-то носится, как будто летучая мышь, беда летает, и боюсь, боюсь!» Жужжание мухи увеличивает ужас тишины для Раскольникова после убийства старухи. В страшной сцене конца в «Идиоте», у постели зарезанной Настасьи Филипповны — «вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул».

Часто Достоевский, чтобы усилить и обновить впечатление от образа гада-насекомого, делает сравнения его то со штопором, то с извивающимся червём, то с винтом. Этот назойливо страшный образ действительно проходит красной нитью через все зрелое творчество нашего писателя. У других русских классиков, кажется, нет столь навязчивого и страшного символа.

В заключение мне думается необходимо вернуться еще к одному символу. Это образ России, но уже не в виде двуглавого орла, а переделанной гоголевской тройки из «Мертвых душ». Правда, этот символ создает на суде над Митей Карамазовым некий скептик-прокурор, но образ сам по себе ужасен.

Он потряс меня дважды и особенно после прочтения

статьи Н. Бердяева о Гоголе в сборнике 1919 г. «Де профундис». В самом деле, гоголевские типы не предсказывали ли нам разгул грядущего Зла в России? Действительно ли, у Гоголя это только карикатуры, сатира, насмешка над «пошлой пошлостью жизни» или провидение и пророчество всего грядущего? Интересно отметить, что именно в речи прокурора находим и слова самого Достоевского, когда он ведет речь о переживаниях преступника осужденного на смерть. Прокурор с трепетом вдохновения и страха переделывает лихую тройку Гоголя в роковую тройку. «Роковая тройка наша не-сетя стремглав и, может, к погибели...»

Р. Плетнев

ГОЛЫЙ КОРОЛЬ

За короля за голого
Готов отдать я голову;
Его отвага мне милей
Лукавой выдумки ткачей.

С наивностью парнишкиной,
С улыбкой князя Мышкина,
Совсем он, как Амур, раздет
И беззащитен, как поэт.

Нелепость положения
Через воображение.
Он мой лирический герой,
Но сам я, всё же, не такой.

Р О Д О В О Е

В поместьях нежная хандра
Обломова, Манилова...
Ушла блаженная пора
Всего, для сердца милого.

Теперь какие-то они
Неведомого племени,
Как стадо гонят трудодни,
Перед закатом времени.

Всё безымянно и темно,
Кругом местоимения.
В колодец каменный окно
У нас, вместо имения.

Глеб Глинка

ЭМПИРИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ФОРТЕПИАННАЯ ПЕДАГОГИКА

Когда появились первые клавиикорд и клавесин, и в самый ранний период их существования (начало XVI столетия) на них играли музыканты, уже ранее овладевшие искусством игры на каком-либо другом инструменте. Это были музыкально развитые исполнители, которым нужно было свое техническое умение только «приспособить к топографии» новых инструментов. С того же времени ведет свое начало и клавирная*) педагогика и можно предполагать, что уже в этот первый период делались попытки найти наиболее успешный способ преподавания, т.е. попытки создать некую методологию.

Конечно, эти первые шаги могли быть только чисто эмпирическими: научные достижения того времени не давали возможности объективно обосновать и доказать правильность разрешения тех или иных проблем в области технического овладения инструментом. Личный успех педагога, как исполнителя, и впоследствии успех его учеников, являлся достаточно веским доказательством правильности его способа преподавания.

Начали появляться многочисленные работы, посвященные изложению правил игры на клавишных инструментах. В этих работах освещались чисто музыкальные вопросы: правила исполнения так называемого цифрованного баса (сокращенный способ обозначения аккомпанирующих аккордов только басовой нотой с соответствующими цифрами), расшифровка мелизмов (специальных знаков, с помощью которых записывались украшения — разнообразные короткие мелодические

*) Клавир — до конца XVIII века общее наименование для всех клавишных музыкальных инструментов: органа, клавиикорда, клавесина, позже — и фортепиано.

фигуры), вопросы структуры, полифонии, гармонии, и т.п. В то же время чисто техническим проблемам отводилось очень мало места или они и вовсе не обсуждались.

Картина резко изменилась с появлением фортепиано, которое постепенно, в течение последней четверти XVIII века, заменило клавесин и клавикорд. Наиболее яркий пример этой перемены, сдвига интереса с музыкальных элементов на технику мы находим в «КЛАВИРНОЙ ШКОЛЕ» Георга Лёлейна, впервые опубликованной в 1765 году. В этом издании дискутировались исключительно музыкальные проблемы. В 1804 году вышло шестое издание этой книги под редакцией Августа Мюллера. Хотя теоретическая часть была оставлена почти без перемен, редактор добавил массу технических упражнений. Теперь такие упражнения, снабженные подробными обсуждениями связанных с техническим развитием проблем, сделались уже главной существенной частью всякой книги, посвященной вопросам фортепианной игры и преподавания. Конечно, ни о какой научной объективности излагаемых в этих книгах правил и советов не могло быть и речи. Всё было основано на личном опыте преподавателя, автора книги, на его догадках, и, по всей видимости, на логических выводах. Фортепианная педагогика еще долго оставалась чисто эмпирической.

Немецкий физиолог Иоганн Мюллер был, очевидно, первым ученым, который в 1837 году попытался изучить и понять процесс усовершенствования движений, производимых человеком. Движений вообще, но движения пианиста за инструментом являются только частью, хотя наиболее сложной и тонкой, нашей обширной моторной деятельности. Мюллер пришел к заключению, что в процессе упражнения целенаправленное движение усовершенствуется за счет исключения всех лишних, побочных движений, которые обычно примешиваются к двигательному процессу в его начальной стадии. Конечно, это было недостаточным объяснением, но фортепианная педагогика или не обратила и на него никакого внимания, или, поняв его неправильно, сделала и неправильные выводы.

Казалась вполне естественной необходимость концентрации основного внимания на работе пальцев: выровнять их силу путем развития мускулатуры, увеличить быстроту дви-

жения каждого отдельного пальца. Даже любому непосвященному, специально с вопросом незнакому, представляется совершенно логически ясным положение, что чем быстрее может двигаться каждый отдельный палец, тем быстрее пианист может играть на рояле. В дальнейшем мы увидим, что это совсем не так просто.

Считалось, что для достижения наилучших результатов пальцы должны быть изолированы от «вредного влияния» верхних частей руки. Последняя должна быть неподвижной, в то время как пальцы следует поднимать «как можно выше» и ударять ими «как можно громче». Предполагалось, что таким способом упражнения достигается и развитие мускулатуры, необходимое для придания беглости пальцам. Фиксация руки и передача всей работы относительно слабым мышцам пальцев очень часто вели к их перенапряжению и к серьезным «профессиональным заболеваниям» рук. Было забыто, что еще в середине XVIII века ясный ум Карла Филиппа Эмануила Баха понимал, что невозможно достигнуть изоляции пальцев и что вся рука неизбежно принимает участие в игре. И тем большее участие, чем громче мы играем.

Основным упражнением было следующее: каждый палец поочередно поднимается высоко и по много раз ударяет одну и ту же клавишу, в то время как другие пальцы держат четыре клавиши нажатыми. Упражнение это было придумано еще Жаном Филиппом Рамо (для клавесина) и позднее Муцио Клементи применил его в работе на фортепиано. Это вредное упражнение, лишаящее игровой аппарат возможности выработки необходимой точной регулировки веса руки и прилагаемой энергии, особо вредное для слуха ученика, привыкающего к грязному звучанию, к сожалению все еще иногда применяется в фортепианной педагогике и по сей день.

В 1881 году известный немецкий физиолог Эмиль Дюбуа-Реймон сделал доклад, произведший сенсацию. Это была ставшая знаменитой его речь «Об упражнении». Он не только разъяснил механизм движения вообще и процесс развития двигательной ловкости с помощью упражнений, но и коснулся непосредственно вопросов, связанных с фортепианной техникой. Эта техника не в руке и пальцах пианиста, а в его центральной нервной системе, и состоит она из тонкого восприятия зрительных и слуховых стимулов, из беспрепятствен-

ной и чрезвычайно быстрой передачи двигательных импульсов из центра — кора головного мозга — к периферии — рука, пальцы, — и из способности к исключительно тонкой градации этих импульсов во времени и в степени энергии.

Если бы на эту речь было обращено должное внимание и из нее сделаны соответствующие выводы, фортепианная педагогика пошла бы совершенно иным путем. Но, к сожалению, преподаватели музыки в своей массе оставались слепы и глухи, как и несколько позже, когда в начале XX столетия были посмертно опубликованы результаты экспериментов немецкого педагога Оскара Райфа и вышла весьма примечательная книга доктора (музыканта-любителя) Фридриха Штейнгаузена «Физиологические ошибки и реконструкция фортепианной техники». (*Die physiologische Fehler und Umgestaltung der Klaviertechnik*)

Опыты Райфа доказали ошибочность мнения, что пианисты-виртуозы обладают исключительной подвижностью каждого отдельного пальца. В среднем любой человек может произвести 5-6 движений в секунду вторым и третьим пальцем, и 4-5 движений в секунду каждым из других трех пальцев. В то время как некоторые, никогда даже не игравшие на рояле, могут произвести одним пальцем до 7 движений в секунду, многие хорошие пианисты способны сделать только 5 движений. Это покажется неожиданным тому, кто переоценивает работу каждого отдельного пальца в фортепианной игре. Во всей фортепианной литературе нет ни одного произведения, в котором перед пальцами пианиста ставились бы требования подвижности более высокой нежели врожденная. Только в исполнении трели пианист достигает предела этой подвижности. Райф указывает на ряд виртуозных пьес, исполняемых современными ему пианистами, и высчитывает, что никогда отдельный палец не производит больше четырех движений в секунду. Простейший пример — до мажорная гамма, исполненная в две октавы, т.е. 15 нот, в течение одной секунды. Такой темп воспринимается нами как предельно быстрый, но при этом 1-ый, 2-ой и 3-ий пальцы делают по 4 движения, 4-ый — два и 5-ый только одно движение.

Но самым интересным является то, что наш слух не способен воспринять более быстрое чередование звуков нежели 15 в секунду. И это только при простейшей последователь-

ности, как например — трель, гамма, и т.п. Если последовательность звуков является более сложной, запутанной, то наша способность восприятия понижается иногда до 6 звуков в секунду. Отсюда очевиден вывод: предел естественной подвижности наших пальцев совпадает с пределом нашего слухового восприятия. Хотя последний может быть повышен в результате музыкального опыта, внимательного слушания музыки, это повышение все же чрезвычайно незначительно.

Поэтому не имеет никакого смысла стараться увеличить врожденную подвижность каждого отдельного пальца. Проблема фортепианной техники лежит в другом — в *своевременности* движений пальцев. Райф повторил тезис Дюбуа-Реймона, что регулировка этой своевременности является результатом работы центральной нервной системы; утверждал необходимость зрительной, слуховой и моторной координации; и писал, что надо развивать не быстроту пальцев, а быстроту мышления. Она развивается, конечно, путем специальных приемов и правильного упражнения на фортепиано.

Выводы Райфа были подтверждены как некоторыми фортепианными педагогами (Мари Джаэль, позднее — Петер Рамуль), так и учеными (О. Абрахам, К. Шефер, Э. Иэнч).

В это же самое время Штейнгаузен писал, что наши движения исходят из центральной нервной системы, где двигательный опыт накапливается и перерабатывается, и где происходит приспособление моторной деятельности к определенной цели. Упражнение является психическим процессом. Поэтому в отрыве от музыки оно бессмысленно. Мускулатура наших пальцев и руки является от природы достаточно сильной для фортепианной игры. Она естественно развивается в процессе занятий, без того, чтобы мы обращали на это специальное внимание, и это развитие сказывается только в большей выносливости. Минимальное изменение в клетках коры головного мозга представляется гораздо более важным нежели максимальное развитие мышц.

Но в последние годы XIX столетия фортепианная педагогика увлеклась совсем другим, а именно анатомией и физиологией костно-мышечного аппарата руки. Казалось, что старое эмпирическое направление было заменено научным. Появилась масса книг, в которых мы видим фотографии рук знаменитых пианистов, чертежи костяка, мышц, связок руки. Как

будто все это может сколько-нибудь помочь учащемуся! От последнего требовалось основательное знание анатомии руки и работы мышц, которые должны быть совершенно расслабленными для успешного развития техники.

Хотя возможность контролировать работу мышц, в особенности мелких мышц кисти и пальцев, могла бы иметь большое значение в развитии фортепианной техники, к сожалению еще и в наши дни наука знает очень мало о работе мускулатуры. Доктор Ссент-Гиоргий, лауреат Нобелевской Премии, директор Института по Исследованию Работы Мышц, пишет (1958): «Работа мышц все еще является загадкой. Как правило, новые открытия ведут к обогащению нашего знания предмета. В этом вопросе происходит как раз обратное и можно подозревать, что наши основные концепции ошибочны».

Итак, оказалось, что «физиология мышц» была не той наукой, к которой должна была бы обратиться фортепианная педагогика. Для того, чтобы избежать перенапряжения мышц в процессе игры на фортепиано знание анатомии вовсе не необходимо. Направление, названное в истории пианизма «анатомо-физиологическим» не открыло новых горизонтов. Так называемая «весовая» игра всей рукой при пассивных пальцах, излишнее расслабление мышц, и пр. сказались губительно на нескольких поколениях пианистов: это направление было в большой моде до двадцатых годов нашего столетия.

Современная фортепианная техника представляет из себя координацию работы всех частей руки, от плечевого пояса до кончиков пальцев. Степень участия каждой из этих частей — плечо, предплечье, кисть, пальцы — определяется художественно-техническими задачами каждого данного момента.

Еще значительно раньше возникновения анатомо-физиологического направления раздавались голоса музыкантов, которые говорили о психологии фортепианной техники. Это были Игнац Мошелес, Теодор Лешетицкий, Николай Рубинштейн, и некоторые другие, включая Франца Листа. Но все эти разговоры были расплывчаты, туманны и запутаны. Когда Лист произнес свою знаменитую фразу: «Творите свою технику из духа, не из механики», вряд ли кто-либо, включая и самого Листа, понимал глубокий смысл, в ней заключенный. Позже идеи Ферруччио Бузони приняли более конкретные формы и нашли практическое применение. Он говорил, что

«техника находится в мозгу и состоит из геометрии — определения расстояний — и мудрой координации», что *понимание* проблемы гораздо важнее нежели многочасовые упражнения. Все же все это имело скорее эмпирическое чем научное основание.

Идеи, построенные на предпосылках психологии, которые не смогли сделаться настоящей наукой, всегда остаются в сфере спекуляций. Эти идеи должны быть перенесены в область физиологии центральной нервной системы и только тогда, получив научное объяснение, они могут быть правильно поняты.

В течение последних десятилетий наиболее вдумчивые пианисты и педагоги начали обращать внимание на вопросы связанные с работой центральной нервной системы. Мы видим эти тенденции в книге Hans'a Schneider'a "The Working of the Mind in Piano Teaching and Playing" (1923).^{*} Автор пишет, поскольку «все наши физические действия зависят от работы центральной нервной системы хотя бы рудиментарное знание физиологии этой системы является совершенно необходимым». Но и в этой книге, как в немногих других, мы все еще находим только общие туманные и часто наивные рассуждения.

В конце двадцатых годов русский теоретик пианизма Григорий Прокофьев издал книгу «Игра на фортепиано». Одна глава этой книги была посвящена обсуждению функции центральной нервной системы. Хотя здесь вопрос обсуждался несколько основательнее нежели раньше, но все же очень кратко и были допущены некоторые ошибочные утверждения.

Но что же можно было ожидать? Только в начале двадцатого столетия начала развиваться новая наука, учение академика Ивана Петровича Павлова об условных рефлексах. Эта наука является физиологией высших отделов центральной нервной системы, главным образом — коры головного мозга.

В тридцатых годах в России появилось несколько серьезных статей, в которых делалась первая попытка применения научных достижений в области моторной деятельности человека к работе пианиста за инструментом. Автор этих статей — С. Клещев, ученик Павлова — показал в совершенно новом

^{*}) «Умственная работа в фортепианной игре и преподавании».

свете сложные проблемы развития и усовершенствования пианистической техники. Но в то время на эти работы почти не было обращено внимания. За последние двадцать лет авторы некоторых русских книг по вопросам фортепианной игры и педагогики утверждают, что развитие фортепианной техники должно базироваться на законах работы центральной нервной системы и высказывают сожаление, что работа, начатая Клещевым (погибшим во время войны) не продолжается.

Хотя физиология центральной нервной системы является наукой еще молодой, но в настоящее время мы уже имеем достаточно данных для того, чтобы пересмотреть многие наши прежние представления о моторной деятельности человека, о развитии фортепианной техники в процессе работы пианиста за инструментом.

Известно, что все двигательные импульсы исходят из центра — коры головного мозга — откуда они передаются на периферию — игровой аппарат, но мы знаем теперь и то, что наша моторная деятельность влияет на соответствующие клетки двигательной области коры, может «учить» их, изменять их функцию, как бы оставляя на них некий «отпечаток». Дело в том, что двигательная область коры является проекцией нашего моторного аппарата, куда передаются все ощущения от работы последнего. Это так называемые проприоцептивные ощущения. Подкрепленные тактильными ощущениями они и являются тем материалом, из которого создается фортепианная техника. Поэтому так важно при упражнении и необходимом медленном проигрывании репертуара как бы «вслушиваться» в ощущения возникающие в пальцах и руке.

Кроме медленной игры существуют и разные другие специальные способы упражнений для «отшлифовки» и укрепления проприоцептивных ощущений. При медленной игре пальцы надо поднимать, но никогда не выше тыльной поверхности ладони: более высокий подъем вызывает излишнее и опасное напряжение во всей кисти. Громкая игра неизбежно вовлекает в работу мышцы верхних частей руки. Проприоцептивные ощущения от работы этих больших мышц «затемняют» более тонкие ощущения от работы пальцевых мышц, потому упражняться надо преимущественно тихо: развитие пальцев, не в смысле их силы и быстроты движения, как думали раньше, а в смысле беспрепятственной передачи им волевых двигательных

импульсов, является основной задачей ученика и педагога, требующей особой концентрации внимания и, конечно, длительной работы.

Старая, так называемая пальцевая, школа правильно, хотя бессознательно, давала учащемуся богатый проприоцептивный материал, активизируя работу пальцев. Но указанием поднимать их слишком высоко и ударять ими слишком громко она понижала, или вовсе снимала, эффективность работы, что ясно из моих предыдущих указаний.

Когда мы упражняемся медленно и разными способами (артикуляционные, ритмо-метрические и прочие варианты музыкального текста) то в результате упражнения изменения происходят не в пальцах и руке, а в коре головного мозга. Когда Лешетицкий советовал как средство против «забалтывания» пальцев упражняться медленно, *сознательно* высоко поднимая пальцы (но не слишком высоко! см. выше) он давал совершенно правильное указание, но ни он, никто другой тогда не понимали, не могли понимать, что происходит, почему подобный способ упражнения помогает. Современные ученые говорят об изменениях в мозговых функциях в результате тренировки периферийных органов.

Я считаю, что изучение законов работы центральной нервной системы, от которой зависит наша моторная деятельность, не только крайне интересно и важно, но и совершенно необходимо для каждого музыканта-педагога, стоящего на высоте современных требований. Знание этих законов проливает новый свет на неясные, ранее неверно понимавшиеся процессы, лежащие в основе технического развития пианиста, и помогает ему найти правильные разрешения разнообразных проблем, возникающих перед ним в его ежедневной работе.

Заканчивая этот очерк я должен остановиться на одном недоразумении. Некоторые читатели моей книги “The Art of Piano Playing — a Scientific Approach” (1967)* предположили, что принципы, изложенные в этой книге, неприложимы к начинающим обучаться игре на рояле.

Интеллигентность, умственная зрелость человека и работа его центральной нервной системы являются двумя совершенно различными вещами. Решающим элементом в техни-

*) «Искусство фортепианной игры — научный подход».

ческом развитии учащегося являются подвижность его нервных процессов и идеальный баланс между ними. Интеллигентность играет очень важную роль в организации работы, в процессе успешного упражнения. Но какой либо дефект в функциях центральной нервной системы будет неизбежно ограничивать достижения учащегося. Хотя многое можно исправить и многие недостатки можно преодолеть путем правильной работы: не надо забывать, что наша центральная нервная система способна почти к неограниченному совершенствованию. С другой стороны, учащийся, не обладающий высокой интеллигентностью, но центральная нервная система которого функционирует безупречно, достигнет виртуозности при сравнительно меньшей затрате энергии и времени. «В наиболее сложной моторной деятельности сознание играет весьма ограниченную роль» (Homer Smith. From Fish to Philosopher).

Георгий Кочевецкий

ВОСПОМИНАНЬЕ

Закрыв глаза, сквозь жизни вьюгу,
Я вижу степь перед собой —
Поля, запаханные плугом,
Чернеют паюсной икрой.
И озимь бархатом зеленым
Сменяет белый шелк снегов.
И шум стоит неугомонный —
Бегущих в балки ручейков.
Там ветряки простор крестили
Медлительным вращеньем крыл,
Орлы степные сторожили
Курганы древние могил.
Там солнца — первая ресница —
Еще не трогая полей,
На купола церквей ложится,
И на вершины тополей.
А месяц где яснее, чище
Чем над украинским селом?
Едва зашевелиятся листья,
Он их обвеет серебром,
И вспыхивает сад вишнёвый,
И вспыхивают тополя,
Как сети, полные улова,
Трепещут южные поля.
Светились стены белых хаток
При месяце издавека,
Вот так в траве зеленовато
Сияет фосфор светляка.
Покинув сумерки, украдкой,
Ты робко вышла из сеней.
И словно ртуть течет по складкам

Рубахи вышитой твоей.
Твое лицо, в платке из ситца,
Прозрачно словно бирюза —
И месяц, серебра ресницы,
Обводит тенями глаза.
Преувеличенные тенью,
Они таинственно горят.
И соловьи, в самозабвеньи —
Сияньем наполняют сад.
И тень твоя перебежала —
Подсолнухи, вербу, плетень.
И где-то ты кого-то ждала —
Вся нереальная, как тень.
И украшал, высокий месяц —
Свидание в саду ночном.
Ты знала много чудных песен
Об этом месяце родном.
Его Шевченко часто славил.
Не мог и Пушкин превозмочь
Очарованья... и в «Полтаве»
Воспел украинскую ночь.
Простор, свобода и безбрежность,
Как память первая любви,
Последнюю находит нежность
В моей украинской крови.
Там все давно переменилось,
Но память — вечности сестра.
И нет минувшему могилы —
Сегодня — это сон: вчера.

А. Величковский

ПАДЕНИЕ РОСТОВА*

26

Поток отступавших армий захлестывал все дороги. Город был переполнен войсками. Ждать дальше было нельзя; я боялся, что при начале общей эвакуации, выехать будет невозможно. В первую очередь, я решил отправить маму и Иру. Если с Ростовом будет плохо — мы условились встретиться в Запорожье, за Днестром. При помощи капитана Ш., мне удалось устроить наших женщин на грузовую машину, в которой эвакуировалась семья одного из моих лучших друзей. На них я мог положиться и не беспокоиться ни за маму, ни за жену. Машина была небольшая, с закрытым верхом, но можно было захватить кое-что и из вещей.

Сборы были спешные — и как бывает всегда в таких случаях — было взято много не нужного, а ценные вещи, на которые можно было жить, остались дома. Это было естественно: в глубине души была уверенность, что отъезд временный и ненадолго.

В нашей квартире царил беспорядок: шкафы были открыты, ящики столов выдвинуты, простыни и одеяла с кроватей сорваны. На пианино остались часы — мой подарок жене, в день нашей свадьбы. Грустно было смотреть на развороченные комнаты, где мы прожили много лет, деля в них и горе и радость; на вещи, валявшиеся на полу, каждая из которых была связана с нашей жизнью.

— Ира, не забудь мой зонтик, — сказала мама, запихивая в сумку сверток марли, которую мы, обычно, употребляли для приготовления сырной пасхи.

На улице стоял грузовик с нашими друзьями, они сидели с озябшими лицами, нетерпеливо поджидая нас. Я помог влезть маме и Ире, передал наши тюки, завернутые в одеяла — че-

* См. кн. 105 «Н. Ж.»

моданов у нас не было. Надо было спешить: смеркалось, дорога предстояла длинная, погода портилась и снег падал крупными хлопьями.

Я влез в машину, чтобы попрощаться. Поцеловав Иру, я почувствовал, что лицо ее мокро от слез, а тело сотрясается от мелкой дрожи. Я сжал ее руку и прошептал: «Ну, будет, довольно, ведь не навсегда-же расстаемся...» Перецеловав всех я спрыгнул в снег.

Лица отъезжавших были печальны, улыбки кривые, натянутые.

— С Богом! — крикнул я, когда машина тронулась.

Я стоял и молча смотрел на удалявшуюся машину, пока она не скрылась за поворотом. С тяжелым сердцем вернулся я в пустую квартиру. Еще одна страница моей жизни перевернулась.

27

Начались массовые налеты советских самолетов. Откуда они взялись, если армия их была разгромлена, а города и заводы снесены с лица земли? Сегодня целая стая налетела на город, сбросила в разных местах бомбы, не причинившие, правда, большого вреда. Один самолет был сбит немецкими зенитками и упал, как раненая птица, где-то за Доном.

Улицы, засыпанные серовато-желтым снегом, были изрезаны глубокими полосами от проходивших машин. По этому рыхлому месиву, с трудом шагали оборванные люди — мужчины, женщины и дети, мобилизованные на оборонные работы. Они были одеты почти что в лохмотья, проваливались по колено в снег. Охранялись немецким конвоем.

На одной из улиц я встретил моего старого знакомого, работавшего в немецком хозяйственном управлении. Он огляделся по сторонам, как будто за ним следили, и убедившись, что никого нет, тихо сказал:

— Вы знаете Нину К.? Ее вчера расстреляли!

У меня мелькнула мысль, а что-же с ее детьми?

В нашем доме жить стало опасно. Бывали ночные грабежи и нападения на пустые квартиры. Капитан Ш. предложил мне переменить местожительство.

— Возьмите этот ордер, — сказал он, — и займите лю-

бую свободную квартиру в доме, который охраняется нашей полицией.

Я поселился в одной комнате нижнего помещения, громадного пятиэтажного дома, совсем не поврежденного, где когда-то проживали ответственные работники крайкома партии, крайисполкома и управления НКВД. Огромный дом был почти необитаем: постоянные жильцы бежали, а новых было слишком мало. Когда бывали тревоги — все спускались во вместительное бомбоубежище, находившееся в подвальном этаже и имевшее крепкие бетонные стены.

Сидя, как пленник, в незнакомой мне комнате, я тосковал по брошенной квартире, запертой на простой замок, который каждый мог безнаказанно взломать. Казалось, что там осталась часть моего я, вместе с любимыми книгами, нотами, пианино и массой мелочей, составляющих человеческую жизнь.

28

Около всех бургуминистерств толпились люди. Началась выдача эвакуационных листов. Выехать из Ростова было трудно. Железная дорога была перегружена, пассажирских вагонов почти не было, можно было рассчитывать только на товарные или, с риском замерзнуть, на открытые ж.д. платформы. Люди проявляли небывалую предприимчивость — доставали лошадей, запрягали их в сани-розвальни, делали санки, которые можно было тащить собственными силами, наконец, кто был поотважнее — шли пешком.

Однако, какое-то количество людей оставалось. Я интересовался этими «самоубийцами». Одни — преимущественно старые люди — хотели умереть на родной земле, другие боялись оторваться от насиженных мест, третьи, наконец, думали, что снова можно будет обманывать советскую власть — так, как это бывало раньше.

Встретился мне — думаю, это был единичный случай — настоящий фанатик-мститель. Он не служил у немцев, но люто ненавидел советскую власть и был «добровольным оком», выуживающим спрятавшихся коммунистов. В случае обнаружения кого-либо — он сейчас же доносил в Гестапо. И вот такой человек решил оставаться в Ростове. Я спросил его о причине этого.

— Да, я предал многих, — сказал он, — я давно, почти всю жизнь, ждал того момента, когда смогу отомстить тем, кто искалечил мою жизнь и погубил семью. Мне кажется, сейчас — я выполнил свой долг. Мне 79 лет и жизнь мне не нужна. Я знаю, что меня расстреляют, но чем больше я пострадаю, тем легче будет умереть.

При советах люди никогда не говорили о своем прошлом. Сейчас этот запрет был не нужен и многие открыли свои карты. Правда, здесь была и другая крайность — люди «прихорашивали» свое прошлое. Появилось слишком много капиталистов, помещиков, дворян, офицеров, жандармов и даже чинов «охранного отделения». Считалось, что таким путем, легче всего гарантировать себе политическую благонадежность у немцев.

Главной сенсацией последних дней — было бегство начальника личного стола главного Бургоминистерства, в руках которого были личные дела всех служащих, их характеристики, биографии и рекомендации. Мне приходилось видеть этого невзрачного человека, с оттопыренными ушами, бегающими глазами, дегенеративной, сплюсненной головой, в которой, казалось, не могло быть ни одной человеческой мысли. Никакая сила не в состоянии была обнаружить его: ни полиция, ни немецкая жандармерия.

Я не сомневался, что это был коммунистический агент, подсланный для работы у немцев. Он собрал прекрасный материал, чтобы любого оставшегося жителя можно было подвести под расстрел. Немцы были, в ряде случаев, по-детски, наивны.

29

Около месяца тому назад, приехал в Ростов — Сережа С., молодой человек, которого я знал почти что с детских лет. Перед войной он должен был закончить Ростовский Институт Инженеров ж.д. транспорта. Он женился на хорошенькой спортсменке и жил со своей матерью. Отец его погиб еще в начале революции. Сережа любил свою специальность, был беспартийным и работал в одном из многочисленных добровольных обществ в Ростове. Он был увлекающимся мальчиком и единственным недостатком его был не в меру острый язык.

Когда началась война, его мобилизовали в Красную армию и он был зачислен в один из полков, стоявших на Кавказе, в

городе Нальчике. Его воинская часть целиком сдалась в плен, не желая защищать ни советскую родину, ни Сталина. Сережа — как из огня, да в полымя — попал в отдел пропаганды той немецкой армии, против которой должен был раньше сражаться. Сейчас его часть находилась в Ростове. Судьба дала ему счастливую возможность встретиться с молодой женой и по-видать мать.

Подробности его неожиданного ареста были мне мало известны. Говорили, что в одном учреждении, разговаривая по телефону он сказал: «Ну, и весело же стало у нас — советские самолеты начали задавать снова ежедневные концерты!» Бдительная секретарша — были такие дряни! — сидевшая у телефона доложила об этом своему шефу, и Сережа, после бурных объяснений, был арестован и отправлен в Гестапо.

Я узнал все это — от жены и матери Сережи, которые прибежали ко мне с измученными лицами, дрожавшие от страха и потерявшие самообладание.

— Спасите его, ради Бога!

Я считал своим нравственным долгом сделать все, что было в моих силах. Прежде всего я отправился к начальнику воинской части, где служил Сережа. Полковник уже знал об аресте и написал хорошее письмо — он привязался к Сереже и искренне любил его; в письме он ручался за политическую благонадежность своего сотрудника, работавшего с ним несколько месяцев и писавшего, по его словам, прекрасные антикоммунистические статьи.

Дальше, мне пришлось иметь неприятный разговор с немцем, арестовавшим Сережу: он сидел в роскошном кабинете, вел себя высокомерно, не желая слушать моих доводов, и говорил безапелляционным тоном:

— Ваш знакомый делал доклады в партийных комитетах! У меня есть данные, что он коммунист! Вы что, в самом деле, хотите защищать коммунистов!?

Я возражал и говорил, что знаю его давно и могу ручаться, что он никогда не был ни в комсомоле, ни в партии. Моя защита приводила немца в неистовство:

— Довольно, довольно! — говорил он раздраженно, — я не хочу вас слушать. И будьте на будущее время поосторожнее, а то сами угодите туда же.

Я сделал последнюю попытку — поехал в Гестапо. Вокруг здания стояла вооруженная охрана и надо было проделать массу формальностей, прежде чем попасть туда. Наконец, я очутился в кабинете следователя по особо важным политическим делам: начальника Гестапо почти никогда не было в учреждении. У следователя было отталкивающее лицо, похожее на коровье вымя. Сам он был толст, краснощек, с выпуклыми, налитыми кровью глазами.

Я рассказал ему о деле Сережи и прибавил, что могу за него поручиться. Следователь недоверчиво слушал меня, по лицу его было видно, что он не верил ни одному моему слову.

— А вы можете написать на бумаге все то, что вы сказали и заверить своею подписью?

— Конечно, — ответил я. И здесь же был составлен документ, который я подписал.

— Невинных людей мы не арестовываем! — важно сказал следователь. У меня мелькнула мысль, что то же говорили мне, когда-то и в НКВД.

— У меня, — продолжал следователь, — имеются показания очень и очень ответственного лица, которые прямо противоположны вашим!

30

Зима стояла суровая и температура по ночам падала до 30 градусов ниже нуля. Старожилы не могли припомнить, когда бывали такие морозы. Через город, круглые сутки проходила, поспешно отступавшая со стороны Кавказа, немецкая армия. Голодное население начало грабить остатки продуктов, которые кое-где были на складах. Советы бомбили Ростов и днем и ночью: город горел и тушить пожары не было возможности — немцы в этом не были заинтересованы, они знали, что их часы сочтены. Ходили невероятные слухи о капитуляции под Сталинградом и разгроме немецкой армии на всех фронтах.

Дело Сережи отняло у меня несколько дней. Я не был давно на своей работе. Мне нужно было выяснить, что делать дальше.

В комендатуре был страшный хаос — все было перевернуто, бумаги валялись на полу, шкафы были открыты. Видно было, что это не эвакуация, а просто бегство.

Генерал К. встретил меня сурово:

— Вы все еще в Ростове? Немедленно уезжайте! Хотите попасть в руки большевиков?!

Мне пришлось просидеть здесь почти до вечера, пока мои документы были оформлены, жалование выдано, пока капитан Ш. договорился о машине, на которой я мог бы выехать. Меня уволили и дали «марш-бефель» — командировочное удостоверение для следования от Ростова до Запорожья. Выезд был назначен на завтра к 6-ти часам утра.

Трудно было дойти до моего дома — налетели самолеты и начали сбрасывать бомбы в разные части города. Проходя около разрушенного дома, я услышал как кто-то плакал. Я вошел во двор и остановился: передо мною лежал бесформенный обрубок в луже крови. По переднику и юбке можно было узнать, что это тело женщины: голова, руки и одна нога были оторваны и из еще свежих ран, оголенных, как в мясной лавке, сочилась кровь. Около трупы стояла на коленях девочка, лет семи или восьми. Маленькие ручки судорожно вцепились в передник покойной.

— Мама, мама, — причитала она, — на кого ты меня оставила! — Тело ее вздрагивало и тряслось мелкой дрожью.

— У тебя есть — папа, брат, сестра, бабушка?

— Никого нет! — продолжала захлебываться в слезах девочка.

Пришел домой я усталый. Около ручки моей двери была засунута записка. Я догадался, что она была от жены Сережи. В ней стояло несколько слов: «Вчера ночью расстреляли Сережу. Да будут прокляты фашистские изверги!»

31

Я выехал рано утром. В главном Бургоминистерстве были выбиты окна, бумаги летали над улицей и вывеска висела косо: очевидно, кто-то старался ее сбить. Через открытое окно смотрел на нас портрет «Фюрера-Освободителя», с вырванной физиономией.

Дорога была отвратительная и, на наше несчастье, пошел снег. В конце Большого проспекта образовалась «пробка». Сотни немецких машин стояли в три ряда. Мы понимали, что наши хорошие бумаги, подписанные самим генералом К., были сейчас бесполезны.

Мы повернули назад — в город. После долгого путешествия по хорошо знакомым улицам, мы, наконец, съехали по крутому снежному склону, прямо на замерзший Дон. По льду двигались люди, таща за собою санки, груженные вещами. Были счастливы, ехавшие на розвальнях, запряженных колхозными лошадьми: это были труженики земли — вчерашние колхозники — бежавшие из своих деревень. Снег сыпал крупными хлопьями, а замерзшая река открывала нам, по мере движения, свои страшные тайны.

Вот три грузовика, провалившиеся «по грудь» в ледяную пучину. На них столы, кровати, стулья, книги, тюки с разным добром, завернутые в одеяла. Сейчас, все это брошено. Вот замерзшие — «уснувшие» — люди, расположившиеся удобно, как на кроватях, на холодных сугробах снега. На красных, румяных лицах блаженные улыбки: теперь, мол, все страшное позади! И опять — женщина с возком, в котором лежит, закутанный в тряпье, младенец. У матери — из-под платка выглядывают большие, полные страха, глаза и прядь волос, занесенных снегом. Куда она идет, зачем? Доберется ли до ближайшей деревни или замерзнет, как многие другие, вместе со своим ребенком?

Наступила ночь, когда мы выехали на лед Азовского моря. Небо очистилось и мириады звезд, бесконечно отдаленных от нас, лили тихий свет на нашу беспокойную землю. Перед нами расстилалась безбрежная ледяная пустыня и только справа виднелся невысокий кряж, покрытый снегом. Это, конечно, берег!

Позади нас, как огромный факел, горел Ростов. Пламя высоко вздымалось над городом и отблеск его, причудливым рисунком, ложился на темный небосклон. В отдалении была слышна канонада, а со стороны берега доносился тяжелый шум отступавшей немецкой армии.

Наконец наша машина остановилась, застревая в глубоком снегу. До берега еще не меньше трех километров. Ветер не утихает и трудно идти: лицо, руки, одежда покрываются ледяной коркой. Мы переваливаем через крутой снежный гребень. Оглядываемся на брошенную машину, которая, как маленькая, черная точка, еле видна вдали. Перед нами открывается широкий вид на дорогу и деревню, окруженную сотнями машин. Избы набиты немецкими солдатами. Почти отчаяв-

шись, находим место, где нам разрешают простоять, в холодных сенях, до наступления утра.

32

Только в полдень добрались мы до Таганрога. Наша машина осталась далеко в море, брошенная неблагодарными хозяевами на произвол судьбы. У нас не было опасений, что кто-нибудь мог ее похитить.

В городе было спокойно и не чувствовалось приближение неминуемой катастрофы. В Бургоминистерстве работа шла нормально. Наш приезд несказанно удивил всех и многие над нами подсмеивались:

— Что? Испугались и убежали?

Никто не хотел верить, что Ростов был обречен и, что может-быть завтра он будет уже занят советами.

— Подождите, — говорили оптимисты, — пройдут еще два-три дня и немцы снова наведут порядок.

В течение ряда лет, немецкая армия одерживала головокружительные победы и не знала поражений. Миф о ее «непобедимости» еще теплился среди жителей города и, как гипноз, действовал на людей.

Мы должны были прожить в Таганроге около двух суток — надо было спасать машину. В конце-концов, после бесконечных мытарств, мы достали «тягач» и наш маленький «газик» (Горьковский автомобильный завод) благополучно был вытаскен и привезен в город.

Остаться нам не было никакого смысла. Здесь повторялось все то, что мы наблюдали в Ростове.

Я выехал на следующее утро. Хотелось скорее найти своих и там уже решать, что делать дальше?

33

В Запорожье, наконец, я нашел Иру и маму: вид у них был усталый. Переезд их был труден, непривычен, с ночевками на полу в крестьянских избах. Помыться и переодеться было негде: деревни были забиты беженцами. Наши, конечно, интересовались домом: на кого осталась квартира и, главное, когда-же сможем вернуться обратно? Мама все спрашивала про

какие-то серые перчатки, которые она забыла у себя на кровати, кажется, на подушке?

Война чувствовалась мало. По городу ходили трамваи, были открыты театры, кино, рестораны. Но люди казались серыми, унылыми, переставшими улыбаться. Поминутно попадались военные — их было слишком много! Ни о какой эвакуации не было слышно. В Таганроге нас предупредили — не сейте паники!

Найдя семью, я решил двигаться дальше. Ради безопасности надо было переехать Днепр. Куда? Мы выбрали, почти наугад, Никополь — городок провинциальный, расположенный на Днепре и, вероятно, красивый. И в тот же день выехали. Около комендатуры едва не лишились автомобиля. Однако, бумажка, с подписью генерала К., только сейчас назначенного комендантом города Запорожья, спасла положение.

Осторожно переехав через треснувшую и осевшую плотину Днепрогэса, со взорванными турбинами, похожую сейчас на какое-то циклопическое сооружение неведомой доисторической эпохи — мы очутились на другой стороне Днепра и вздохнули свободно.

Мы ехали по простой проселочной дороге, занесенной снегом, прямо на Никополь. Кругом раскинулись безбрежные поля, изредка попадались вымершие колхозы, с погорелыми или покосившимися хатами, с церквями превращенными в склады. Не видно было ни людей, ни скота, как будто какой-то повальный мор опустошил все живое.

Поздно вечером, в пяти-шести километрах от нашей цели, машина стала. Очевидно, в ней что-то испортилось. Оставить автомобиль, как это мы сделали на льду Азовского моря, было нельзя: могли ограбить или утащить его. Чтобы не замерзнуть, наши малодушные спутники решили уйти в город, оставив меня и Иру в качестве сторожей.

Наступила тихая и ясная ночь. Огромная бисерная дуга Млечного Пути горела над нами мерцающим пламенем. Мороз крепчал и мертвой хваткой вцеплялся в лицо, руки и ноги. Мы продрогли и заоченели: неумолимый холод парализовал наши мысли, чувства, желания. Ира страдала еще и от ночных страхов — привидений, грабителей, убийц, партизанов.

Но ничего страшного не случилось. Постепенно гасли звезды, Большая Медведица переворачивалась над нами, поя-

вились облака и горизонт окрасился в розовый цвет. Мороз стихал и начал порошить мелкий снег.

Сейчас мы сидим в крестьянской избе, около раскаленной русской печи. На столе — вареники с творогом и сковородка с жареной картошкой. Едим, под убаюкивающую болтовню нашей хозяйки. Хотя и интересно, но глаза слипаются и хочется спать: все равно где — на завалинке, на скамье или просто на полу.

34

Никополь казался таким городком, в котором нам и хотелось жить. Это была, конечно, глухая провинция. Домики уютные, крошечные, со ставнями на окнах и резными крылечками, с привязями для лошадей, сохранившимися с прошлого столетия, с журавлиными колодцами, с фруктовыми садами, амбарами, собаками, выскакивающими из подворотни и лающими на прохожих, наконец, с пожарной каланчей, с которой было видно голько полгорода. По немощеным улицам, невзирая на зиму, разгуливали коровы, свиньи, куры. Ранним утром кукарекали петухи. Эта идиллическая картина совсем не походила на современный город.

В центре, конечно, были и каменные постройки и несколько пустых магазинов. Здесь-же находились обгорелые развалины бывшего НКВД. Жители поминали их недобрым словом: рассказывали, что перед приходом немцев, все заключенные были сожжены в подвале, где помещались камеры пыток.

Была в городе и маленькая церковь, оскверненная большевиками. Ее привели в порядок: поправили, помыли, покрасили, принесли где-то спрятанные иконы. Она была открыта и люди, с благоговением, входили в нее и молились.

Самой большой достопримечательностью был базар. Он не похож был на ростовский. Здесь продавали сало, масло, яйца, молоко, крупу, хлеб и картошку. В сердце базара находился махорочный ряд, привлекавший массу покупателей. Продавцы услужливо протягивали обрывки газеты для закурки. Здесь можно было накуриться до одурения — и совершенно бесплатно.

Хорош был и Днепр. Великая река омывала город с востока: она была широка, многоводна, с плавнями, рощами и лесами по берегам. Это был надежный заслон против наступаю-

щих большевиков. Днепр действовал на нас успокаивающе — в его стремительном течении исчезали, казалось, и ужасы прошлого, и страх перед будущим.

Мы снимали три комнатухи в простой крестьянской семье. Первая была кухней, вторая маминой комнатой и «гостинной», а третья нашей спальней. Мебели не было — спали на полу. Позже достали детский, низенький столик и несколько стульев.

Жили мы совсем как старосветские помещики: спали, ели, гуляли и, по вечерам, раскладывали — на разные темы — пасьянсы: чем кончится война, будет ли бомбежка, где будем через год и увидим ли когда-нибудь наш родной Петербург, по которому на протяжении долгих лет, неустанно тосковало сердце? На стене, каким-то чудом сохранился репродуктор. Иногда он работал и мы переносились в другой мир, забывая, хоть на время, нашу постылую действительность.

Наш хозяин был раскулачен в начале коллективизации и долгие годы пробыл в ссылке. Когда-то, еще до революции, он был трудолюбивым крестьянином и добился собственными руками некоторого благополучия. Перед самой войной он бежал из Сибири и скрывался в укромных местах своей родной Украины. Ждал прихода немцев и думал, как и тысячи других: переменится власть — хуже не будет. Верил, что снова можно будет жить и работать по-человечески. Сейчас у него была лошадь, корова и большой огород — почти совсем так, как в доброе, старое время.

35

Кажется, что нам не суждено жить спокойно. В городе паника, ходят слухи, что большевики прорвали фронт и форсировали Днепр. Все это подтверждается фактами — по ночам слышна отдаленная канонада, город забит машинами, танками и воинскими частями.

Снова затягиваем тюки, боимся забыть какую-либо мелочь, которая сейчас — осколок незабвенного прошлого, «но как вино... чем старе, тем сильнее». Вещи наш бич: сколько сил, нервов, здоровья мы отдали этому, сомнительной ценности, идолу?

Рано утром я был уже около дома, где стояла наша машина. Двор был пуст. Какая-то невыспавшаяся и полуодетая женщина, крикнула мне из окна:

— Еще ночью уехали!

Вчера я передал своим спутникам бумаги на машину, выданные на мое имя, еще в Ростове. Я не мог заподозрить их в чем-либо нечестном — я привык верить людям. Конечно, это было страшным «анахронизмом» в советских условиях, но у меня это так было.

Положение наше было отчаянным. По железной дороге уехать было нельзя: на станции были вагоны, но не было паровозов. Достать лошадь было немыслимо — да и разве она могла состязаться с танками? Была сделана последняя попытка. Я стучал в двери бывшего клуба, где стояли немецкие офицеры отступающей армии. Был поздний вечер, люди заканчивали свои дела и готовились ко сну. Окна клуба были освещены, оттуда доносились песни, крики и пьяные голоса.

— Какой чорт шатается здесь по ночам? — проговорил кто-то по-немецки и на пороге появился офицер, в расстегнутом мундире.

Я объяснил, в чем дело.

— Вряд ли смогу помочь! Впрочем, подождите до завтра — он сказал неожиданно очень учтиво.

Мы не спали всю ночь и вынесли вещи на улицу. Я обходил бесконечный ряд машин. На одних спали солдаты, другие охранялись вооруженной стражей. В 5 часов утра, подходит к нам щеголеватый, подтянутый адъютант.

— К сожалению, мы никого не можем взять. Капитан просил передать вам свое искреннее извинение.

Мне казалось, что до конца своих дней, я не забуду этого спокойного и галантного ответа.

Итак, да свершится воля судьбы!

Судьба, однако, переменчива — и никому не дано знать, что будет завтра. Так было и с нами в тот памятный день. К вечеру стало известно, что атаки большевиков отбиты, прорыв ликвидирован, части их отогнаны на большое расстояние и взято много пленных. Как по мановению волшебной палочки — жизнь сразу вошла в нормальную колею, страхи забылись и немецкие части потянулись на восток. На душе было ра-

достно — в воздухе чувствовалось приближение весны, природа ожила, влажная земля потемнела и снег — узкими полосками — оставался только в ложбинах.

Для нас наступили беззаботные дни: я не работал и мы существовали продажей вещей. Советские деньги были обесценены и сейчас процветала, как в далекие исторические времена, меновая торговля.

В один из хороших, погожих дней — мама решила пойти на базар и продать Ирино платье. Купить одежду в Никополе было трудно — платье было ценным товаром — и маму сразу же окружили покупатели. Какой-то немецкий офицер, проходивший мимо, неожиданно вырвал его из рук мамы и передал своей молоденькой спутнице, у которой глаза вспыхнули от восторга. Мама хотела отобрать платье, но немец грубо оттолкнул ее, взял девушку под-руку и спокойно ушел.

Эта история взбесила меня. Я пошел к коменданту города, пожилому немецкому полковнику, вероятно, еще «вильгельмовских времен» и пожаловался. Он был возмущен и заявил мне, что найдет и накажет этого офицера. Надеяться на успех я, конечно, не мог. Однако, бывают чудеса на свете: в тот же день меня вызвали в комендатуру, где меня ожидал и комендант и смущенный офицер, укравший платье. Он извинился и сказал:

— Я куплю все, что вам нужно. И, конечно, сам за всё заплачу.

Оказалось, что он был начальником нашего базара и выдавал разрешения на право торговли. Мы пошли к одной торговке, у которой я взял кусок сала и несколько яиц. Я думал, что офицер сейчас же заплатит. Но он только сказал:

— Идите, я сам все улажу здесь.

Как это он собирался «уладить» — я видел по лицу торговки, которая заголосила, вскочила и протянула руки к моей покупке. Ее истошный голос передался, как эхо, по рядам других баб.

Очевидно, что подобное разрешение вопроса здесь практиковалось неоднократно. Я молча положил продукты на лоток, повернулся спиной к офицеру и пошел домой. Он что-то кричал мне, но я только махнул рукой.

37

Становилось теплее. На деревьях появились зеленые почки, незаметно превратившиеся в листья; зацвели яблони и вишневые деревья. Под окном у нас был огромный — весь в цвету — куст сирени. На ночь мы оставляли окна открытыми и просыпались с тяжелыми головами, опьяненные пряным хмелем наступившей весны.

Ранним утром, когда природа освобождалась от последних оков сна, немцы гнали через город огромную партию военнопленных. Трудно было предположить, что эти искалеченные оборванцы, составляли еще совсем недавно, регулярную советскую армию. Экипировка была жалкая — у немногих были рваные шинели, с темными пятнами засохшей крови. У большинства же сохранились только гимнастерки, истлевшие от времени и лохмотья на голых ногах: обуви не было. Через дыры просвечивало грязное, давно немытое, тело. Землистые, заросшие лица с ввалившимися глазами, и страшная худоба говорили о длительном голодании. Раны были перетянуты тряпками, набухшими от просачивающейся крови и ветер доносил до нас отталкивающий запах гноя: рука доктора, очевидно, не прикасалась к ним. Многие не могли идти и их вели под руки.

Пожилого грузина, тяжело раненого, тащили два его земляка: кровоточащие ноги волочились по земле, подпрыгивая на камнях. По диким взвизгиваниям и лицу, сведенному непрекращающейся судорогой, было видно, что он испытывал невероятные страдания. Казалось, что спутники его, выбившиеся из сил, должны сейчас бросить его: однако, они, с непостижимым упорством, продолжали свой крестный путь. Кто знает, что связывало этих людей в прошлом, какие клятвы они дали друг другу, уходя на войну?

От проходившей толпы шел гул, слышались стоны, ругань, проклятия и один и тот-же вопль:

— Хлеба, хлеба!

По бокам шли вооруженные, откормленные немецкие солдаты и прикладами отгоняли публику. Старушки крестились и шептали молитвы, женщины плакали и голосили, а молодежь, с горящими глазами, молчаливо смотрела на эту, необычайную по бесчеловечности картину. Сердобольные люди, не счи-

таясь с окриками солдат, с риском для жизни, бросали в гущу военнопленных — хлеб, картошку и махорку, завернутую в газету. Голодные люди, как дикие звери, вырывали друг у друга эту манну, так неожиданно свалившуюся им прямо с неба.

Немцы дали залп, правда, в воздух — и толпа стала медленно отступать от своих несчастных соотечественников. Человек — ни для немцев, ни для большевиков — не представлял никакой ценности.

38

Наша патриархальная жизнь была внезапно прервана двумя событиями, взволновавшими город и ставшими на долгое время предметом горячих споров.

Первым событием было появление на нашем горизонте ростовских беженцев. Множество семей, выброшенных волею войны из родных мест, расселилось по городам и деревням Украины, расположенным вблизи западных границ Советского Союза. Все они страстно стремились домой и тишина на фронте способствовала росту оптимистических прогнозов, мало связанных с реальностью. Сейчас беженцам хотелось, на всякий случай, быть ближе к Ростову — и вот они потянулись назад, сделав временную, как они думали, остановку в Никополе. Из Первомайска приехали и наши друзья, с которыми Ира и мама покинули, в суровую и негостеприимную зиму, свою насиженную квартиру. Были и «отчаянные» люди, которые направились на лошадях, прямо на Ростов, заявив нам на прощание:

— Через две недели — мы опять будем дома!

Я относился ко всему этому скептически, но какая-то искра, самопроизвольно вспыхивала во мне: — а что, если это правда? Мне не понятно было, что, собственно, тянуло меня к покинутым местам, где я жил плохо, боролся каждый день за кусок хлеба, где долгие годы страха и тюрьмы, казалось, искалечили душу, вытравив в ней лучшие человеческие чувства?

Вторым событием было — открытие в нашем городе представительства Штаба Донских казаков. В Никопольском отделении работало всего три человека, возглавлял его полковник Б., ходивший в красочной казачьей форме с лампасами. Представительство было единственным русским учреждением во

всем нашем районе и вереница просителей потянулась к нему с делами, часто не имевшими никакого отношения к его работе. Сюда приходили за всевозможными справками, с жалобами на немецкое управление, за информацией о положении дел на фронте, наконец, появились и добровольцы, желавшие вступить в казачьи войска.

Представительство устроило большую антикоммунистическую выставку в городском саду, привлекая население всего Никополья и множество колхозников из соседних деревень, прошедшую с огромным успехом. С большим трудом был налажен выпуск небольшой газеты на русском языке, где было помещено письмо генерала Власова, в котором говорилось о причинах, заставивших его сделаться «изменником родины» и вступить в смертельный поединок с советской властью. Письмо произвело огромное впечатление и имя Власова, ставшего сразу популярным, сделалось символом новой национальной России, за которую тысячи россиян готовы были отдать свои жизни.

39

Главным учреждением города был Гебитскомиссариат — ему принадлежала вся полнота власти. Мне приходилось бывать там по разным делам, главным образом, по различным тяжбам бывших колхозников, которые не зная языка, искали переводчиков на стороне, не доверяя тем, кто работал в этом учреждении. Поводом к этому послужил недавний случай, когда одна из переводчиц — не знаю, по корыстным-ли мотивам или по незнанию местного языка (крестьяне говорили на каком-то смешанном русско-украинском диалекте), неправильно перевела жалобу колхозника, в результате чего обескураженный проситель потерял свою единственную корову.

Мне никогда не приходилось встречаться с гебитскомиссаром. Люди говорили, что он непробудно пьянствовал, делал все, что хотел, был большим самодуром, беспрекословно слушался своей переводчицы — девушки молодой, вздорной, завистливой и самолюбивой. Не знаю, насколько эти слухи соответствовали действительности, но жалоб на безобразия было много.

Обычно, я обращался в отдел, во главе которого стоял русский немец Г. Сидел он в большом кабинете, под портретом

Гитлера, по бокам которого были протянуты — от потолка и до самого пола — красные полотнища, с нарисованными на них свастиками. Ходил он в желтой форме: людей, одетых подобным образом, почему то называли павлинами. Не знаю, то ли по яркому оперению, то ли по надутому и чванливому виду.

Г. был мало похож на своих коллег. Был он, по-моему, простым человеком и старался управлять справедливо. Конечно, это было не легко. В ряде дел, решенных явно неправильно, он добивался пересмотра их у гебитскомиссара и нередко это ему удавалось. Я всегда приходил к нему с жалобами и ему не хотелось говорить со мною о многом, но по словам, случайно вырвавшимся у него, я понимал, что работа его совершенно не удовлетворяла и он тяготился ею. Он любил повторять, — «я только чиновник, исполнитель чужой воли, и не могу делать так, как хочу».

Он эмигрировал из России сейчас же после октябрьской революции и судьба его походила на жизнь героя авантюрного романа: он жил в Америке, Китае, в каких-то африканских колониях, в Европе — сначала в Голландии и Испании, а затем в Германии, где обосновался, принял подданство и как знающий русский язык, попал, с самого начала войны, в Никополь.

40

Почти совершенно случайно — я, вместе с моим ростовским приятелем, попал на работу в Гебитскомиссариат, в только что организованный там отдел пропаганды. Во главе его стояла очаровательная девушка, русская по происхождению. На вид ей было не больше 22 лет, но, на самом деле, она была немного старше. Нам казалось, что наш молодой шеф имел весьма смутное представление о работе вновь созданного отдела. В первый день она заявила нам:

— Нам нужны критические материалы, характеризующие несостоятельность советской системы. Темы выбирайте сами — нам это безразлично.

Мой друг начал составлять большой трактат по экономике и статистике Советского Союза — он был квалифицированным работником в этой области, окончившим два университета. Я начал писать статью по прямой своей специаль-

ности метеоролога — об ошибках советских ученых при проведении последнего международного полярного года, в котором принимал непосредственное участие. Вскоре, однако, я увидел, что мой трактат был слишком далек от деятельности нашего Гебитскомиссариата. Тогда я принялся за более близкую для наших властей тему — о работе НКВД, с которой был знаком по личному, горькому опыту.

Мы работали усердно и вскоре закончили наши труды. Новых заданий мы не получили и очень часто нам приходилось склоняться над листками чистой бумаги и глубокомысленно размышлять: за что, собственно, нам платят деньги и выдают паек?

Мы аккуратно приходили на работу, садились у большого окна и ждали прихода нашего маленького шефа. Русская девушка всегда запаздывала и приходила немного позже нас. Когда шел дождь, ее изящная фигурка, закутанная в прозрачный, непромокаемый плащ — таких у нас не было — возбуждала в нас какое-то недозволенное любопытство. Конечно, мы немножечко ухаживали за нею: она нравилась нам своею врожденной деликатностью, умением говорить на любые темы, начитанностью, наконец, преклонением перед искусством. Она была чрезвычайно женственна, с очень выразительным лицом, по которому мы безошибочно узнавали ее настроение. Она любила поболтать и интересовалась жизнью и порядками, царившими в Советском Союзе. Часто случалось, что наш рабочий день проходил совсем незаметно в этом приятном собеседовании. Родители ее — она была с нами откровенна — когда-то жили в С. Петербурге, после революции бежали в Польшу, где она и родилась. Затем они переехали в Германию и когда начался «Дранг нах Остен» — она была мобилизована на работу в оккупированных областях: ее мечта — повидать свою родину — осуществилась.

Работа наша, по образному советскому выражению, была «не бей лежачего»: около двух месяцев мы бездельничали. А затем, на нашу долю выпала неприятная обязанность проверки писем на русском языке, шедших из Никополя в Германию и обратно: переписка велась между «остарбайтерами» из Германии, с одной стороны, и родителями, жившими в Никополе, с другой. Жизнерадостных писем почти не было — все они были тоскливые, скорбные и грустные, с бесконечными

поклонами и со стереотипной припиской в конце: «жду ответа, как соловей лета». Мы ничего не вычеркивали в них, так как знали, что после нас не будет никакой цензуры. Нам запрещалось пропускать письма, где сообщалось о чьей-либо смерти. И мы считали, что так будет лучше. Шла кровопролитная война, тысячи людей погибали ежедневно — зачем было лишать оставшихся последней надежды?

Однажды, принес мне мой шеф книгу Краснова, на немецком языке: «От двуглавого орла к красному знамени». Книга была роскошно издана, со многими иллюстрациями. Я принес ее домой и в тоскливые вечера, когда дождь барабанил за окнами, читал ее Ире и маме.

Книга Краснова произвела на нас большое впечатление. Может быть просто потому, что она была первой антисоветской книгой, которую нам удалось прочесть.

41

У нас открылся немецкий магазин — был он вроде советского закрытого распределителя: товары могли покупать только немцы и, в виде исключения, кое-что доставалось служащим, работающим в немецких учреждениях. Магазин был предметом всеобщего восхищения и зависти. Ничего особенного там не продавалось. Я думаю, что немецкие фирмы, выпускающие какой-нибудь малоходкий ассортимент, отправляли залежавшуюся продукцию в такую глушь, как Никополь, в надежде, что может быть там найдется покупатель, польстившийся на эти — никому ненужные и непродávающиеся вещи. Магазин торговал гребешками, зубными щетками, посудой и всякими безделушками. Если приходили хорошие вещи — их расхватавали немцы: для себя, для своих девушек или знакомых.

В один из летних дней в Никополь прибыли — об этом знал весь город — три вагона ночных горшков. Мне были непонятны мотивы, по которым такая специализированная продукция была предназначена для маленького, провинциального украинского городка? Магази́ну удалось продать для надобностей немцев — на протяжении месяца — ничтожное количество этих горшков: в них особой нужды никто не ощущал. Огромный груз оставался «замороженным» и запол-

нял все свободное помещение магазина и его складов, предназначенных для других товаров. Вернуть груз в Германию — было неудобно. Гебитскомиссариат решил «осчастливить» граждан города, не пользовавшихся горшками еще с царского времени, и объявил свободную их продажу.

У дверей магазина образовалась бесконечная очередь: как будто этот товар был единственным, по которому страдали люди за долгие годы советской власти. Усиленный наряд полиции устанавливал очередь и следил за порядком продажи. С утра и до закрытия магазина толпились люди: обрадованные горожане и неслыханное количество колхозников, приехавших из окрестных деревень, вместе со своими многочисленными семьями. Торговля шла бойко и к концу третьего дня — три вагона ночных горшков были распроданы.

Пожилые немки, приехавшие к своим мужьям на побывку, качали головами и умиленно вздыхали:

— Бедные люди, разве можно было так долго обходиться без этих, незаменимых для каждого, вещей?

На следующий день, предприимчивые граждане несли в этих горшках молоко, масло, крупу, ягоды и махорку — не будучи нисколько шокированы непристойностью сосудов, предназначенных для других надобностей.

Немцы, наблюдавшие эти картинки, были вне себя от позора, так неожиданно свалившегося на их головы. Чтобы прекратить это безобразие, нарушавшее элементарные правила приличия — хозяйственное Управление Гебитскомиссариата издало приказ, который я не могу не привести здесь:

«Доводится до сведения граждан города Никополя, что:

1. Ночные горшки германского производства, изготовленные из прозрачного стекла и продававшиеся в магазине № 2, предназначаются **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** для пользования по **ПРЯМОМУ** назначению.

2. Категорически запрещается употреблять их как посуду для съестных припасов.

3. В случае обнаружения продуктов питания в упомянутых выше ночных горшках, последние будут уничтожаться, вместе с находящимися там продуктами.

4. Повторное нарушение этого распоряжения наказывается денежным штрафом, по усмотрению полиции».

Так закончилась славная эпопея с ночными горшками в городе Никополе.

Думаю, что ни одному русскому городу, на протяжении своего долгого и нелегкого исторического пути, не выпало такой счастливой доли, как Никополю — да и в какой столице мира, можно было-бы продать, только за один день, около пяти тысяч обыкновенных ночных горшков?

42

В Советском Союзе религия была под запретом, церкви закрыты, множество священников расстреляно или сослано в Сибирь. Только немногим удалось бежать и спрятаться в маленьких городках или деревнях нашей необъятной родины.

Надо отдать справедливость немцам, что в отношении церкви, они шли навстречу населению: помогали, чем могли, и давали материалы для ремонта. Никополю повезло: в одном из ближайших колхозов нашелся священник, долгие годы работавший там счетоводом. Никто не знал, кем он был раньше и только теперь он решил покаяться и сообщить властям о своем прошлом: его сразу же назначили священником в нашу церковь.

Утром, в день Троицы, всегда праздновавшийся в старой России очень торжественно — мы пошли в церковь. К началу Богослужения прибыло немецкое начальство в парадных формах, вместе с генералом, проезжавшим из Германии на фронт.

Картина, открывшаяся перед глазами немцев, была для них неожиданной и непонятно-поражающей: церковь была переполнена и окружена тысячной толпой. Здесь были люди из города — рабочие, служащие и интеллигенция, и из деревень — старики, бабы и дети.

Стояла мертвая тишина — все ждали начала Богослужения. Когда раздались слова священника — голос его слышался совершенно ясно — «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа...» — толпа, как один человек, встала на колени. Служба была долгая, трудно было стоять на сырой, еще не просохшей от недавнего дождя, земле — но ни один человек не поднялся с колен. Лица у людей были просветленные, как будто только сейчас они познали благодать молитвы.

Рядом со мною стояла пожилая колхозница, с типичным

лицом советской ударницы-активистки. Женщина молилась и по лицу ее крупными каплями стекали слезы. Какие грехи она замаливала, в чем сейчас так глубоко раскаивалась? Крестилась она большим, широким крестом — смотрите, мол, какая я — и клала поклоны, почти зарываясь головой в мокрую траву. Я невольно наблюдал за нею: лицо ее, постепенно, прояснялось и, наконец, приобрело свой натуральный, человеческий вид — простой русской женщины-крестьянки.

Необычно было видеть, как матери учили своих маленьких детей молитве и крестному знамени — ребенок воспринимал это совершенно непосредственно, взрослые же крестились осторожно, незаметно, стыдливо оглядываясь на своих соседей. Никогда — в старое, царское время — я не видел такой иступленно-страстной молитвы. Генерал, молча наблюдавший всю эту картину, был расстроен и глаза его были влажны. Он спросил у переводчика:

— Неужели русские, после такой ужасной революции, сохранили Бога в своей душе? Откуда такая глубокая религиозность?

Я думаю, что вид этого Богослужения, даже для самых предубежденных немцев, был наглядным примером, показывающим чистоту и цельность русской души. Здесь можно было воочию видеть, что бесконечно долгая антирелигиозная пропаганда, так истово проводимая советской властью, не дала ожидаемых плодов. Человек ушел внутрь себя и его «святое святых» осталось нетронутым. Эта вера ярко вспыхнула с началом войны, когда гибли самые дорогие и близкие люди и не было иной надежды, кроме веры в Бога. То, что было долгие годы скрыто, похоронено под семью печатями — сейчас выплыло наружу: человек остался тем, чем был раньше.

43

Мне надо было получить, по просьбе моего шефа, несколько справок в отделе Гебитскомиссариата, где работал мой знакомый, господин Г. Я зашел в его кабинет и застал его в одиночестве: работы не было и он читал какую-то книжку. Моему приходу он обрадовался и начал рассказывать бесконечные истории из своей фантастической жизни. Скоро надоело ему это и, чтобы развлечься, он сказал мне, как будто в шутку:

— Хотите послушать Ростов?

Не дожидаясь моего ответа, он включил стоящий в его комнате, немецкий радио-аппарат. Я услышал голос диктора, бесстрастно передававшего новости дня: развернулась ударная работа по восстановлению домов, разрушенных немецкими оккупантами, в которой, с небывалым энтузиазмом, принимает участие все население города; улицы Ростова приведены в порядок, пущены первые трамваи, открылись школы, начал функционировать хлебозавод, открылись магазины, стала регулярно выходить ежедневная газета «Молот», наконец, начальник НКВД города, товарищ Х... Я вздрогнул, перестал слушать передачу, напрягая память и стараясь вспомнить, где я слышал эту знакомую фамилию? Долго сидел молча — и вдруг выплыла из моего сознания — невзрачная, дегенеративная фигура начальника личного стола главного Бургомистрства, исчезнувшего внезапно и похитившего дела и анкеты служащих, работавших при немцах, во время оккупации.

Мне стало не по себе и в взбудораженном воображении промелькнули картины разрушенного Ростова, своей брошенной квартиры, знакомых, легкомысленно оставшихся на милость убийц, наконец, кровавой расправы неистовствующих энкаведистов над беспомощными людьми, не могущими рассчитывать ни на какое снисхождение.

В мрачном настроении я вернулся домой и рассказал обо всем маме и Ире: они были подавлены этой неожиданной вестью.

Но к радостной картине, говорящей об энтузиазме населения при восстановлении Ростова, мы отнеслись скептически — она была искажена, подкрашена и фальшива. Так делали большевики раньше, так было и сейчас.

44

Сегодня выпал на редкость отвратительный день — с утра и до вечера шел проливной дождь: ветки деревьев склонились к земле, трава пригнулась под тяжестью воды, по тропинкам и дорогам бежали прозрачные ручейки, превращая извилины и углубления своего пути в маленькие озера. От этой всеобщей сырости поднимался туман и стелился по земле на подобие облака. Наша дверь разбухла и закрывалась с трудом.

В комнатах было неуютно, холодно и на душе «скребли кошки». Чтобы разогнать непробудную тоску, мы решили затопить печку, закрыть ставни, зажечь свет и, хоть на время, забыть об окружающей мерзости.

Мама любила читать вслух — и читала превосходно. Сейчас у нас была небольшая книжечка, неизвестно какими судьбами попавшая в нашу провинциальную библиотечку, носившая название — «Достопамятности Санкт-Петербурга». Она была издана вскоре после изгнания Наполеона из России, в 1816 году. Книжечка была ветхая, бумага ее крошилась и сыпалась от старости, в книге были чудесные иллюстрации, сделанные под старинную гравюру.

Каждая строчка этой книги бередила старые, не могущие зарубцеваться, раны. Вспоминался наш милый Петербург, беззаботная жизнь там, близкие, покинувшие нас, друзья, разбежавшиеся после революции. Мама расчувствовалась, образы прошлого теснились в ее сознании, ей трудно было читать.

— А помните — вдруг обратилась она ко мне, — тот страшный день, когда Россия оплакивала смерть Александра 3-его, Царя-Миротворца? Я шла по Невскому... Вы тоже, конечно, были на похоронах?

Я смотрел на нее невидящими глазами. Мне не хотелось спугнуть ее созерцательное настроение. Я ответил, будто, между прочим:

— Ну, как-же, конечно! — хотя в то время меня не было еще на свете.

У мамы была превосходная память, но были и зияющие провалы памяти: она часто забывала, в какую эпоху она жила.

Спать легли мы поздно. Ночью, однако, были разбужены стрельбой, раздавшейся со стороны Днепра. Мы вскочили и выбежали на двор, думая, что большевики прорвали фронт. Перестрелка продолжалась недолго и вскоре смолкла.

На следующий день в городе было спокойно. Ничто не напоминало о ночных страхах, но молва все-же ходила: говорили, что большевики пытались высадить десант. Была ли это правда — мы не знали. Наше начальство пожимало плечами, желая, очевидно, этим показать, что дело не стоит выеденного яйца. Но скоро тайна перестала быть тайной. Через какие-нибудь две недели, мы получили об этом «ночном происшествии» самые подробные сведения — и прямо из первоисточника.

Однажды — это было уже под вечер — я сидел на скамеечке, вместе со своим ростовским приятелем, около дома, где помещалось представительство Донских казаков. Работа там закончилась и мы отдыхали, покуривая махорочку и мирно беседуя о наших личных делах. Мы не заметили, как к нам подошла незнакомая молодая девушка.

— Не знаете ли вы, — спросила она, — где здесь записаться в какую-нибудь казачью часть?

Девушка была высокого роста, стройная, с большими красивыми глазами и чисто-русским, немного усталым, лицом. Мы были заинтересованы и на наших лицах отражалось любопытство. Девушка поняла это и несколько не удивилась.

— В Никополе я никого не знаю, — сказала она просто, — со мной случилась неправдоподобная история. Мне очень бы хотелось поделиться с кем-нибудь своими переживаниями.

Мы приняли в ней живое участие и она рассказала нам, действительно, фантастическую историю, приключившуюся с ней около двух недель тому назад. Я постараюсь, по возможности, точно передать ее исповедь:

«Сначала немного о себе. Я студентка 3 курса Медицинского факультета 1-го МГУ (Московского Государственного Университета). Живу в Москве, вместе с мамой; братьев и сестер у меня нет. Мой отец был репрессирован в 1937 году и я думаю, что он погиб в Сибири: со дня ареста мы не получили от него ни одного письма. Наши попытки узнать в НКВД о судьбе его были безрезультатны. Теперь, что случилось со мною. Я слушала очередную лекцию в университете. Неожиданно в аудиторию вошел наш парторг, извинился перед профессором, и сказал мне:

— Зайдите немедленно в партийный комитет. До вас есть срочное дело. — Так и сказал «до вас...»

Я вышла из аудитории с бьющимся сердцем. Я знала, что так просто, по какому-нибудь пустому делу, не вызывают. Я вошла в большой кабинет и подошла к письменному столу, за которым сидел военный, в чине полковника. Рядом с ним, стоял секретарь партийного комитета нашего университета.

Военный поднял голову и, не поздоровавшись, долго —

прямо в упор — смотрел на меня. Я молчала, недоумевая, что это могло означать.

— Ваша фамилия, где родились, кто родители?

Я спокойно отвечала, сказала, что мой отец был арестован...

Он перебил меня:

— Знаю, отвечайте только на мои вопросы. Парашютистка? Сколько раз прыгали с самолета?

Я старалась подробно ответить на все вопросы. Он был, кажется, удовлетворен.

— Хорошо. Умеете стрелять?

— Да. Отличница по стрельбе.

Надо сказать, что в университете студенты хорошо знали военное дело, умели обращаться с оружием, были подготовлены для работы разведчиков и т.д.

— Так вот, — продолжал полковник — сегодня в 23.30 — вы, вместе с двумя товарищами, вылетите прямо в тыл неприятеля. Вас сбросят с самолета в определенном месте и ваша задача — собрать сведения о настроениях населения в зоне, оккупированной врагами. Ровно через месяц мы заберем вас и отправим домой. Это приказ самого товарища Сталина.

У меня закружилась голова и я совершенно потерялась. Пролепетала, что хотела бы перед отъездом проститься с мамой — она будет волноваться, если я так долго не буду дома.

Полковник медленно вынул папиросу, закурил и снова пристально посмотрел на меня.

— Садитесь и пишите письмо вашей матери. Только покороче. Впрочем, я сам продиктую, это будет легче для вас.

И он, почти не останавливаясь, продиктовал мне: «Дорогая мама — или, как вы это сами пишете — меня посылает университет на практические работы. Через полчаса отходит поезд, я не имею времени проститься с тобою. Не волнуйся, скоро снова увидимся».

— Ну, вот и все! Надеюсь, что вы поняли меня? А более подробные инструкции получите сейчас от моего помощника. Выполняйте с честью задание, которое дает вам партия и правительство! Награда будет после возвращения. Прощайте, можете идти.

Нас разведчиков было трое. Кроме меня — совсем молодой студент, которого я встречала иногда в университете и, наконец, начальник нашей группы, совершенно незнакомый, крайне

несимпатичный человек, с отталкивающей наружностью: я сразу догадалась — это был работник НКВД.

В полной темноте, ровно в назначенное время, мы поднялись со Внуковского аэродрома и полетели на запад — прямой дорогой к линии фронта. Самолет был маленький и старый, конструкции «У-2», кажется. Борта у него были открытые и нас пронизывал холодный ветер. Сколько времени мы летели, было трудно сказать. Я закрыла глаза и думала — будь, что будет!

Не помню, когда я выбросилась из самолета. Было темно и я летела, со страшной скоростью, вниз. Я не раз прыгала с самолета и у меня не было страха. Пугало только одно — куда мы приземлимся? Но кончилось все благополучно. Мы вскоре нашли друг друга и никто из нас не пострадал. Находились мы на большой поляне, которую, с одной стороны, опоясывал Днепр, а с другой, густой лес. А дальше случилось нечто совершенно неожиданное — из-за деревьев выбежало несколько немецких солдат, вооруженных автоматами. Я услышала крик — я знаю немецкий язык довольно прилично — «стой, руки вверх!» Наш начальник выхватил револьвер, но прежде чем он выстрелил, — он был убит наповал, вместе со стоящим рядом, молодым студентом. Я подняла руки, меня арестовали, допрашивали, а потом выпустили. Вот я и пришла к вам».

Бесхитростный рассказ молодой девушки взволновал нас.

— Чем же мы можем помочь вам? Хотите отомстить за смерть отца?

— Нет, — ответила она грустно, — чувство мести мне совершенно чуждо. Я хотела бы работать. Врачем, сестрой, санитаром, наконец, простым бойцом. Ведь я парашютистка и хороший стрелок.

— Значит вы хотите бороться с большевизмом?

— Да, я об этом много думала. Мы, молодежь, были всегда скептиками, нас учили рассматривать всякое явление всесторонне. Меня всегда возмущало, что в нашей университетской библиотеке были запрещенные книги. Не только по философии, литературе, но даже и по медицине. Нам отказывали в свободе мысли и, конечно, было запрещено сомневаться в святости коммунизма. Нас часто посылали в колхозы и мы видели там ужасающую нищету и безжалостную эксплоа-

тацию колхозников. Мы стали сомневаться в том что наш строй лучший в мире. Что ж — фасад был красивый, а внутри была гниль.

46

Лето было в разгаре. Дни стояли жаркие, но жара была приятная, смягченная близостью Днепра. Мы, почти ежедневно, делали прогулки — работа моя заканчивалась рано. Окрестности были красивые и уходить из пыльного города, купаться в прохладной реке, доставляло огромное удовольствие.

День открытия кино в Никополе был праздником для всех. Оно помещалось в городском саду и сеансы проводились под открытым небом. Мы посещали его, правда, не особенно часто. Фильмы были, главным образом, немецкие, изредка попадались итальянские и даже американские, вероятно, из стран Южной Америки. Эти картины приоткрыли перед нами завесу, за которой скрывался заграничный мир: даже самые безобидные были бы запрещены в Советском Союзе. Нас тянуло на этот «запрещенный плод», где можно было видеть «разлагающуюся буржуазию», красивую жизнь в особняках, женщин в бальных платьях, мужчин во фраках, где люди за просто ходили в рестораны и кабаре, пили шампанское, ели, что хотели, где, наконец, можно было жить по человечески — без соревнований и перевыполнений планов.

Мы так привыкли к советским фильмам (тем, которые, конечно, не экспортируются за границу) — грубо тенденциозным, пропитанным навязчивой, набившей оскомину идеологией большевизма, с героями из малограмотных рабочих, с плоскими остротами из быта кухарок и пожарных, что заграничные фильмы казались нам свежими и люди на экране живыми, с подлинно-человеческими чувствами и страстями. Сюжеты, с вечно неумирающей темой любви, были естественны. Здесь было все настоящее — горе, тоска, ревность и любовь. Смотря на эти картины, конечно, различной ценности, мы чувствовали, что излечиваемся от всей той фальши и пропаганды, которыми была проникнута вся наша подневольная жизнь.

Незабываемое впечатление произвел на нас фильм «Звезда Рио». Нам казалось диким, что на земном шаре могла существовать такая роскошная, веселая, беззаботная и приволь-

ная жизнь, совершенно не схожая с серой советской действительностью. Мы восхищались этой картиной, как одной из сказок «Тысячи и одной ночи».

47

По вечерам, когда не было кино, на открытой площадке городского сада, устраивались танцы. Они привлекали, главным образом, молодежь. Подростки флиртовали с девушками, гуляли по тенистым аллеям и танцевали.

Сегодня вечером была сброшена первая бомба на Никополь. Она упала на открытую площадку, в то время, когда там были танцы.

Горожане давно забыли те времена, когда их бомбили и появление на нашем горизонте самолета — сначала в виде небольшой черной точки — осталось незамеченным. Только несколько зевак, скуки ради, заинтересовались полетом этого самолета, приближавшегося к нашему городу с невероятной быстротой. Никому, конечно, не пришло в голову, что это был неприятельский самолет. Оркестр играл и пары кружились, наслаждаясь приятной прохладой вечернего воздуха. И только тогда, когда шум мотора стал заглушать звуки оркестра и были отчетливо видны красные звезды на борту самолета, танцы приостановились.

Самолет стал снижаться бреющим полетом. Поднялась паника и кто-то крикнул:

— Спасайтесь, самолет советский!

Но было уже поздно. Раздался оглушительный взрыв, облако огня и дыма поднялось над площадкой и самолет, сделав широкую дугу, полетел в обратном направлении. На месте, где только что раздавались смех и шутки, валялись изуродованные люди, истекавшие кровью. Руки, ноги и даже головы у многих были оторваны и отброшены на большое расстояние. Погибло много людей. На маленький город все это произвело удручающее впечатление. Мы чувствовали, что мирному прозябанию наступает конец.

48

Налеты советских самолетов стали обычным явлением. Они появлялись ночью, делали несколько кругов над спящим го-

родом и сбрасывали бомбы: горели дома, были убитые, раненные. На утро народ ходил узнавать подробности ночной катастрофы, смотрел на обуглившиеся остатки прежнего жилья, на отчаяние людей, оставшихся живыми.

Каким-то неведомым чувством мы узнавали приближение самолетов: гасили «коптилку» и спускались в небольшой подвал под нашим деревянным, одно-этажным домиком, где, в хорошие времена, хранился картофель, капуста и соленые огурцы. Однако, наше игрушечное «бомбоубежище» имело притягательную силу и действовало успокаивающе на психику. Мы сидели там, плотно прижавшись друг к другу. Мама молилась и крестила стены: бомбы рвались иногда в соседних дворах.

Сейчас снова отступала немецкая армия и каждый день вереницы машин двигались на запад. Переправлялись они через Днепр по понтонному мосту, который ночью подвергался бомбардировке советских самолетов и утром восстанавливался немецкими саперами. Такая «игра» могла продолжаться довольно долго лишь потому, что большевики бомбили только по ночам: днем в городе было совершенно спокойно. Почему делалось так — трудно сказать!

Мы боялись, что большевики разобьют станцию и железнодорожную линию, а это было последним шансом нашего отступления. Идти пешком со старенькой мамой, бросив вещи, которые кормили нас, было бы безумием.

Для нас было ясно, что так жить нельзя: нужно немедленно трогаться на запад. Но куда?

49

Наконец, мы уже на вокзале. Два дня тому назад, огромная крестьянская телега, приспособленная для перевозки соломы, привезла сюда наш багаж. Уезжало три семейства: мы, наши ростовские друзья и — случайные знакомые — студент со своей, еще совсем юной, невестой.

На вокзале пусто: казалось, что это была заброшенная станция, переставшей существовать железной дороги. На запасных путях стояло несколько составов, груженных железом. Начальника станции не было, а два-три служащих ничего не могли сказать о движении поездов.

Наши вещи были сложены в кучу, около которой день и ночь мы дежурили. Вчера погиб Г., мой знакомый, работавший в Гебитскомиссариате, на долю которого выпала авантюрная жизнь: случайная бомба его убила.

Каждую ночь советские самолеты бомбили понтонную переправу, через которую переходила отступавшая немецкая армия, но случайные бомбы попадали в город, окрестности и пустыри вдоль Днепра. При налетах станция освещалась сигнальными ракетами и становилось светло, как днем. Мы поспешно прятались в «противотанковые щели», вырытые на привокзальной площади и вылезали только тогда, когда наступала полная тишина.

Как-то вечером, один из служащих станции, прекрасно знавший нас в лицо, сказал мне: — Поезд, стоящий на восьмом пути, должен отойти часа через два. Он идет в направлении на Кривой Рог.

Я побежал, обрадованный, к нашим. Надо было, прежде всего, устроить маму. Мы попросили «молодоженов» сопроводить ее и усадить поудобнее.

— Дайте мне билет, — сказала мама, — и скажите номер нашего вагона. Надеюсь, он плацкартный?

— В поезде, — сказал я в шутку, — есть всего один международный вагон. Вы помните эти вагоны?

— О, конечно! — ответила она.

— Около вагона, — продолжал я, — будет стоять проводник. Он укажет вам наше купе.

Мама не поняла шутки и приняла это за чистую монету.

Они ушли вперед, а мы неторопливо забрали часть вещей и, согнувшись, пробирались под вагонами, поминутно отдыхая от тяжелого багажа и неудобства подобного продвижения.

Внезапно мы услышали лязг стукнувшихся вагонов, грохот двинувшегося поезда и тяжелое дыхание паровоза. Предчувствуя что-то неладное, мы побросали вещи и выбежали к мелькавшим перед нами вагонам. Это был длиннейший состав из открытых ж.д. платформ, нагруженных машинами и железным ломом. На одной из них была мама, со своими юными спутниками. Она сидела в неудобной позе, судорожно вцепившись в какие-то лопаты, с растерянным лицом. Платок, в который она хотела закутаться, развевался как флаг по ветру.

Мы кричали, насколько хватало у нас воздуха в легких:
— Выходите в Кривом Роге!

Поезд громыхал, перескакивая через стрелки, в изобилии расставленные на запасных путях. Через минуту конец его вильнул, как хвост рыбы, и скрылся за поворотом ж.д. полотна.

50

Нам повезло: мы едем не на открытой платформе, а в пустом, товарном вагоне. Позд идет быстро, вагон бросает то в одну, то в другую сторону. Мы падаем друг на друга, стукаемся головами и вещи качаются.

Ночью подъезжаем к станции Кривой Рог. Перед нами пустынные платформы, слабо освещенные затемненными фонарями. Мы бегло обходим пути: мы не знаем, как долго будет стоять поезд. Мамы нет. Вбегаем в переполненный людьми вокзал, будим спящих людей, расположившихся на грязном полу — и слышим только ругань. Разговариваем с бодрствующими, зорко стерегущими свои вещи, спрявляемся у дежурного по станции, обходим все закоулки, заглядываем в уборные — и мужские и женские — никто не видел старушки, одетой в мужское пальто: мамины вещи остались у нас, а мои — у нее. Выбегаем снова к путям, обходим их еще раз, пролезаем под товарными вагонами, кричим — «мама! мама!» — никакого ответа. Станция спит, только паровоз, шумно захлебываясь, набирает воду.

На стенах вокзала приколото множество записок: «Папа — еду до Винницы, там буду ждать тебя», «Пропал Вася — мальчик шести лет. Кто знает сообщите на станцию Кировоград», «Добрые люди, спасите, ради Бога, умирающего старика, отставшего от семьи. Лежит на станции Товарная 2-ая, на шестом пути, около водокачки», «Бабушка и Таня едут дальше, мама — где ты?», «Возвращаюсь обратно — потерял Нину».

— Боже мой, — подумал я — какой людской водоворот!

Дождь смывает карандаш и только недавно повешенные записки можно разобрать. Мы внимательно прочитываем каждый листок этой своеобразной книги, написанной человеческим горем, страданием и отчаянием.

Мамы нигде нет. Поезд медленно отходит, мы влезаем в

вагон и молчим. Я смотрю через полуоткрытую дверь: где-то вдали, еле заметной точкой, светится станция, но скоро исчезает в сплошном, крошечном мраке.

Утром приезжаем на станцию Долинская. Поезд дальше не идет и мы должны выгружаться. Ничего не поделаешь: судьбе было угодно, чтобы мы здесь сделали остановку. Мысли о маме преследуют нас. Я, вместе с моим ростовским приятелем, должен возвращаться назад и продолжать поиски: нельзя бросить ее на произвол судьбы. К нашему счастью, к перрону подходит пассажирский поезд, правда, совсем пустой.

— Билеты в обратном направлении не продаются, — флегматично заявляет кассир. — Да что вы — сумасшедшие? Ведь, фронт совсем же недалеко от нас!

Незаметно, без билетов, влезает в вагон третьего класса: надо, чтобы нас не заметил немец, находящийся в хвосте поезда. Выглядываем из окна и не верим своим глазам: перед нами мама, которую за руку ведет жена моего друга. Лица у обеих заплаканы и мама еле держится на ногах. Глаза у нее ввалились, лицо бледное и вся она сгорбилась и осунулась. Разве это — не чудо?

51

Мы живем около двух месяцев в Проскурове — маленьком городке, у самой границы Советского Союза. Эта последняя полоска русской земли, а дальше идет уже чужой и неизвестный нам мир.

Я работаю клерком в местном Бургоминистерстве. Мои обязанности не сложны — заносить на карточки всякие статистические сведения. Почти все работники нашего учреждения — галичане (Боже мой, откуда они взялись?): они ненавидят русских, русский язык и вообще все русское. Их языка я не понимаю и говорю поэтому только по-немецки.

Вчера меня послали на окраину города, для проверки наличия скота. Неприятная обязанность — стучаться в чужие дома и спрашивать:

— Есть ли у вас корова, овца, сколько кур и гусей?

Мне дана инструкция — проверять фактическое наличие имеющийся «живности», не доверяя словам. Но у меня не хватает духу. Я вижу бледные, испуганные лица, жалкие, рас-

терянные улыбки, мольбу в глазах, страх, что я могу зайти на двор или в дом — и отобрать последнее. Везде и всюду — одни и те же слова:

— Сами голодаем. У нас ничего нет!

Я делаю вид, что верю на слово. Поворачиваюсь и ухожу. Сзади слышится вздох облегчения.

Передо мною покосившаяся хата, с забытыми окнами — и пустой, нежилой двор. Какой здесь может быть скот? Я стучу в дверь, хотя знаю, что здесь никто не живет. В соседнем доме, осторожно приоткрывается дверь и кто-то внимательно наблюдает за мною. Наконец, высовывается заспанная, взлохмаченная голова совсем простоволосой бабы. На лице у нее любопытство. Она молчит и долго смотрит на меня. Затем, говорит:

— Никто здесь не живет. Хозяин на войне!

Я беру чистую карточку, записываю № дома, проставляю первую попавшуюся фамилию, (знаю, что вся эта статистика — дело гиблое: Проскуров уже обречен) — и в свободную строчку вписываю:

— «Элефант», т.е. слон — и ставлю жирную единицу. Пусть — кому это интересно — проверяет, разбирается и ломает голову!

К концу занятий возвращаюсь в Бургоминистерство. Там кипит работа: десятки людей пишут бумаги, бегают, волнуются и что-то обсуждают. Мы потихоньку складываемся: но пока все еще спокойно. Фронт — неизвестно где: об этом не пишут в газетах, не объявляют по радио. Только молва, для которой нет границ и запрета, передает фантастические сведения о падении Никополя, Запорожья, Днепропетровска и о Крымской катастрофе!

52

Вчера выпал глубокий снег, а сегодня прояснилось. Дом потрескивал от сковывающего мороза. Целый день мы провозились дома. Хотелось, хоть вечером, подышать свежим воздухом. Мы надели теплые полушубки, валенки, Ира накинула платок на голову, а я меховую ушанку.

Город был скрыт под тяжелым, белым покрывалом, тротуары занесены снегом и идти можно было только по сере-

дине улицы. Было темно — Проскуров освещался звездами и косым серпом восходящей луны. Изредка, через закрытые ставни, мелькал огонек. Мы долго бродили по пустым улицам и забрели далеко, на одну из окраин. Наше внимание было привлечено длинным, двухэтажным зданием, ярко освещенным прожекторами. Вокруг был построен высокий забор из колючей проволоки, перед которым медленно прохаживался немецкий часовой с автоматом, в тяжелом, овчинном тулупе. Мы старались держаться подальше от этого таинственного дома. Какие тайны скрывались здесь — была ли это громадная гауптвахта или же концентрационный лагерь? Через замерзшие стекла были видны тени, прохаживающиеся мимо окон.

Неожиданно растворилась одна из форточек. Какая-то тень встала на подоконник и мы услышали кристально-чистый голос, певший по русски, и разносившийся далеко по морозному воздуху: — «Хотел-бы в единое слово...»

Мы вздрогнули от неожиданности и остановились. Где и когда мы слышали этот мягкий, полный грусти, голос?

Ира тихо сказала:

— Да ведь это — Печковский!

Перед нами промелькнул Мариинский театр, теперь театр оперы и балета имени Кирова, премьера «Пиковой Дамы» с Печковским в роли Германа — этим кумиром, покорившим множество женских сердец в далекой «Северной Пальмире».

— Невозможно! — тихо ответил я, не желая упустить ни слова из любимого романа. — Как мог Печковский попасть из Ленинграда в Проскуров?

Когда певец смолк, кто-то издали, — очевидно, слушали не только мы — крикнул:

— Спойте еще!

Из форточки раздался ответ:

— Вам весело, а мне грустно!

Грубый окрик часового вернул нас к действительности. Форточка захлопнулась и снова наступила тишина.

В какое дикое и нелепое время мы живем. Молча, со смятенными душами, мы неохотно побрели домой. Для нас было ясно, что этот дом — был лагерем для русских военнопленных.

53

Был хмурый, пасмурный день. Снег, тяжелыми хлопьями, падал на землю. На поляне, среди густого, соснового леса, стояла одинокая, покосившаяся избушка. Лохматая дворняжка выбежала к нашему поезду, полаяла немного и неохотно побрела домой.

Мы переезжали бывшую государственную границу Советского Союза.

— Неужели это всё, неужели мы никогда больше не увидим Россию? — тихо проговорила мама, утирая глаза платком.

Мы перекрестились. Кто-то плакал, забившись в угол вагона. Седой, сгорбленный старик стоял на коленях и молился, кладя поклоны в сторону уходящей от нас родины.

Н. Туров

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ КРАСНОЙ АРМИИ, ВСТУПИВШИХ В РЯДЫ РОД

1. Значение Дабендорфа

Курсы пропагандистов РОА в Дабендорфе являлись в 1943 году местом сосредоточения всей основной работы по развертыванию Русского Освободительного движения. Дабендорф тогда называли центром РОД и по существу он таким и был в действительности. Здесь впервые звучали крылатые слова Андрея Андреевича Власова, впервые громогласно объявлялись им идеологические основы Русского Освободительного движения и пути практического осуществления их.

Именно отсюда тысячами пропагандистов они разносились во все уголки и проникали в толщу 70-миллионного населения оккупированной немцами части Советского Союза, в лагеря военнопленных и добровольцев РОА, передавались на «ту» сторону.

Поэтому неудивительно, что первая антибольшевицкая конференция бывших командиров и бойцов Красной армии, вставших в ряды Русского Освободительного движения, состоялась именно здесь. Редактор газеты «Заря» М. А. Зыков — инициатор и организатор этой конференции — прекрасно понимал именно эту роль Дабендорфа и весьма ценил его, как распространителя идей А. А. Власова. Основной доклад на конференции сделал генерал-майор Василий Федорович Малышкин, один из ближайших сотрудников А. А. Власова.

2. О генерале Благовещенском

Следует отметить, что в печатаемом ниже отчете газеты «Заря» об этой конференции совершенно не упоминается имя генерал-майора Благовещенского — тогдашнего начальника Курсов пропагандистов РОА. (Генерал-майор Ф. И. Трухин

тогда только что прибыл из лагеря Вустрау и был назначен заместителем Благовещенского по учебной части). Такой «странный» факт, конечно, требует объяснений.

Нацистская политика по отношению к народам России и постоянное противодействие их всему, что касалось развития РОД, оказывали свое пагубное влияние не только на русских вообще, но даже и на участников Освободительного движения. У них опускались руки, притуплялось стремление к активной борьбе против большевизма, они даже отходили в сторону от этой борьбы. Такие настроения овладели генералом Благовещенским в апреле 1943 года. Поводов было много... Генерал Благовещенский не присутствовал на конференции и остался в своем кабинете, отказавшись выступить с речью. Это был первый открытый протест Благовещенского против восточной политики нацистов и вообще сотрудничества с немцами. В дальнейшем, генерал Благовещенский почти полностью отстранился от участия в Русском Освободительном движении.

3. «Заря» о конференции

Ниже приводится передовая статья «Зари», посвященная этой конференции:

ЗА МИР, ЗА НОВУЮ РОССИЮ!

АНТИБОЛЬШЕВИЦКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БЫВШИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ КОМАНДИРОВ И БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ, СТАВШИХ НА ПУТЬ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Зал переполнен. Оживленно беседуют между собой вчерашние военнопленные, ныне пропагандисты Русской Освободительной Армии. Выделяются покрытые загаром лица фронтовиков. Входят группы кубанских казаков, в туго перетянутых черкесках, рослые донцы в шароварах с яркими лампасами. Вдруг шум стихает. От имени редакции газеты «ЗАРЯ» М. А. Зыков открывает первую антибольшевицкую конференцию бывших русских военнопленных, командиров и бойцов красной армии, ставших на путь освободительной борьбы. На конференции присутствует свыше 600 человек.

Конференция посылает приветствие вождю Русского Освободительного движения генерал-лейтенанту А. А. Власову.

За столом президиума занимают места генерал-майор Ма-

лышкин, редактор газеты «Доброволец» Г. Н. Жиленков, майор Федоров, подполковник Поздняков, майор Пшеничный, лейтенант Крылов, солдат Коломацкий и другие.

Председательствующий слово для доклада предоставляет генерал-майору Василию Федоровичу Малышкину.

Докладчик обстоятельно рассказал о первых этапах Русского антибольшевизского освободительного движения, зародившегося в широких массах народа и достигшего таких размеров, что оно превратилось в один из решающих факторов войны против большевизма. Вождем и вдохновителем этого движения является генерал-лейтенант А. А. Власов, поднявший знамя народной борьбы против большевизма. Генерал Малышкин подчеркнул то обстоятельство, что наше движение получило уже мировую известность. Нами не только интересуются наши друзья, — говорит генерал, — но с нами должны считаться и наши враги. На протяжении полутора часов в зале царит напряженная тишина, никто не хочет пропустить даже единого слова.

Генерал-майор Малышкин закончил свой доклад словами вождя Русского Освободительного Движения генерала Власова:

«Дело русских, их долг — борьба против Сталина, за мир, за Новую Россию. Россия — наша! Прошое Русского народа — наше! Будущее Русского народа — наше!» Все присутствующие громкими аплодисментами выражают свое полное согласие с докладчиком, свою солидарность и единодушие.

На заседании выступали подполковник Поздняков, подполковник Соболенко и фельдфебель Барзыкин. Их выступления выражали волю множества Русских людей и единство Русского народа в его борьбе с большевизмом. Конференция приняла резолюцию, намечающую дальнейшие пути развития Русского Освободительного Движения. Подробный отчет о конференции будет напечатан в ближайших номерах «Зари». («ЗАРЯ», № 29, апрель 1943 г.)

4. Биография генерал-майора Василия Федоровича Малышкина

К сожалению, полная биография В. Ф. Малышкина еще не написана. Известно, что он родился в г. Новочеркасске в семье служащего — бухгалтера. Окончил гимназию и затем военное училище во время первой мировой войны. Будучи подпоручиком, в 1917 году, присоединился к революции.

Небольшого роста, коренастый, с насмешливыми серыми глазами, очень вежливый и веселый, он заражал людей своим оптимизмом. Энергичный и с непреклонной волей, М. как-то даже ласково умел требовать и заставлять людей выполнять эти требования. Развитой во всех отношениях, очень умный, М., когда это было нужно, становился весьма серьезен, но никогда не был педантичен и не придирался к мелочам. Многие считали его прекрасным штабным офицером и относились к нему с большим уважением.

Его служба в частях Красной армии, в первый период революции, не выяснена. Кажется, он вступил в партию, но более вероятно, судя по его характеру и по тому, что М. не был произведен в генералы и оставался «комбригом», что он был беспартийным. В тридцатых годах М. окончил Военную академию имени Фрунзе и был зачислен в штат преподавателей. Затем был переведен в штаб Сибирского военного округа, где занимал должность начальника штаба; в 1937 году, был арестован по делу Тухачевского. Показаний никаких не дал и по недоказанности обвинения, спустя 14 месяцев, был освобожден. Вернулся на преподавательскую работу в академию. Во время войны назначен начальником штаба 19-й армии, в которой я служил начальником химслужбы корпуса. Под Вязмой попал в плен к немцам.

Осенью 1942 года, М., будучи ярым антибольшевиком, уже работал преподавателем курсов пропагандистов в Вульхайде и жил в одной комнате со мной. К сожалению, мы мало говорили о жизни и службе в Красной армии. Даже про свой арест М. говорил неохотно. Вообще, тогда не было принято излишнее любопытство.

В один из декабрьских приездов М. А. Зыкова, М. и генерал Благовещенский были информированы о проекте создания Русского Комитета и, примерно к концу декабря 1942 года, переехали в Берлин, на Викториаштр. 10. Там они встретились с генерал-лейтенантом А. А. Власовым.

Василий Федорович Малышкин стал одним из ближайших сотрудников А. А. Власова. 28 февраля 1943 года, М. привел к присяге группу лиц, бывших военнослужащих Красной армии, откомандированных из Вульхайде для организации Курсов пропагандистов РОА в Дабендорфе, и освобожденных из плена. М. вошел в состав Русского Комитета организованного,

якобы, в Смоленске и подписал знаменитые 13 пунктов Смоленского манифеста. После отклонения тогдашним министром восточных областей Розенбергом проектов значка РОА, именно М. предложил использовать Андреевский флаг. Когда А. А. Власов переселился на Кибитсвег (Берлин), М. стал жить вместе с ним, принимая самое непосредственное участие во всех делах Андрея Андреевича.

12 апреля 1943 года, М. прочитал основной доклад о задачах Русского Освободительного движения на конференции бывших военнопленных в Дабендорфе. Этот доклад, в основном, он повторил в Париже 24 июля 1943 года. Вторично, М. посетил Париж только в сентябре 1944 года, пытаясь помочь русским добровольцам Восточных батальонов, переведенных на Атлантический вал, и попавших в исключительно тяжелое положение при отступлении немцев.

После создания КОНР, М. возглавил Организационное управление им, став заместителем А. А. Власова. Вторым заместителем Андрея Андреевича был генерал-майор Ф. И. Трухин. Фактически, руководя до этого времени так называемым Орготделом, М. подготовил все необходимое для развертывания работы КОНР. Не его вина, что эта работа была сорвана немцами...

По полномочию А. А. Власова, М. (вместе с капитаном Штрик-Штрикфельдом) остался в Фюссене (Германия) и в апреле 1945 года, как глава делегации, был принят командующим 7-й американской армией генералом Пэч, занявшем в то время западные области Германии.

О последних днях М. известно немного. После приема у генерала Пэч, М. был арестован в самом конце апреля и 2 мая 1945 г. препровожден в г. Аугсбург, где находился лагерь опросного центра 7-й американской армии. Находясь в этом лагере, М. (вместе с генералом Жиленковым) написал несколько докладов об Освободительном движении и его задачах. Через командование опросного центра, они были направлены в штаб генерала Айзенхауера и затем в Вашингтон. Ответа, конечно, не последовало... Позже, генералы с группой офицеров РОА (по свидетельству капитана В. Денисова) были переведены в местечко Зекельхайм под Маннхаймом. В конце октября 1945 г., генералы были направлены в опросный лагерь Оберурсель (под Франкфуртом-на-Майне). 24-26 марта

1946 г., генерал В. Ф. Малышкин (и вероятно, генерал Жиленков), под охраной советского конвоя, перевезены на грузовой машине из Оберурселя в неизвестном направлении... 2 августа 1946 г. генерал Малышкин, вместе с А. А. Власовым и другими генералами и полковниками, был повешен в Москве, во дворе внутренней тюрьмы НКГБ.

5. Доклад В. Ф. Малышкина: «Задачи РОД»

а) Итоги движения

Свой доклад М. начал с утверждения, что в настоящее время уже есть достаточное количество данных для того, чтобы подвести первые итоги Русского Освободительного движения. Он констатировал не только популярность движения в широких массах, но и тот факт, что сейчас замолчать развивающееся движение уже нельзя ни большевикам, ни немцам. Теперь надо говорить о ближайших задачах движения чтобы оно разрасталось все шире и шире, чтобы все наши люди, получив твердые идеологические основы, ясно представляли бы за что они борются.

Письмо генерал-лейтенанта А. А. Власова нашло горячий отклик среди военнопленных, населения освобожденных от большевизма областей, среди рабочих, приехавших в Германию, а также и по ту сторону фронта. «Даже во время развития большевицкого наступления на южном фронте, русские люди переходили с нашими листовками, как с пропусками, на сторону Германской армии, переходили добровольно, причем заявляли, что если бы они знали, что против них стоят отряды Русской Освободительной Армии, то они давно покинули бы ряды Красной армии».

О Русском Освободительном движении пишут иностранные газеты. Даже официальное английское агентство «Рейтер» указывает, что движение возглавляет генерал-лейтенант А. А. Власов. Характерна и позиция, занятая Сталиным. «Он не рискует объявить генерала Власова изменником, зная, что широкие массы народа этому не поверят. Как показывают последние военнопленные, через политаппарат он «разъясняет» бойцам и командирам Красной армии, что генерал Власов вообще никогда не попадал в плен, что ему удалось выйти из окружения и он в настоящее время находится в глубоком тылу

на излечении, так как он вышел из окружения в очень плохом состоянии здоровья.

б) Причина успеха движения

За короткий срок движение приняло широкий размах. Это объясняется тем, что идеи, изложенные в письме генерала Власова, «не являются кабинетными мечтами одного человека, они действительно отражают стремления и чаяния Русского народа, действительно взяты из сокровищницы народных дум».

Почему же эти идеи оказались столь близкими для Русского народа? Потому что «большевизм всегда был, есть и останется непримиримым врагом Русского народа, таким врагом, при власти которого никакого счастья Русского народа быть не может».

Однако, в 1917 году большевики победили. Большевицкая партия хорошо понимала стремление Русского народа к лучшему будущему и выдвинула лозунги, действительно близкие Русскому народу. Ими являлись: скорейшее окончание войны; мир без аннексий и контрибуций; ликвидация сословных и имущественных привилегий; предоставление политической власти рабочим и крестьянам; передача земли крестьянам. «Не вина народа в том, что большевизм использовал эти лозунги в антинародных интересах, использовал народную революцию для осуществления своих целей».

«Народ наш никогда не мирился с тем рабством, в котором он очутился вслед за укреплением большевизма в нашей стране и боролся против кабалы большевизма...» Однако, разрозненные вооруженные восстания были потоплены в крови Русского народа — у Сталина был налаженный аппарат государственной власти, армия и специальные войска НКВД.

«Существует кое у кого мнение будто Русский народ и другие народы нашей страны оказались слабыми и неспособными ни на какой протест против большевизма. Распространялась ложь, якобы народ наш терпеливо сносил все, что предпринималось по отношению к нему большевиками. Если бы дело обстояло таким образом, наша страна не была бы покрыта сетью концентрационных лагерей. Русский народ боролся все время против советской власти, и сейчас эта власть, естественно, не вызывает в нем симпатий».

На протяжении всего своего существования большевизм доказал свою антинародную сущность...

«Не осуществил своих обещаний большевизм и в отношении рабочих, которых он сделал буквально крепостными рабами; не осуществил он своих обещаний и в области крестьянской, так как земля не оказалась в руках крестьян, крестьянин лишился возможности распоряжаться плодами своего труда. Большевизм не осуществил своих обещаний и в отношении интеллигенции, творчество которой он подчинил идеям вульгарного материализма. Огромное количество лучших Русских из всех слоев народа подвергалось гонениям, террору, который в диком своем разгуле достиг таких размеров, которых никогда еще до сего времени не знала история. И потому, естественно, что наше движение сейчас направлено на уничтожение советской власти».

в) О национальном вопросе

М. не собирается развертывать программу строительства будущей новой России, но на некоторых принципиальных положениях, намечающих вехи этого строительства он останавливается. В частности, на национальном вопросе, на котором большевики в свое время не плохо сыграли. Они создали иллюзию будто национальные свободы в СССР осуществлены. М. отмечает, что не требуется больших доказательств того, что в Советском Союзе никаких национальных свобод на деле не осуществлено.

«Мы считаем, что национальная свобода в будущей России действительно должна быть практически осуществлена. Коротко нашу позицию в этом вопросе, как уже говорил генерал Власов, можно сформулировать таким образом: национальная свобода вплоть до самоопределения, вплоть до отделения».

«Значит ли это, что этот вопрос надо практически разрешить немедленно? Нет. Думается, что попытки практического разрешения этого вопроса сейчас, в самом начале нашего движения, до окончательного разгрома большевизма, привели бы только к ослаблению освободительной борьбы. Это значило бы направить наше Освободительное движение по узко национальным каналам. Это значит раздробить наши силы уже в самом начале борьбы, а не добиваться объединения всех

антибольшевицких сил, стоящих на позициях наших идей». «Мы совершенно открыто говорим: мы стоим на той точке зрения, что в Новой России должна быть осуществлена национальная свобода вплоть до самоопределения, вплоть до отделения. Однако, эта задача может быть разрешена лишь после решения основной, самой главной, задачи — свержения большевизма, уничтожения власти Сталина».

г) Крестьянский вопрос

«Крестьянин должен получить в свою частную собственность землю и на ней трудиться так, как он хочет». Однако, М. считает, что аграрная политика должна быть связана с интересами самого крестьянства в том смысле, чтобы формы частновладельческого сельского хозяйства наиболее выгодно сочетались с возможностью использовать современную агротехнику. Это предусматривает наличие в частном сельском хозяйстве таких форм кооперации, которые, не ущемляя частной инициативы в сельском хозяйстве, способствовали бы тому, чтобы частная инициатива нашла бы наибольшее применение.

Конечно, передача земли в собственность крестьянству должна быть проведена планомерно, т.е. организована государством.

д) Рабочий вопрос

«Большевики все время говорили, что в Советском Союзе, в стране, где якобы построен социализм, где нет классов, нет классовой борьбы и частной собственности на средства производства — нет и эксплуатации. Большевики ставили вопрос таким образом: если нет частной собственности на средства производства, если нет классов, то кто же кого эксплуатирует? Никакой эксплуатации, мол, у нас и не может быть. А я спрошу вас: было ли рабочему в СССР легче от того что перестали, якобы, существовать классы? Получал ли он за свой труд хотя бы столько, чтобы не быть обеспокоенным за свое материальное благополучие? Нет, конечно, не получал. У него отбирали столько, что он не только не был обеспечен прожиточным минимумом, но и подвергался действительно жесточайшей эксплуатации со стороны советской власти».

М. говорил, что надо создать рабочему такие условия труда, которые явились бы основой для систематического ро-

ста его благосостояния. Государство должно стоять на страже интересов рабочего и следить за тем, чтобы рабочий действительно получал бы столько, сколько нужно для его материального благополучия.

Затем, М. отмечает, что промышленные предприятия, построенные за годы большевизма, должны быть государственной собственностью. Это не значит, что в промышленность не будет допущен частный предприниматель. Однако, восстановление промышленных предприятий, разрушенных в ходе войны, должно взять на себя государство, так как никакому частному предпринимателю это будет не под силу. На привлечение же частной инициативы, если это будет в интересах народа, государство, конечно, пойдет.

е) Отношение к интеллигенции

«Интеллигенции должна быть создана такая обстановка, в которой она могла бы в действительности заниматься свободным творчеством, направленным опять-таки на благо народа. Другой постановки вопроса и не может быть. Не может быть такого положения, чтобы интеллигенция занималась творчеством в узких рамках какой-либо определенной доктрины и из этих рамок выйти не могла».

Дальше, М. говорил о том, что частная инициатива должна проявляться не только в сельском хозяйстве и промышленности, но она должна быть допущена и в торговле, в кустарных промыслах, в ремеслах. Только тогда свободная частная инициатива будет содействовать росту благосостояния всего народа.

ж) Возвращение Русского народа в семью европейских народов

«Новая Россия будет построена в союзе с Германским народом и другими европейскими народами. Мы говорим об этом совершенно открыто, совершенно честно, не держа камня за пазухой. Мы считаем, что сейчас вопросы строительства Новой России не могут быть иначе разрешены. Я говорю о союзе Русского и Германского народов, как о необходимом условии для победы над большевизмом — с одной стороны, а с другой — как о необходимом условии строительства Новой России после этой победы. Мы, в первую очередь, конечно, заинтере-

сованы в разрешении наших национальных задач, но строительство Новой России возвращает нас в семью европейских народов, от которых мы были в течение 24 лет, из-за большевицкого гнета, насильственно оторваны. Наш народ имеет право занимать среди европейских народов соответствующее ему почетное место. Европа также заинтересована в том, чтобы Русский народ был возвращен в семью европейских народов. Европейские народы смотрят на Русский народ таким образом, что он может обогатить своим собственным опытом, своею самобытностью, своими огромными хозяйственными возможностями европейские народы, и возвращение Русского народа в семью европейских народов одинаково выгодно как для Русского народа, так и для европейских народов».

з) Последовательность разрешения задач движения

«Свержение власти Сталина и его клики — это первая и ближайшая задача; заключение почетного мира с Германией, мира, который не должен принести кабалу нашему народу — мы за почетный мир с Германией! И затем — строительство нашей Новой России, в союзе с Германским народом и другими народами Европы».

и) Отношение к эмиграции и белому движению

«Нам часто задают вопросы, как мы относимся к эмиграции. Мы должны здесь прямо ответить на эти вопросы: белое движение возникло, как движение против советской власти. Это совершенно правильно. Но это движение не несло прогрессивных начал для Русского народа, это движение было, в лучшем случае, безидейным движением, а чаще всего — это было движение, направленное к реставрации старой дворянско-помещичьей России. И поэтому-то белое движение с самого начала своего возникновения было обречено на неудачу, поэтому-то на сторону белого движения не встал Русский народ, который прекрасно понимал, что возврата к царизму, к старым порядкам не может быть. Наоборот, лозунги, выдвинутые большевизмом, на фоне белого движения значительно выиграли и это помогло большевизму увлечь Русский народ за собой, за своими лозунгами. Бывшим участникам белого движения мы можем совершенно определенно сказать: тот, кто думает о реставрации сословных и имущественных привилегий, тот, кто

думает о реставрации отживших государственных форм — тому с нами не по пути, тех мы не можем принимать в свои ряды. Наше движение — движение прогрессивное, наше движение, — это уже теперь совершенно ясно, — отвечает чаяниям Русского народа, оно ему близко. Это движение в своих идеях глубоко народное, и потому оно народом поддерживается, и тот, кто не стоит полностью на платформе Освободительного движения, тот и не может рассчитывать быть принятым в наши ряды. Но при этом мы должны еще и другое сказать: эмиграции, как единого целого, в настоящее время не существует. За 25 лет выросло новое молодое поколение. Вообще эмиграция сейчас представляет собой явление чрезвычайно разнообразное по своим настроениям. И тот, кто стоит на платформе идей Русского Освободительного движения, того мы принимаем в свои ряды с распростертыми объятиями. Тот же, кто наши идеи не воспринимает, тот, кто не является нашим единомышленником, тот в наши ряды принят быть не может. Только такое отношение к этому вопросу может быть».

к) Отношение к бывшим членам партии

«Среди присутствующих здесь есть немало бывших членов партии, есть и политработники, есть большое количество комсомольцев. Не может быть ко всем бывшим членам партии огульного подхода. Мы должны усвоить совершенно трезвую точку зрения в этом вопросе. Тот, кто честно воспринимает наши идеи, тот, кто хочет честно бороться в наших рядах, тот, кто отказался от тех идей, проводником которых он был до этого времени, тот в наших рядах найдет себе подобающее место».

М. подчеркивал, что не может быть и речи о таком же отношении к активным противникам Русского народа, к агентам НКВД, которые участвовали в различных карательных отрядах и органах. «Мы смотрим на них, как на врагов Русского народа, как на активно боровшихся против Русского народа, приложивших свою руку к делу угнетения и уничтожения лучших русских людей».

л) О создании РОА

М. считает РОА важнейшим фактором борьбы с большевизмом, под знамена которой должен встать каждый честный

русский человек. Он честно и откровенно констатирует: «Если вы спросите меня о том, существует ли сейчас армия, какой мы ее хотим видеть, то надо прямо сказать: еще нет. Она существует только в зачаточном состоянии. И дело здесь не в том, что в ее рядах мало людей, а в том, что она не имеет еще идейного единства и целостности. Наша задача и заключается в том, чтобы вооруженные ряды русских людей, становящихся на путь открытой борьбы против большевизма, беспрерывно множились, чтобы каждый честный русский человек видел свой долг в том, что он должен стать под знамена Русского Освободительного движения и крепить мощь РОА с точки зрения ее идейного единства».

М. уверен, что РОА, являясь новой силой, будет иметь решающее значение в борьбе против большевизма. «Мы твердо верим и знаем, что Русский народ найдет в себе достаточно сил для этой борьбы, как он всегда находил их в тяжелые дни своего исторического развития».

Свою речь генерал-майор Василий Федорович Малышкин заканчивает словами инициатора и вождя движения — словами генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова из его открытого письма:

«Дело русских людей, их долг — борьба против Сталина, за мир, за Новую Россию. Россия — наша! Прошлое русского народа — наше! Будущее Русского народа — тоже наше!»

(По материалам газеты «Заря» от 18 апреля 1943 года, № 30).

6. Резолюция по докладу В. Ф. Малышкина

Эта резолюция была подготовлена и написана редактором газеты «Заря» М. А. Зыковым. Приводим ее с самыми незначительными сокращениями:

РЕЗОЛЮЦИЯ

принятая 12 апреля 1943 года на I-й антибольшевицкой конференции бывших командиров и бойцов Красной армии, ставших в ряды Русского Освободительного движения.

Мы, бывшие командиры и бойцы Красной армии, оказавшиеся в плену и сейчас вступившие в ряды освободительного движения, в этом документе хотим выразить свое отношение

к большевизму, вот уже четверть века угнетающему нашу Родину. Большинство из нас выросло и сформировалось в условиях Советской власти, возмужало и прожило свою сознательную жизнь под властью большевиков. Мы учились в советских школах и высших учебных заведениях, служили и работали в советских учреждениях и предприятиях, честно выполняли свой долг солдат и офицеров в рядах Красной армии. И вот теперь, став под знамена борьбы против большевизма, мы должны дать правдивый ответ на вопрос — почему мы это сделали? Почему мы встали на этот путь?

Не только под влиянием личной обиды, не только в силу личных чувств, борьбу против большевиков мы признали своим святым долгом. Не личная ненависть руководит нашими сердцами. Нет! Каждый из нас, плоть от плоти и кровь от крови Русского народа, сын своей страны, хорошо знает каким мучением, какой пыткой для нашей Родины была власть большевиков, власть Сталина и его клики. Мы хорошо видели, какие неисчислимые бедствия принес большевизм Русскому народу и другим народам нашей страны. Подневольный труд в городе, рабское состояние в коллективизированной деревне, пытки и муки в застенках и концентрационных лагерях, все бедствия нищеты и бесправия увенчались для Русского народа последним величайшим бедствием — вовлечением в войну. За что? За то, чтобы Сталин и его клика продолжали угнетать Русский народ? За власть большевиков над миром?! Ведь за это сейчас вынужден проливать кровь и отдавать жизнь лучших своих сыновей Русский народ! И не долг ли каждого честного русского человека, видящего это, грудью стать на борьбу за освобождение нашей Родины от большевицкого ига, за прекращение кровопролитной войны, за создание Новой России, в которой мог бы построить свое счастливое будущее наш народ.

Большевизм — враг Русского народа и других народов нашей страны. Разумом и сердцем, всем своим существом мы ненавидим большевизм, как ненавидит его весь наш народ. 25 лет длилась власть большевиков и 25 лет шла кровавая, жестокая, непрекращающаяся борьба между народом и узурпаторской властью. Ни расстрелы, ни тюрьмы, ни концентрационные лагеря не могли заставить Русский народ склонить голову перед большевизмом, как ни пропаганда, ни насиль-

ственно прививаемая идеология не могли русских людей сделать большевиками. Мы были и остались Русскими! Но в условиях чудовишной системы террора, шпионажа, самим, без помощи извне, нам не удавалось объединить свои усилия для свержения ненавистной антинародной власти. Только теперь, опираясь на помощь Германского народа, поднявшего знамя борьбы против большевизма, как мирового зла, русские люди получили, наконец, возможность осуществить свою мечту.

Наши стремления, наши думы и мысли в борьбе против большевизма, о прекращении войны и заключении почетного мира с Германией, о строительстве Новой России без большевиков и капиталистов — мы нашли выраженными в открытом письме генерал-лейтенанта А. А. Власова. Он является выразителем наших чаяний, выразителем дум и чаяний всего Русского народа. Именно в этом, в глубокой народности — значение его идей, их сила. Письмо генерала Власова зовет нас не назад, не к отжившим формам свергнутого революцией старого мира, а вперед, к завершению национальной народной революции, к строительству будущего нашего государства.

Мы знаем генерала Власова, мы верим ему! Мы свято верим в идеи великой освободительной борьбы Русского народа! Мы знаем, что только на путях освободительной борьбы Русский народ может создать свое счастливое будущее. Это светлое будущее нашего великого народа будет построено нами, русскими людьми, под водительством и руководством лучших людей Русского народа во главе с генералом Власовым, в честном, взаимно выгодном и исторически обоснованном союзе с Германией, в равноправной семье свободлюбивых народов Европы.

Мы знаем, что от нас самих, от русских людей, зависит счастье нашего народа. Оно не дается легко, оно завоевывается в жестокой борьбе. Но мы верим и знаем, что эта борьба будет поддержана всем народом, ибо это борьба за правое, святое дело. Мы знаем, что от исхода нашей борьбы зависит жизнь и счастье матерей и жен, наших отцов и братьев, зависит счастье всего нашего народа. А за это не жалко отдать свою жизнь, свою кровь!

Нас не страшат трудности, не страшат жертвы, которые от нас потребует борьба против большевизма — смертельного врага Русского народа. Нами руководит великая идея стро-

ительства Новой России, руководит стремление к свободе и счастью, к справедливости и миру. Нам указывает путь великое прошлое нашего народа. Нас ведет на борьбу испытанный в боях наш русский человек. И мы победим!

Мы призываем всех русских людей становиться под знамена освободительного движения. Русские люди! Друзья и братья! Вставайте на борьбу против большевизма! Где бы вы ни были — по эту или по другую сторону фронта, в лагерях военнопленных или в рядах Красной армии — слушайте наш голос, слушайте голос своего сердца! Боритесь за прекращение войны, за заключение почетного мира с Германией! Сражайтесь за Новую Россию, за счастье Русского народа! Крепите мощь Русской Освободительной армии — борца за Русское дело.

Довольно голода, подневольного труда и мучений в большевицких застенках Довольно проливать народную кровь за чужие интересы!

Россия — наша! Прошлое Русского народа — наше! Будущее Русского народа — наше!

На бой за святое дело нашей Родины! На смертный бой за счастье Русского Народа! («Заря», 18 апреля 1943 года, № 30).

7. Речь В. Ф. Малышкина в зале Ваграм в Париже

Генерал Малышкин и полковник Боярский приехали в Париж из Берлина вечером 15 июля 1943 года. 17 июля они были гостями французского Антикоминтерна, от имени которого выступил устроитель собрания г. Лекок. Затем, М. и полковник Боярский были на банкете Морского собрания, организованного русскими моряками Парижа, а позже посетили русский корпус и генерала Н. Головина.

24 июля 1943 года, в зале Ваграм, состоялось собрание русских эмигрантов, на котором и произнес свою речь генерал Малышкин. В зале было около 4000 русских и иностранных гостей. Речь генерала продолжалась около часа и неоднократно прерывалась аплодисментами. В основном, генерал М. повторил свою речь, произнесенную в Дабендорфе, — на первой антибольшевицкой конференции. Приводить ее нет смысла, так как Ю. Жеребков — тогдашний руководитель русской эмигра-

ции в Париже — «причесал» ее, вставив в эту речь необходимые, с точки зрения национал-социализма, антисемитские выражения, с которыми она и была опубликована в газете «Парижский Вестник». В частности, был искажен и лозунг Освободительного движения о строительстве Новой России без большевиков и капиталистов. Нет нужды доказывать, что если В. Ф. Малышкин в центре Германии — в Дабендорфе — при контроле национал-социалистической партии, говорил о Новой России без большевиков и капиталистов, не упоминая об евреях, то тем более во Франции он мог повторить этот лозунг без антисемитских добавлений.

По свидетельству тогдашнего «надзирателя» от национал-социалистической партии за действиями генералов А. Власова и В. Малышкина — С. Фрейлиха, перед приездом М., на Викториаштр. 10 состоялось совещание, (на котором присутствовали С. Фрейлих, фон Гроте, Дирксен и др.), о том, что делать в связи с речью М. в Париже. Было решено, что С. Фрейлих приедет встречать М. на вокзал и информирует его об озабоченности немцев с Викториаштр. Эта озабоченность была вызвана пунктом о «целостной России», якобы, содержавшемся в речи М. Когда В. Ф. Малышкин приехал на Викториаштр., он заявил, что переводы его речи не соответствовали действительности и обещал на следующий день представить конспект своей речи. Отдел фон Гроте не был заинтересован раздувать этот конфликт и потому дело для М. на этом и закончилось. Слухи о последовавших репрессиях в отношении М. лишены оснований.

Однако были и «пострадавшие...» Ими явились капитан Белов (профессор Гротов) и поручик РОА Н. Давиденков. Капитан был подчинен Командующему добровольческими восточными частями и потому А. Власов ничего с ним не мог сделать. Поручика же Н. Давиденкова за его выступления, направленные против евреев, 27 июня в Брюсселе и 17 июля 1943 г. в Гомон-Палассе на собрании французского Антикоминтерна, генерал А. Власов приказал отчислить из Дабендорфа, что и было сделано. Н. Давиденков был переведен в Италию, в казачий стан генерала Доманова. Позже, он был выдан большевикам и погиб в концентрационном лагере.

В. Поздняков

ИЗ АРХИВА П. Б. СТРУВЕ

ПУБЛИКАЦИЯ Г. П. СТРУВЕ

Печатаемый ниже документ сохранился среди бумаг моего отца, полученных мною в Париже от моего покойного младшего брата Аркадия (1905-1951), который много лет исполнял при отце секретарские обязанности — и в Праге, и в Париже, и в Белграде.

Документ сохранился в трех видах: 1) собственноручной рукописи П. Б. Струве (12 небольших листков писчей бумаги; на заглавном листке рукой П. Б. карандашом написано: **Меморандум**; подписи под документом нет); 2) двух машинописных копий этого «Меморандума» (четыре страницы, без заглавия, с несколькими внесенными рукой П. Б. небольшими исправлениями и вставками иностранных терминов в первой копии; во второй копии те же исправления и вставки сделаны моей рукой); и 3) машинописи английского перевода того же текста.

Ни на одном из этих вариантов документа нет даты. Есть основания думать, что «Меморандум» относится ко второй половине 20-х годов — всего вернее, к 1926 году, и во всяком случае к тому времени, когда П. Б. редактировал в Париже газету «Возрождение». Он мог быть составлен для организации ген. А. П. Кутепова, с которой П. Б. работал в то время в тесном контакте. Судя по наличию в тексте английских терминов, меморандум предназначался для перевода на английский язык — иными словами, для иностранных кругов. Возможно, что он был составлен отчасти в связи с т. н. Зарубежным Съездом (но не от его имени), а отчасти в связи с лондонской конференцией т. н. Лиги Обера (международной организации, ставившей себе задачей борьбу с коммунизмом в международном масштабе). Конференция эта состоялась ранней весной 1926 года, и из переписки П. Б. Струве с А. В. Тырковой-Вильямс мы знаем, что П. Б. на ней присутствовал.

Должно быть, перевод на английский язык был сделан мною. К сожалению, отчетливого воспоминания об этом эпизоде у меня не сохранилось, и это затрудняет более точное датирование документа. Но в 20-х годах, живя в Париже и работая в Русском Национальном Комитете, а потом в газетах «Возрождение», «Россия» и «Россия и Славянство», я довольно часто делал такие переводы не

только для отца, но и для канцелярии ген. А. П. Кутепова — по заказу заведывавшего ею кн. Сергея Евгеньевича Трубецкого. И я узнаю свою машинку в английском тексте.

М Е М О Р А Н Д У М

Настоятельной задачей времени является для русского Зарубежья, в согласии с живыми силами Внутренней России, разумное объединение усилий для возрождения России.

Для такого объединения необходимо 1) сознательное стремление к этой цели; 2) отчетливое устранение всего, что разъединяет, и тем самым 3) сосредоточение всех усилий только на главном и объединяющем.

Для осуществления этой большой задачи в Зарубежье должно быть создано общественное мнение, признающее, что возрождение России должно быть построено на здоровых началах всеобщего равенства перед законом, личной свободы (субъективных публичных прав), народного представительства и широкого социального законодательства в пользу народных масс, с полным сохранением частнохозяйственной свободы и неприкосновенности частной собственности. Для установления такого порядка вещей в такой взрытой революцией и в то же время культурно отсталой стране, как Россия, необходим отказ от социальной контр-революции и установление сильной власти, первейшей своей задачей признающей охрану законности управления и индивидуальных прав граждан. Через 10 лет после революции всякая механическая реставрация прежних имущественных прав была бы утопией, попытка осуществить которую потребовала бы кровопролития, и притом совершенно бесплодного. Практически это означает, что то распределение земли, которое установилось в результате революции 1917-го и последующих годов, не может быть устранено никаким новым принудительным перераспределением этой земли, хотя бы таковое опиралось на прежние легальные титулы.

Сейчас никто не может предусмотреть, какая форма правления будет избрана русским народом на основании его свободного волеизъявления (*free vote*). Поэтому и монархисты и республиканцы, если они не проникнуты догматическим фанатизмом, могли бы объединиться для сосредоточения своих усилий на борьбе с коммунистическим игом, одинаково несов-

местимым со всеми формами свободного, или демократического устройства, будь то конституционная монархия, опирающаяся на права человека и гражданина и на народное представительство, или подлинная народная республика.

В настоящее время в России господствует партийная олигархия коммунистической партии, не только ничего общего не имеющая с настоящей демократией, но и в корне несовместимая с развитием в направлении к правовой демократии.

Есть еще две области вопросов, в которых нужна полная ясность. В каких бы пределах ни восстановилась будущая Россия («Держава Российская») и в какие отношения к ней ни вступили бы вновь образованные в эпоху революции окраинные государства, — во всяком случае то, стоящее на почве права и демократии, русское общественное мнение, которое мы представляем, не мыслит себе никаких насильственных мер по отношению к этим окраинным государствам.

Мы глубоко убеждены, что все части бывшей Российской Империи объединены жизненными экономическими интересами и что эта общность экономических интересов должна в будущем укрепить между ними многообразные связи. Ни о каком насильственном восстановлении прежнего единства Российской Империи сейчас никто из ответственных русских патриотов не думает. Наоборот, восстановление и укрепление и самых жизненных экономических связей мыслится лишь в форме добровольных соглашений, в форме какого-то *Covenant'a* всех прежних частей бывшей Империи Российской.

А засим ни о каком национальном или религиозном угнетении в пределах будущего свободного и демократического Российского *Commonwealth'a*, будет ли он монархией или республикой, не может быть и речи. Мы не делаем себе никаких иллюзий насчет того, что большевицкая тирания психологически весьма усилила в России взаимное отталкивание разных национальностей и даже вероисповеданий, усилила и обострила разные «национализмы». В частности, в огромной мере усилился в России антисемитизм. В случае неизбежного крушения большевиков этот антисемитизм может вызвать крайне нежелательные эксцессы. Предотвратить и смягчить такие может только сильная власть, опирающаяся на народное признание, проникнутая началами права и широкой национальной и вероисповедной терпимостью.

Мы являемся не только противниками эксплуатации в борьбе с большевизмом народных страстей против евреев, но и полагаем, что для противодействия антисемитическим идеям и страстям, развивающимся с поразительной и неудержимой силой в России под влиянием все растущего глухого недовольства против большевицкой тирании — что для такого противодействия прямо необходимы два условия:

1) лояльный отказ противобольшевицкого общественного мнения, как за рубежом, так и внутри России, от антисемитизма;

2) столь же лояльный отказ русского и международного еврейства от всякой, хотя бы и косвенной, поддержки мирового коммунизма, главным носителем которого является господствующая в России большевицкая власть.

Таковы те политические начала, которыми руководится, и те практические стремления, которыми задается то объединительное направление русской политической мысли, выразителями коего мы являемся.

Мы — непримиримые враги большевицкой тирании и тем самым — коммунизма и коммунистической партии.

Мы — сторонники свободного развития России и ее народов на основах демократии, понимаемой в духе великих заветов ее основателей в Европе и в Америке. Мы хотим объединения всех борющихся против большевицкой тирании русских сил на основе взаимной терпимости и уважения.

Два других документа нельзя, пожалуй, назвать документами в строгом смысле слова: они не являются неизданными и печатаются нами по историко-биографическим соображениям.

Первый из них представляет собой одну из тех осведомительных, и вместе с тем отчасти носивших принципиальный и «директивный» характер, статей, которые П. Б. Струве писал иногда для редактируемых им газет и печатал анонимно или под такими псевдонимами как «Осведомитель», «Информатор», «Слушатель», N. N. и т.п. К сожалению, у меня нет ни доступа в данный момент ко всем газетам, которые редактировал П. Б., ни полного набора вырезок всех его статей в них, хотя и имеется бо́льшая часть их. Судя по содержанию, статья, подписанная «Информатор», должна была быть написана в самом конце 1920-х годов. В таком случае она была, по всей вероятности, напечатана либо в «России», либо в «России и Славянстве» (первую из этих двух газет П. Б. редактировал; во второй он был ближайшим сотрудником, редактировалась же она

группой его единомышленников и близких ему людей). Сохранилась эта статья в бумагах П. Б. в виде рукописи, но не его рукой, а моей: П. Б. в таких случаях любил соблюдать большую конспирацию и скрывал свое авторство даже от ближайших своих сотрудников по редакции. Диктовать статьи он не любил — всегда писал их начерно сам. Вероятно, он дал мне свой черновик для переписки от руки, а потом кем-то эта статья была перестукана на машинке. На сохранившейся рукописи рукой П. Б., впрочем, вставлена фраза после заголовка: «Нам пишут из центра эмиграции» и сделано одно небольшое изменение в тексте (другие, явно авторские, изменения сделаны моей рукой).

Воспроизведение этой статьи сорок пять лет спустя после ее написания представляет, мне кажется, интерес с точки зрения биографии или, точнее, характеристики личности и взглядов П. Б. Струве в те годы: авторство его осталось неизвестно не только широкому кругу читателей, но и причастным к политике современникам (даже если кое-кто о нем и догадывался), в результате чего статья могла не обратить на себя должного внимания.

Что касается третьего документа, то это тоже одно произведение П. Б. Струве, в данном случае не только подписанное псевдонимом, но и замаскированное под письмо в редакцию. Напечатано оно было в еженедельной газете «Россия и Славянство» от 9-го апреля 1932 г. (№ 76).

Предлагая эту статью нынешнему зарубежному и внутрирусскому читателю, я руководился не только историко-биографическими соображениями. Пусть что-то из того, что писал в 1932 г. П. Б. о Советской России и о соотношении между ней и русской эмиграцией, отошло в историю. Пусть сама эта эмиграция, как какое-то единство и целое, хотя бы и раздираемое «распрями», почти перестала существовать (а может быть, и осуждена на биологическое вымирание), — сейчас, когда между остатками ее и населением России наконец начался какой-то осмос, а с оппозиционными элементами в СССР возникают даже какие-то зачатки «диалога», этим элементам не может не быть интересно узнать, как на проблему «оторванности» русской эмиграции смотрели в начале 30-х годов некоторые виднейшие руководители русского зарубежного общественного мнения, которых советская власть и ее печать огулом изображали как «черносотенцев», «помещиков» и т.д. В каком-то гораздо более существенном смысле не эмиграция была «оторвана» от родины, а население России было отрезано от эмиграции и ничего не знало ни о ее духовной, ни даже о ее политической жизни — во всяком случае после 1923-24 года, когда почти прекратился выезд свободных русских людей из России. В начале 60-х годов мне это подчеркивал один известный советский ученый, который

прочел мою книгу о зарубежной русской литературе. С этой точки зрения воспроизводимая мною статья имеет, мне кажется, не только историко-биографический, но и «злободневный» интерес.

Не случайна была подпись П. Б. Струве под его «Письмом в редакцию»: он писал не как сотрудник генералов Белой Армии, не как вдохновитель «либерального консерватизма», а как — бывший редактор «Освобождения». Конечно, весьма вероятно, что в данном случае многие догадались об авторстве — по стилю.

Г. С.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И НАСТРОЕНИЯ В ЗАРУБЕЖЬИ

Нам пишут из центра эмиграции:

Когда члены коммунистической оппозиции, настаивающие на верности социалистическим и пролетарским идеалам, высылаются в Сибирь, — Эмиграция, или Зарубежье не может не встречать с весьма смешанными чувствами такого оборота советских дел. С одной стороны, Сталин идет «направо», с другой — ведь, «справа» от коммунистической диктатуры, казалось бы, должны лежать личные «свободы» и «права человека и гражданина» и т. п. хорошие вещи. И вдруг вместо всего этого «правая» политика Сталина прежде всего облачается в формы административной высылки своих же собственных сановников — вещь, со времен ссылки Сперанского в истории России не встречавшаяся и скорее напоминающая времена Миниха и Остермана, чем даже начало XIX в. Даже супругу сановника, как покойную Анну Павловну Филосову, оставили при Александре III спокойно жить в Петербурге, хотя ее и подозревали в прямом покровительстве революционерам.

Неудивительно, что при таких обстоятельствах *никогда еще акции т.н. «возвращенства» не стояли так низко в Зарубежье, как сейчас*, хотя — рассуждая объективно — советская колесница несется стремглав куда-то «вправо».

И в то же время *в самом Зарубежье сейчас гораздо больше оживления в «левом» секторе, чем в «правом»*. Но, употребляя эти термины, ваш информатор должен оговориться, что он им не придает особого смысла и значения, прибегая к ним для краткости и упрощения изложения. Сейчас в Зарубежье обозначается в сущности такая разделительная ли-

ния: она отделяет активно-революционные — по отношению к советской власти — элементы от выжидательно-эволюционных. В какой мере элементы активно-революционные таковы на самом деле, а не на словах, — это другой вопрос. Но факт налицо: С. П. Мельгунов дальше, чем когда-либо, от П. Н. Милюкова. Между тем, все знают, что Мельгунов, как социалист, идейно «левее» Милюкова.

С другой стороны, по линии практического отношения к советской власти весьма много о себе шумящие евразийцы, конечно, ближе к официальным республиканцам-демократам, чем к элементам, которые удерживают традиционную «белую» идеологию или же прямо склоняются к той или иной разновидности монархизма. В то же время идейно-программное разногласие между евразийцами и сторонниками идей и приемов П. Н. Милюкова нельзя даже преувеличить. Это прямо — крайние антиподы. Неудивительно, что у рядового «зарубежника» не то темнеет, не то рябит в глазах от этой сложной игры программных и тактических красок, и он плохо понимает, куда его ведут люди и влекут слова.

В т. н. правом секторе происходит борьба не столько идей, сколько личных влияний. Настойчиво говорят, что в основе всего газетного спора о «Братстве Русской Правды», в который так сенсационно и «авторитетно» вмешался В. Л. Бурцев, объективно лежит давний антагонизм двух генералов.* Тот же антагонизм всецело определил будто бы и последнюю фазу разоблачений и полемики по делу о пресловутом Тресте и роли в нем Опперпута. Поскольку ваш информатор осведомлен, это толкование соответствует истинному положению вещей. Между тем, зарубежный обыватель, даже определенно «белый», вовсе и не подозревает истинной подкладки ведущихся споров. Правда, и за личными антагонизмами генералов могут стоять и на самом деле стоят какие-то серьезные разногласия об условиях и методах борьбы с большевиками. Но всё это так сплетено и запутано, личные антагонизмы, будучи весьма могущественными, так в то же время замаскированы все-покрывающим идейным согласием, что рядовой зарубеж-

* Речь, вероятно, идет о генералах П. Н. Врангеле и А. П. Кутепове. Из этого следует заключить, что статья написана не позже 1928 года. — Г. С.

ник ни в чем этом хорошенько разобраться не может. Так, по поводу выпущенного весьма предприимчивой г-жей Н. М. Полежаевой газеты «Одна Шестая», осведомленные в сложном переплете зарубежных идей, настроений, антагонизмов и интриг люди утверждают, что ее практическое направление можно определить лишь своеобразным методом исключения, т.е. не тем, против кого пишут в этой газете, а тем, против кого в ней не пишут. Но как такую вещь может понять простой неискушенный читатель?!

И объективному наблюдателю приходит в голову такая мысль: не имеют ли сложные переплеты борьбы мнений в Зарубежье, обнаруживающиеся в эмигрантской прессе, какого-то странного сходства с тем, что мы наблюдаем теперь в коммунистической партии, где в идейные формы облекается, в сущности, борьба лиц и личных влияний? В отношении т. н. правого сектора эмиграции это безусловно верно.

Есть только одна объективная разделительная линия в эмиграции, это — та, выше обозначенная, которая отделяет П. Н. Милюкова от С. П. Мельгунова (и П. Б. Струве). Все же другие деления и в правом и в левом секторе либо касаются вещей, не имеющих реального политического значения, либо носят явно личный характер. Но это последнее обстоятельство в некоторых отношениях лишь усиливает остроту этих разделений и разногласий.

Информатор

ЭМИГРАЦИЯ ДОЛЖНА ОСОЗНАТЬ НЕ СВОЮ
ОТОРВАННОСТЬ ОТ РОССИИ,
НО СВОЮ С НЕЮ СВЯЗАННОСТЬ

Письмо в редакцию

В одной недавней нашумевшей, но, на мой взгляд, весьма неудачной и даже несчастной речи, говорилось об «оторванной от родины в течение долгих лет утопающей во взаимных политических распрях» эмиграции.*

Конечно, «эмиграция» во многих отношениях оторвана от России. Это — факт самоочевидный.

* Возможно, что имеется в виду выступление ген. А. И. Деникина. — Г. С.

Конечно, в этой «эмиграции» есть «политические распри», хотя, быть может, это обозначение и слишком громко и недостаточно точно.

Но разве в этом главная беда?

Разве «эмиграция» не потому оторвана от России, что сама Россия оторвана от себя?

Ведь мы все живо помним время, когда наши близкие и друзья в С.-Петербурге узнавали друг о друге из наших писем из-заграницы! Быть может, теперь, в 1932 г., 23-ья линия Васильевского Острова и Шлиссельбургский тракт сообщаются между собою лучше и больше знают друг о друге, чем в 1921-22 гг. Но и сейчас — это можно совершенно категорически утверждать — мы за границей все-таки лучше знаем, что творится в разных концах России, чем люди, живущие в России, т.е. сама Россия.

И потому беда вовсе не в том, что *мы* оторваны от России, а в том, что *она оторвана от себя и разорвана в себе*.

Но и это сказано недостаточно сильно и недостаточно верно.

Россия не только оторвана от себя и разорвана в себе. Она задавлена. Прочтите потрясающее своей правдивостью и односложностью письмо из России, напечатанное в № 151 (от 20-го марта с.г.) «Дней» под заголовком «Пореволюционные настроения». Ведь это пишут о себе даже не задавленные, а раздавленные люди!

Когда нам, т. н. эмигрантам, указывают на наше «пораженчество», как на симптом нашей оторванности и нашей болезни, то это нас — смело говорю и за себя и за многих, со мною единомысленных — это нас весьма мало трогает.

Ибо, ведь, мы знаем нечто более основное и более тяжеловесное:

Россия, поскольку она дышит и чувствует не по указке Сталина и ГПУ, *объята этим т.н. «пораженчеством»*.

Это и значит, что дело вовсе не в нашей «оторванности» (и тем более не в наших глупых «расприх»!), а в задавленности России.

Нужно ли доказывать эту задавленность?

Нужно ли напоминать о том, что был короткий промежуток времени, когда люди, приезжавшие из России, сверху вниз смотрели на нашу «эмигрантскую» скудость, когда некоторым

из нас присылали деньги из России, тогда как теперь Россия, и городская и деревенская, вся голодает, а мы, имеющие родственников там в России, тратим последние гроши на посылки туда, для чего ненавистную нам советскую власть, через Торгсин, снабжаем валютой?!

Мы «оторваны» от России?!

Да, но не ее «патриотизмом», которого нет, и не нашим «пораженчеством», которого тоже нет, ибо самое это слово, в данных условиях, лишено всякого смысла и есть скверный звук.

Мы оторваны от нее — ее задавленностью.

Но в то же время именно ею, ее задавленностью, ее голодом, ее нищетой, мы связаны с нею.

В самом деле чем сейчас выражается для многих из нас весьма ощутительная, весьма реальная связь с Россией?

Теми жалкими крохами «валюты», которые отсюда, из-за границы, туда нами направляются.

Мы сейчас реально связаны с Россией, как бедняки связаны с нищими, которым они подают — милостыню.

Это обидно, это ужасно, но это *реальность*, а не публицистическая фраза, каковою являются слова об «оторванности» эмиграции и ее «утопании» в «политических распрях».

Но из этого напоминания о реальности вытекают, с моей точки зрения, *выводы и политические*.

Пусть мы бедны, но и политически мы, бедные, жалкие эмигранты, все-таки гораздо богаче задавленной России.

Допустим, что мы «утопаем» в «политических распрях». Из этого и из задавленности голодной России для нас вытекает следующий *отрицательный* вывод:
прекратить глупые распри.

Но из этого положения и из этого соотношения вытекает для нас вывод и *положительный*: — как мы ни бедны, но мы богаче задавленной России, мы богаче свободой, которою мы пользуемся в свободном «капиталистическом» мире, мы богаче знаниями, которых никто не может у нас отнять, мы богаче даже — деньгами.

И потому мы, сами бедняки и даже нищие, обязаны задавленной России не только — подавать милостыню в форме продовольственных посылок. На нас лежит гораздо большая и гораздо более трудная обязанность: — организация и ве-

дение реальной активной борьбы с тираннической властью, угнетающей и насилующей Россию.

«Эмиграция» должна восчувствовать и понять не свою оторванность от России, а свою с нею связанность. И, поняв эту связанность, воспринять ее не как свою слабость, а как свою силу.

И эту свою силу восчувствовать и осознать как свой — *долг борьбы.*

И этот долг исполнить и исполнять.

Старый революционер

К ВОПРОСУ ОБ «АВТОКЕФАЛИИ»

ЧЕТЫРЕ ДРЕВНИХ ПАТРИАРХА ОСУЖДАЮТ РУССКУЮ АВТОКЕФАЛИЮ В АМЕРИКЕ*

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА АФИНАГОРА ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Блаженнейший и Святейший Алексей, Патриарх Московский и всея Руси, возлюбленный и дражайший брат и сослужитель нашей верности. Мы почтительно и братски лобзаем Ваше Блаженство во Иисусе Христе и имеем честь обратиться к Вам со следующим:

Некоторое время тому назад мы были осведомлены из кругов Русской Митрополии в Нью Йорке о переговорах, которые давно ведутся между Вашим Блаженством и Митрополией для установления нормальных отношений между Митрополией и Московской Патриархией.

Наша Константинопольская Церковь, как Мать, всегда ищущая мира в лоне каждой из различных Православных Церквей, равно как соблюдения между ними уз любви, с любовью наблюдала за братскими стараниями, употребляемыми с обеих сторон для восстановления нормальных отношений и соблюдения гармонии и единства в лоне нашей Святой Православной Церкви и всегда в соответствии со Священными Канонами и церковным порядком и практикой, которая издавна стала законом.

Итак, пока мы ожидали, что, в соответствии с глубокой осторожностью Вашего Блаженства, имевшие место переговоры поведут к блаженному и мирному направлению, мы и

* В "The Orthodox Observer," Quarterly, в № за октябрь-ноябрь-декабрь 1971 г., под заглавием «Четыре древних патриархата осуждают русскую автокефалию в Америке» опубликованы на английском и греческом языках послания четырех патриархов. Мы приводим их в переводе с английского; к сожалению, из-за недостатка места с некоторыми но незначительными сокращениями. Р. Г.

наш Священный Синод, к нашему удивлению и сожалению, были недавно осведомлены из докладов нашего Высокопреосвященнейшего Архиепископа Северной и Южной Америки Иаковоса, что представители Вашего Блаженства ведут переговоры с представителями Митрополии для объявления этой Церкви автокефальной.

Мы считаем излишним и бесполезным перечислять в подробностях гибельные последствия, к которым могли бы привести такие возможные действия Святой Русской Церкви. Ибо Ваше Блаженство хорошо знаете, какое ниспровержение церковного порядка и какое общее смятение может произойти вследствие такого объявления автокефалии в любой юрисдикции произвольно и односторонне относительно Церкви со стороны одной из автокефальных Церквей.

Обращаясь же теперь к тем Православным Церквям в «рассеянии» в Америке, подчиненным различным отечественным юрисдикциям и зависящим от них до тех пор, пока не состоится обще-православное решение по данному вопросу, ясно, что объявление автокефалии одной из этих Церквей, если оно совершается так, как предусмотрено в отношении Митрополии, составляет акцию, которая не только противоречит священным канонам, которыми руководилась наша Православная Церковь в течение многих столетий, но и акцией, которая вместо способствования установлению нормальных отношений, может стать источником проблем для Православия в Америке. Результаты этих проблем неизбежны и вышеуказанная Митрополия не может избежать того, чтобы стать предметом, нарушающим обще-православные отношения.

В эти дни, когда так много усилий прилагается к тому, чтобы создать священное единство внутри Православия и списки вопросов, относящихся к Православной Церкви в рассеянии вообще, включая автокефалию, предложены для изучения и окончательного решения Священным и Великим Собором, мы без колебаний полагаем, что план, обсуждаемый относительно Митрополии, будучи осуществленным, содержит в себе большие опасности и подорвет совместные и гармонические междуцерковные усилия по подготовке Собора...

Глубоко озабоченные единством наших Православных Церквей и единством, которое проявляет каждая Церковь, твердо направляясь к Великому Собору и будучи убеждены,

что Ваше Блаженство, весьма нами возлюбленное, имеете то же мнение и те же намерения, мы пишем Вам по постановлению нашего Священного Синода. И, делая это, мы требуем от Вас и Вашей Святейшей Церкви, чтобы, взвесив обстоятельства и проистекающую отсюда ответственность, Вы не позволили бы, во имя общей пользы, чтобы дело это шло дальше, но чтобы намеченные планы были отменены.

Желая со всей ясностью оповестить заранее Ваше Блаженство о том, какова будет позиция нашего Святого Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола, если бы мы столкнулись с обсуждаемой проблемой, касающейся Православия, мы поэтому уведомляем Вас в этом братском Патриаршем письме, что,

если Святая Российская Церковь, столь возлюбленная, вопреки нашему братскому увещанию и совету и вопреки всякой надежде, будет продолжать осуществление ныне намеченного предложения объявить автокефалию Русской Православной Митрополии в Америке, то этот Престол не признает этого деяния и не впишет этой Церкви в диптихи Святых Православных Автокефальных Церквей. В соответствии с этим, мы заклеили бы эту Церковь, которую Вы хотите объявить автокефальной, как неканоничную. В связи с этим наш Престол принял бы и другие меры, необходимые для обеспечения канонического порядка.

Кроме того, мы полагаем, что имеем долг оповестить об этом деле наших Братьев во Христе, Патриархов, Архиепископов и Глав Святых Православных Автокефальных Церквей, каждому из коих мы пошлем копию этого нашего Патриаршего послания для сведения. Копия также посылается Высокопреосвященнейшему Архиепископу Иаковосу Северной и Южной Америки.

Мы обращаем к Вашему Блаженству это определение Священного Синода с надеждой, что отныне всякая акция, которая могла бы нарушить спокойствие и мир в Церкви, будет избегнута, и мы вновь лобызаем Вас братской любовью и с глубочайшим уважением во имя Христа Спасителя, явившегося ныне на реке Иордане.

Ваш брат во Христе
Афинагор Константинопольский,
Вселенский Патриарх

8 января, 1970

Засвидетельствовано в качестве верной копии Главн. Секретарем Священного Синода Архиепископом Колнским Гавриилом.

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА АФИНАГОРА МИТРОПОЛИТУ ПИМЕНУ КРУТИЦКОМУ

Высокопреосвященнейший Митрополит Крутицкий и Коломенский, возлюбленный брат в Духе Святом и сослужитель нашей Мерности, Господин Пимен, Местоблюститель Московского Патриаршого Престола: благодать и мир Божий да будет с Вашим Высокопреосвященством.

Мы получили и прочитали со вниманием в заседании нашего Священного Синода послание от 17 марта 1970 г., которое почивший Патриарх Московский и всея Руси Алексей послал нам в качестве ответа на наше братское послание на его имя от 8 января 1970 г., содержащее разбор его собственных суждений и его точки зрения, равно как и Священного Синода Православной Русской Церкви-сестры, по поводу недолжным образом возбужденного вопроса о предоставлении Московским Патриархатом автокефалии Русской Православной Митрополии в Нью Йорке под названием «Православная Автокефальная Церковь Америки».

Мы положительно удивлены узнать из вышеуказанного письма приснопамятного Патриарха, что он не получил нашего письма от 8 января 1970 г. за № 7 и что он ознакомился с его содержанием из копии, дошедшей до него другим путем. Наше удивление, достигшее степени тревоги, тем более оправдано, что, к тому же, наше письмо было послано заказным с обратной распиской и, в соответствии с международным порядком, мы получили соответствующую расписку от 17 января, имеющую подпись получателя. Мы прилагаем при сем фотокопию этой расписки для Вашего сведения.

Мы считали необходимым это объяснение для того, чтобы соответствующие инстанции имели возможность выяснить этот вопрос, могущий вызвать большое недоразумение. Мы просим Ваше возлюбленное и почитаемое Высокопреосвященство благоволить об уведомлении нас в свое время о результатах расследования, которое будет предпринято по этому

поводу для того, чтобы наше естественное недоумение было разъяснено.

Переходя к точке зрения, изложенной в письме от 17 марта 1970 г., мы не находим возможности для объяснения, удивления и недоумения, которые испытал блаженной памяти Патриарх по поводу содержания нашего предыдущего послания и, мы признаемся, что как раз содержание и форма его ответа причинили глубокое огорчение нам и нашему Синоду.

В нашем послании от 8 января 1970 г. за № 7 мы обратились с горячим братским увещанием, чтобы Святейшая Российская Церковь воздержалась впредь от всяких шагов, которые могли бы нарушить церковный мир и покой и создать положение, ниспровергающее установленный канонический порядок и вызывающее волнение и еще более глубокое смущение, распространяющееся в ущерб единству и согласию, достигнутому в нашей Святой Церкви после стольких трудов и лишений.

Но вместо того, чтобы найти, как мы этого ожидали понимание, которое отвечало бы нашей братской просьбе, как раз вопреки всякой надежде и ожиданию, мы констатируем, что, увы, Русская Православная Церковь упорствует в своей неправильной позиции и продолжает свои переговоры относительно проекта автокефалии вплоть до ее провозглашения.

Для оправдания своих мероприятий Ваша Церковь ссылается на необходимость устранения существующих непорядков во взаимоотношениях русских общин с Русской Церковью и между собою и на, якобы, принадлежащее ей право предоставить автокефалию, о которой идет речь, но приведенные аргументы отнюдь не убедительны в смысле справедливости предпринятого мероприятия.

И, прежде всего, в отношении аномалии во взаимоотношениях русских общин с Русской Православной Церковью и между собою, нет никакой причины или основания, чтобы, устраняя их, создавать другую, еще ббольшую (аномалию), которая может принести ущерб порядку управления всей Православной Церкви, имея в виду, что есть другие формы управления, к которым могла бы обратиться Святая Российская Церковь-сестра. Что касается якобы принадлежащего каждой православной автокефальной Церкви права предоставить ав-

токефалию, то это не отвечает ни каноническим требованиям, ни практике Церкви.

Конечно, нет сомнения, что по каноническому строю Церкви каноническая власть предоставляет автокефалию. Кто, однако, является законной властью, предоставляющей автокефалию? Каковы, далее, необходимые нормы и условия?

В церковном законодательстве нет канонов, специфически предусматривающих в подробностях вопрос об автокефалии. Но из основных принципов этого законодательства можно вывести соответствующие общие правила, ясно выраженные в каноническом сознании Церкви, как она высказалась во многих случаях в истории и как это ясно написано в статутах (Томосах) при объявлении автокефалии современных Поместных Церквей.

На основании этих источников закона, а также самого понятия об автокефалии как церковном акте, связанном с изменением церковных границ и появлением новой юрисдикционной и административной власти и создающим, т.о., новое положение во всей Православной Церкви, — следует, что объявление автокефалии принадлежит компетенции всей Церкви; оно отнюдь не может быть рассматриваемо как право «каждой автокефальной Церкви», как это значит в письме почившего Патриарха Алексия...

Полное и окончательное объявление автокефалии входит в компетенцию общего Собора, представляющего полноту поместных Православных Церквей, а именно Вселенского Собора. Поместный Собор Церкви-Матери, от которой зависят просящие автокефалии области, имеет только право принимать их первое прошение о независимости и решить, заслуживают ли представленные ими основания принятия в духе 34 Апостольского правила...

Факторами, признаваемыми как основные и необходимые для объявления автокефалии, являются прежде всего: 1) ясно выраженное мнение христианского народа, т.е. клира и мирян, 2) формулировка всем местным епископатом в официальном соборном акте соответствующего прошения, равно как и мотивов, диктующих отделение без епископата всякое деяние мирян или правительства, в качестве представляющего их, было бы самочинным актом, 3) мнение Церкви-Матери и, наконец, окончательное решение всей полноты Церкви является,

следовательно, необходимым для канонического создания автокефалии равно как и всякого подобного акта.

Если, согласно сказанному, объявление автокефалии одной Поместной Церковью части её, от неё отделенной, является неканоническим, то объявление одною Поместною Церковью церковной территории как автокефальной — территории, которая не только не составляет интегральной части её, но еще сверх того не имела никакого отношения или зависимости от нее, — явно является актом, престапующим юрисдикционные границы в нарушение явных указаний священных канонов. Ибо Святые Апостолы и Отцы Церкви настоятельно призывали к миру Церкви. Апостолы постановили: «Воспрещено одному епископу вторгаться в территорию другого» (каноны Апост. XIV и XXXIV), и Отцы, собравшиеся на I-ый Никейский Вселенский Собор: «Надлежит соблюдать древние обычаи и пусть каждый престол управляет епархиями, к нему принадлежащими» (каноны VI и VII). И Отцы, собравшиеся на Собор в Антиохии, постановили: «Ни единый епископ да не дерзает из единыя епархии переходить в другую» (правила XIII и XXII). Наконец, согласно Зонаре, Отцы, собравшиеся на Второй Вселенский Собор в Константинополе, постановили: «Епископы да не простирают своя власти на церкви за пределами своя области».

Эти священные каноны, на которых искони основывается строй Церкви, коими искони утверждается ее административный порядок и права Церковей защищены, а соблазн устраняется, эти каноны не были приняты во внимание Святейшей Церковью Российской, которая, увы, приступила к ряду действий, выходящих за пределы ее юрисдикции; все то, что она дерзнула сделать в течение последних лет в Польше и в Чехословакии, а теперь в Америке, — служит этому примером.

Русская Православная Церковь игнорировала создание Православной Церкви в Польше покойным Вселенским Патриархом Григорием VII Синодальным и Патриаршим Томосом от 13 ноября 1924 г. Этот акт Вселенского Престола в отношении Польской Церкви был охотно и безоговорочно признан в духе любви и братского общения. Между тем Русская Церковь даровала Польской Церкви новую автокефалию актом своего Священного Синода от 22 июня 1948 г. В этом случае она действовала нарушая права своей юрисдикции, ибо Православ-

ная Польская Церковь, по отрыве после второй Мировой Войны от территории Белоруссии и Украины, которые ранее были к ней присоединены, охватывает территорию, простирающуюся к западу до Балтийского моря, которая в древние времена была вне территории Московского Патриархата, и под юрисдикцией Вселенского Патриаршего Престола. Безъ основания или оправдания и преступая свою юрисдикцию Русская Церковь вмешалась в дела Православной Церкви в Чехословакии, на территории, тоже канонически и исторически принадлежащей Вселенскому Патриаршему Престолу и им организованной. Сначала она произвела давление на ее канонического епископа блаженной памяти Архиепископа Пражского и всея Чехословакии на территории, которая тоже канонически и исторически принадлежала Вселенскому Патриаршему Престолу и была им организована. Она начала с того, что произвела давление на ее канонического епископа Блаженной памяти Архиепископа Савватия Пражского и всея Чехословакии, послав туда Экзарха и, наконец, дошла до того, что пожаловала ему неканоническую и необоснованную автокефалию, нарушив еще раз канонический порядок автономии этого района, которая была дана ему Вселенским Престолом с 1923 г. и была признана Поместными Православными Церквями-Сестрами.

Идя по тому же неканоническому пути Русская Православная Церковь теперь вторгается в церковные дела в Америке. Ссылаясь на свою якобы материнскую связь с православными в Америке, основанную на факте отправления некогда миссионеров на Алеутские острова и в Аляску, она считает себя единственно имеющей законное право для дел «Греко-Кафолической Православной Церкви Америки» — как она называет русскую Митрополию в Америке под юрисдикцией Е. В. Митрополита Иринейя. Следовательно она признает себя вправе решать церковные дела в Америке по своему усмотрению.

С начала второй половины XIX века, когда русские переселенцы в Америке стали спускаться из северных районов к югу, к промышленным центрам континентальной Америки, преимущественно начиная с первых десятилетий нашего века, православные почти из всех православных стран массами эмигрировали в Новый Мир, создавая таким образом православные юрисдикции, ныне существующие в Америке. Это есть новое

явление в истории Православной Церкви, новый вид диаспоры, положение исключительное и необычное, ибо оно допускает существование нескольких Митрополитов на одной территории, иногда действующих с одинаковым титулом церковной юрисдикции над отдельными национальностями. Это находится в противоречии с ясными каноническими требованиями, как напр. 21 прв. IV Вселенского Халкидонского Собора, которое определяет, что «Не бывает двух Митрополитов во единой области».

Хотя это положение противоречит основному догматическому принципу православной экклезиологии, согласно ко-ему в основе церковной организации лежит единство всех верующих, живущих в одном месте, в едином церковном организме, имеющем во главе епископа, который укрепляет единство нового народа Божия, в коем «несть еллин, ни иудей... но всяческая и во всем Христос» (Кол. 3, 11), хотя это положение противоречит самому строю Церкви и её священному законодательству, тем не менее, поскольку это касается чрезвычайного явления, отдельного и временного, оно рассматривается и принимается нашим Святейшим Апостольским Вселенским Престолом в духе крайней вынужденности, снисхождения и терпимости для того, чтобы служить миру и единству между Церквями-сестрами, защищать его и распространять пока нельзя будет этот вопрос официально рассмотреть на будущем Святом и Великом Соборе Православной Церкви, ко-ему он передается общеправославным решением. Вот почему мы не можем понять поспешности, проявленной Русской Православной Церковью, объявления автокефальной Церковью сравнительно малой части русской православной диаспоры в Америке, которая только недавно признала её юрисдикцию, давая ей при том титул, несоответствующий реальности.

Вследствие сего мы находим целесообразным для выполнения нашего долга и нашей ответственности в отношении всей Православной Церкви вновь братски увещевать Святую Православную Русскую Церковь воздержаться впредь от всяких действий в этом вопросе и напомнить ей, что у неё есть определенные границы и также ограничен круг её юрисдикции, который не может распространяться за границы компетенции, которая предоставлена ей Патриаршей Грамотой Вселенского Патриарха Иеремии II в 1591 году, ко-ему она обязана своим

независимым существованием, равно как и новому Томосу того же Патриарха Иеремии II, от февраля 1593 г.

Мы питаем надежду, что Русская Православная Церковь-Сестра, блюдя канонический порядок и имея в виду церковный мир, не только воздержится от действий в этом вопросе, но и сделает все возможное, чтобы устранить происходящее от сего каноническое расстройство. Но если вопреки надеждам она будет настаивать на своих нынешних взглядах, идя против постановлений, принятых на общеправославном совещании, которое отложило рассмотрение этого вопроса до будущего Святого и Великого Собора Православных Восточных Церквей, то мы объявляем, что этот Вселенский, Апостольский Патриарший Престол находит себя вынужденным для блага и в интересах всей Церкви считать все эти действия несуществующими, а действительным только всеправославное решение, регулирующее общий вопрос православной диаспоры.

Движимые братским долгом, мы даем этот ответ на письмо от 17 марта 1970 г. Святейшей Русской Церкви, и мы молим Бога, Отца мира, направить и в этом случае мысли её к деяниям, достойным её славного прошлого и её почтенных традиций для охранения канонического порядка и священного законодательства наших отцов. Бог да дарует Своей Святой Церкви мир, а Вашему досточтимому Высокопреосвященству многие лета, исполненные здоровья и благополучия.

С братской любовью и глубоким уважением.

24 июня 1970 г.

*Афинагор, Архиепископ Константинопольский,
Вселенский Патриарх*

ПОСЛАНИЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ПАТРИАРХА
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АРХИЕПИСКОПУ
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ, НОВОГО РИМА,
И ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ

Возлюбленный наш брат во Христе и сослужитель нашей Мерности, досточтимый Афинагор, мы братски обнимаем Ваше Высокопреосвященство и имеем великое удовольствие обратиться к Вам. Мы получили письма, с которыми Ваше Высокопреосвященство обратилось к нам по вопросу о мероприятиях и действиях, на которые дерзостно решилась Святая Русская

Церковь-сестра в отношении Русской Православной Митрополии в Америке, возглавляемой Преосвященным Иринеем, а также корреспонденцию между Московским Патриархатом и Апостольским Патриаршiem и Вселенским Престолом.

Исчерпывающим образом изучив эти письма, как лично, так и совместно с нашим Святейшим Синодом, мы были опечалены и огорчены этими антиканоническими и произвольными действиями Святой Русской Церкви-сестры, которые могут нарушить мир и расстроить единство в православной системе управления, а также привести к смущению в святых Православных Церквях.

К сожалению, статус автокефалии в какой бы то ни было форме, антиканонически провозглашенный Святой Русской Церковью Православной Митрополии Северной Америки или автокефалией Православной Церкви Америки вообще, был принят неосмотрительно не только в нарушение порядка, существующего уже много веков, согласно которому предоставление автокефалии является прерогативой всей Церкви, но также с полным игнорированием обычных норм вежливости, соблюдаемых в отношении остальных Автокефальных Православных Церквей во всем мире, которым Московский Патриархат должен был сообщить об обстоятельствах, якобы, требовавших этого предоставления автокефалии.

Согласно канонам, которые Святейшие Вселенские Соборы ввели так, чтобы они могли применяться повсеместно, одно необходимое предварительное условие провозглашения автокефалии было выделено, в особенности 4-м Вселенским Собором, а именно наличие свободно выраженного желания христианского народа, находящегося под руководством должным образом назначенного духовенства соответствующей церковной юрисдикции.

Святая Русская Церковь-сестра явно считает, что для провозглашения автокефалии какой-либо церкви требуется лишь достаточное число епископов для посвящения в сан других епископов и достаточное число верной паствы для обеспечения материальных нужд.

Эта главная и решающая роль народа Господня могла быть правильно оценена, если бы досточтимый Местоблюститель Патриаршего Престола в Москве помнил о том, что сказал покойный Московский Патриарх Тихон в своем протесте от

29 декабря 1917 г. Архиепископу Грузии, напомнив ему, что автокефалия даруется по просьбе государственных и церковных властей страны, желающей получить автокефалию, но что такая просьба должна действительно отражать «всеобщее и полностью согласованное желание народа».

Мнение досточтимого Митрополита изменилось бы еще более, если бы он знал о некоторых действиях и решениях 4-го Вселенского Собора. Своим канонем III 2-й Вселенский Собор предоставил Архиепископу Константинопольскому лишь почетный примат, сохранив в то же время своим канонем II полностью права экзархов провинций Фракии, Понта, а также Азии. Всего лишь через два десятилетия Св. Иоанн Христом в качестве Константинопольского Патриарха вмешался в дела вышеозначенных юрисдикций, снизив в должности этих экзархов и посвятив в сан на их место других. Эти снижения в должности и посвящения не имели бы ни канонической, ни правовой силы и вообще не было бы никаких изменений в этом отношении, если бы православные конгрегации не обратились к Св. Иоанну Христу с просьбой об исправлении совершенных неправильностей. Почти полвека спустя это вмешательство было признано действительным в каноне XXVIII 4-го Вселенского Собора. Согласно 16-му акту этого Святого Собора указанный канон включает Томос, предложенный собранию и имеющий подписи экзархов и большого числа епископов юрисдикций Фракии, Понта и Азии; этот Томос содержит просьбу о включении конгрегаций в сферу юрисдикции Константинопольского Престола. И когда власти спросили их, «подписались ли они добровольно или по принуждению», они заявили о своем свободном согласии...

Совершенно ясно, что в действиях Святой Русской Церкви-сестры основное предварительное условие, выражаясь мягко, было насильственно забыто и признано не имеющим силы, так как мнение наиболее многочисленной конгрегации в Америке, т.е. — мнение греко-православной епархии, не было ни запрошено, ни выслушано, как того требовало положение.

Переговоры велись и решения принимались с меньшинственной конгрегацией, составляющей едва одну треть всей православной конгрегации в Америке, большинство же продолжает оставаться вне автокефалии, либо игнорируя ее, либо же осудив ее.

Кроме того, Томос устанавливает парадоксальное и неслыханное в истории Православных Церквей положение: под юрисдикцией недавно назначенного первым заместителем в Московском Патриархате, бывшего епископа Уманского Макария, в Америке остаются все приходы бывшего экзархата Московского Патриарха. Следовательно, 43 прихода экзархата Соединенных Штатов, включая Свято-Николаевский собор в гор. Нью-Йорке со всем его имуществом, равно как и все приходы в Канаде, попрежнему находятся под юрисдикцией Московского Патриархата.

Таким образом Томос становится скорее коммерческим соглашением, вопреки любым нормам церковного строя, и этим Святейший Синод в Москве жестоко противоречит сам себе. Предоставляя одной рукой автокефалию Русской Митрополии в Америке, а другой рукой сохраняя свою собственную власть и юрисдикцию над приходами в том же самом церковном районе, что противоречит основным каноническим правилам, — Синод отрицает и делает недействительной им же самим дарованную автокефалию.

Сообщая вышеизложенные соображения, мы желаем заверить Ваше Высокопреосвященство в том, что наша Святая Церковь, будучи полностью согласна с точкой зрения, содержащейся в Ваших письмах, категорически осуждает антиканоническую, новую и самое себя лишаящую законной силы автокефалию Русской Митрополии в Америке и считает ее не существующей и никогда не провозглашенной, а также считает означенный Томос никогда не изданным.

Мы принимаем и признаем положение, ранее существовавшее в Америке, впредь до того, как, согласно всеправославному обычаю, весь вопрос о Православной Диаспоре, в частности о Диаспоре в Америке, будет рассмотрен и окончательно решен Великим Святейшим Собором нашей Восточной Православной Церкви, созыв которого в настоящее время подготавливается.

Обращаясь с настоящим письмом к Вашему Высокопреосвященству с чувством глубокой братской любви и по решению Святейшего Синода, мы горячо и непрерывно молим Бога, восставшего из Его Святого Гроба, чтобы Он по своей безграничной милости пощадил свою Святую Церковь, возникшую из Его крови, от этой угрожающей ей опасности, а также

чтобы Он объединил и направил ее умы и сердца на осознание опасностей, присущих этой односторонне и антиканонично предоставленной автокефалии, и завершил восстановление согласия между церквями-сестрами ради их собственного блага и во славу их Всевышнего Создателя.

Мы обнимаем Ваше Высокопреосвященство во Христе и молим Его даровать Вам многие лета мира и спасения, и остаемся с братской любовью во Христе к Вашему Высокопреосвященству и с глубоким уважением

Бенедиктос, Патриарх Иерусалимский, 17 марта 1971 г.

ПОСЛАНИЕ АНТИОХИЙСКОГО ПАТРИАРХА

Дорогой брат во Христе!

Я получил Ваше письмо и вполне понял его содержание. Этот случай с так называемой «автокефальной церковью в Америке» представляет собой значительный интерес. Я принял делегацию, состоявшую из одного епископа и известного Вам профессора Фр. Шемана. Я заявил им, что автокефальная церковь в Америке может существовать только в результате соглашения между автокефальными церквями, главным образом между церквями, сохраняющими за собой юрисдикцию в Америке. Я уверен, что такого же мнения придерживаются и Ваши епископы там...

Мы в Антиохийской Церкви занимаем следующую позицию: только автокефальные церкви, действуя в консультации и согласии друг с другом, могут провозгласить Автокефальную Церковь в Америке. И мы регулируем наши церковные взаимоотношения на этой основе.

С любовью во Христе остаюсь

Элиас IV, Патриарх Антиохийский, Дамаск, 22 июля 1971 г.

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО НИКОЛАОСА ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АРХИЕПИСКОПУ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ, НОВОГО РИМА, И ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ

Возлюбленный наш брат во Христе и сослужитель нашей Мертности, досточтимый Афинагор, мы братски обнимаем Ваше Высокопреосвященство и имеем великое удовольствие обра-

титься к Вам. Настоящим мы доводим до сведения Вашего Высокопреосвященства и Вашего святейшего Синода о нижеследующем:

Мы со вниманием изучили любезные письма Вашего Высокопреосвященства относительно провозглашения Русским Патриархатом одной из групп православных христиан Русской Диаспоры в Америке в качестве автокефальной Церкви и в ответ мы настоящим уведомляем Вас, что на своем заседании 4 декабря 1970 г. Святейший Синод Александрийского Престола постановил:

Осудить автокефальный статус, предоставленный Русским Патриархатом в какой бы то ни было форме, будь то в форме автокефальной Русской Митрополии Северной Америки или, более широко, Автокефальной Православной Церкви в Америке, как акт, не имеющий исторического и канонического основания. Мы считаем его не имеющим силы и никогда не провозглашенным, а также считаем несуществующим освободительный Томос, изданный Московским Патриархатом, ибо он (Московский Патриархат) обязан соблюдать установленный в Православной Церкви порядок в отношении прав и власти каждой церкви и потому не допускать подобным мероприятием смущения и нарушения гармонии Вселенской Церкви, порядка и надлежащего функционирования, которые мы, епископы, должны уважать и защищать.

И для того, чтобы такое провозглашение русских в Америке в качестве Автокефальной Церкви не стало причиной бедственных последствий, Московский Патриархат должен был ждать того, чтобы вопрос о будущем русских людей в диаспоре был исследован, обсужден и решен окончательно всеми православными на ныне готовящемся Великом Соборе Православной Церкви.

Доводя о вышеизложенном до сведения Вашего Высокопреосвященства и вновь обнимая Вас, мы остаемся с любовью и уважением брата и сослужителя.

Николаос, Патриарх Александрийский
Александрия, 16 дек. 1970 г.

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА В МСЦ

Выражение «чекист в рясе», приводящее в негодование некоторых сторонников «автокефалии», как «политически вульгарное», принадлежит человеку, который ни к какой вульгарности не был склонен. Это выражение покойного первоиерарха американской митрополии Феофила. «Не поддавайтесь обману этих лжецов! Никакого общения, дорогие братья и сестры, с чекистами быть не может!» Так еще в 1947 г. говорил митрополит Феофил о московских посланцах на Запад.

В 1954 г., бежавший на Запад из Вены, видный работник КГБ Петр Дерябин в своей книге на английском языке «Тайный мир»* (стр. 280) рассказывает, что в Вене он работал вместе с митрополитом Николаем Крутицким (в миру Борисом Дорофеевичем Ярушевичем), который давно состоял «кооптированным сотрудником» КГБ. При чем на совести этого высокопоставленного «чекиста в рясе», тогда второго лица по рангу в Патриархии, лежит попытка предательства священника о. Арсения, пытавшегося бежать от Советов из Вены.

Другой видный беглец из Совсоюза, Юрий Растворов в 1956 г. в своих показаниях перед подкомиссией Сената США показал, что КГБ не только контролирует всю деятельность Церкви в Совсоюзе, но и засылает в нее своих агентов. Растворов рассказал, что в духовные семинарии Патриархии посылаются много агентов госбезопасности. Председательствовавший на заседании сенатор Моррис спросил его: — Посылаются ли они, как студенты, для слежки за студентами? — Нет, — ответил Растворов, — они посылаются, как офицеры контрразведки в эти семинарии и впоследствии становятся священниками и епископами.

В 1961 г. Николай Крутицкий, оказавшийся в оппозиции к Патриархии, умер при загадочных обстоятельствах. Еще раньше его заменил — по подрывной работе на Западе — митрополит Никодим (Ротов). О его работе, подлинный христианский мученик, советский гражданин Борис Владимирович Талантов, запятанный кагебистами в тюрьме в Кирове (Вятка) в 1970 году, писал так: — «Деятельность Московской Патриархии за границей является сознательным предательством Рус-

*“The Secret World” by P. Deriabin and F. Gibney. Doubleday, N.Y. 1959.

ской Православной Церкви и христианской веры. Но настанет время разоблачения предательской деятельности Московской Патриархии за границей, час суда над митрополитом Никодимом». («Вестник РСХД», № 89-90).

Какую же работу на Западе ведет пресловутый «чекист в рясе», по рангу второе лицо в Московской Патриархии, митрополит Никодим? К сожалению, работу большого размаха, в мировом масштабе и, к сожалению, успешную. Об этом недавно рассказал Кларенс В. Холл в двух своих статьях — «Должны ли наши церкви финансировать революцию?» и «Куда ведет путь Мирового Совета Церквей?».** Обе эти статьи появились в самом распространенном в Америке журнале «Ридер'с Дайджест» (октябрь и ноябрь, 1971 г.). В этих статьях приводятся факты, как борется советская агентура (т. е. КГБ) с христианством в мире. Эта борьба главным образом началась через Мировой Совет Церквей, и с того момента, когда на конференции МСЦ в 1961 году в Нью Дели в состав этой мировой христианской организации были приняты Русская (т. е. Московская Патриархия), Румынская, Болгарская и Польская православные церкви. Кстати, на этой же конференции произошла первая встреча между «чекистом в рясе» митрополитом Никодимом и архиепископом Иоанном Сан-Франциским. Американская митрополия уже тогда состояла членом МСЦ.

Интересно отметить, что при приеме этих «чекистов в рясах» в состав МСЦ, дабы ничто не могло омрачить сего «торжественного исторического» события — «речи перед голосованием были запрещены». После же их приема главы этих церквей заявили, что они представляют 70 миллионов верующих и посему группа представителей восточных церквей оказалась сразу же одной из самых крупных секций, входящих в МСЦ, заняв «ведущее» положение. Безуспешно некоторые органы западной печати высказывали разумное опасение, что прием контролируемых ленинцами церквей «даст международному коммунизму новую международную трибуну, с которой он сможет вести свое наступление на свободный мир».

** Мы приводим вкратце содержание обеих исключительно интересных статей Кларенса В. Холла. Полностью они были напечатаны в «Нов. Русс. Слове» (22 нояб. и 6 дек. 1971 г.) в переводе С. Жenuка и с его комментариями. РЕД.

«Чекисты в рясах» в МСЦ вошли и заработали. С их вхождением равновесие сил в МСЦ сразу нарушилось, дав сильный крен влево. Активное участие в руководящих комиссиях и комитетах дало возможность «чекистам в рясах» применять право вето в отношении всего, что не шло в политическом «фарватере» коммунистической иностранной политики. «Русские представители, фактически, стали диктаторами в МСЦ», такой итог подводит один из диссидентов, — пишет Кларенс Холл. Участие представителей церквей Восточного блока сразу же привело к утрате последних признаков свободомыслия в Совете Церквей. Политическая заостренность политики МСЦ стала полностью направляться на критику Западной Демократии. «Антиамериканизм, как основа христианского единения, заменил собой Никейское кредо», так сказал Джон П. Рош, бывший председатель общества «Американцы за демократическую акцию». А редактор либерального протестантского журнала «Крисчиан Сенчури» Харолд Фэй писал, что антиамериканские высказывания на конференции МСЦ, происходившей через пять лет после принятия Восточных Церквей (1966 г.), его глубоко потрясли.

Теперешний патриарх Пимен, фактически назначенный на этот пост руководством компартии, как «свой в доску», уже давно выступал именно в этом политическом антиамериканском стиле.* В свое время он писал в «Известиях»: «Мы заявляем свой решительный протест против начавшейся агрессии и призываем правительство США к прекращению военных действий и к выводу своих войск из Южного Вьетнама, Лаоса

* 21 февр. с.г. в «Нью Йорк Таймз» была опубликована телеграмма из Тель-Авива о встрече с печатью трех раввинов, не так давно эмигрировавших из Совсоюза. Эта пресс-конференция состоялась по их инициативе в Иерусалиме. На ней выступили секретарь недавно умершего московского главного раввина Иехуды Лейб Левина, раввин Мордехай Ханзин, раввины Израиль Бронфман из Одессы и Яков Элишковский из Москвы. Они рассказали, что КГБ стремилось поставить на пост главного московского раввина своего агента, а именно — Израйля Шварцблатта из Одессы. По их сведениям Шварцблатт уже давно сотрудничает с КГБ. В течение долгих лет Пимен и Никодим — и в своей церковной политике и в политических выступлениях — без сучка и задоринки проводят генеральную линию компартии. Зная «основы ленинизма», мы несколько не удивимся, если кто-нибудь и их наконец разоблачит, как Израйля Шварцблатта.

и Камбоджи». А на торжестве интронизации этого самого малоуважаемого Пимена — в присутствии представителей *автокефальной «Православной Церкви в Америке»*, архиеп. Киприана, прот. Е. Пьяновича и проф. св. Д. Григорьева — было оглашено Окружное Послание Московского Собора с призывом к христианам (!!!) всего мира «бороться за прекращение американского вооруженного вмешательства во внутренние дела народов Юго-Восточной Азии». При чем американская политика была названа «реакционной, человеконенавистнической, проводимой империализмом, стремящимся к мировому господству». В том же стиле говорил и сам патриарх Пимен на торжественном приеме после интронизации.

Как же — слушая всю эту гнусную и для христианина преступную ложь — чувствовали себя *американцы, представители автокефальной «Православной церкви в Америке»*? Сведений не имеется. Никак. Американские дипломаты в таких случаях иногда хоть «покидают зал заседания». Ну, а эти? Выслушали и пошли к омерзительно роскошным, гнушимся от жратвы и обутыленным столам — есть икру, запивая московской «белой головкой». Для «автокефалии», для американской независимости — хорошая иллюстрация.

Кто же вел и ведет эту, якобы, «церковную» и, якобы, «христианскую», а на самом деле чисто политическую антиамериканскую и прокоммунистическую акцию в недрах МСЦ? Ее вел и ведет неутомимый «чекист в рясе» митрополит Никодим по директивам своего непосредственного начальства, председателя Совета по Делах Религии при Совете Министров СССР В. А. Куроедова, у которого Никодим давно состоит «на тайных послушаниях».

В статье «Должны ли мы финансировать революцию?» Кларенс Холл приводит — для рядового читателя — потрясающие факты. Разумеется, подрывная московско-ленинская работа, которую в недрах МСЦ ведут «чекисты в рясах», прикрыта самыми благовидными и даже самыми христианскими заповедями. Например. В сентябре 1970 г. МСЦ принял к исполнению «Программу борьбы с расизмом» и в исполнение этой программы выдал некоторым представителям африканских государств первые 200.000 долларов. Кому же эти деньги были выданы? Оказалось, что 14 представителей из 19 этих организаций известны, как участники партизанских терро-

ристических акций, а 4 организации, исключительно щедро поддерживаемые МСЦ, просто коммунистические. При чем три из этих организаций получают оружие из СССР. За всеми четырьмя организациями числятся кровавые террористические акты.

Кое-какие протесты против этого были. Но что они значат, когда фактическая сила у большинства МСЦ? Лондонский «Таймс» писал, например, — «теперь африканские бунтари будут утверждать, что их деятельность поддерживается и благословляется церковью». Немецкая газета «Ди Вельт» совершенно справедливо указывала: «христианская вера и террористические акты несовместимы». Известный британский комментатор М. Магеридж спрашивал: «какое отношение имеет все это к утверждению Царства Христова, т. е. к главной цели всей деятельности МСЦ?» Но все такие протесты были гласом вопиющего в пустыне.

В конце прошлого года МСЦ организовал сбор средств на поддержку американских дезертиров, проживающих в Канаде и Швеции. А юношеский отдел МСЦ приступил к изданию журнала «Риск», где призывал американскую молодежь дезертировать из армии. На возмущения и смятение, которые вызвали все эти действия руководителей МСЦ, они ответили: «христиане должны заниматься и социальным переустройством общества... в прошлом мы обычно это делали мирным путем, а сегодня значительное число приверженных служителей Христа и их последователей заняли более революционные позиции». «Революция для церковных лидеров имеет различное значение, — заявил один из представителей МСЦ, — и это значение может меняться в зависимости от того о какой стране идет речь».

Первый открытый шаг от политики мирного развития общества к одобрению революционных методов борьбы был сделан на Женевской мировой конференции в 1966 г. А в 1968 г. в Лондоне на «консультативном» совещании даже наиболее «умеренный» оратор, священник Ч. Е. Филипс утверждал, что «если церковь действительно хочет атаковать расизм, она должна не только проповедывать любовь, но и поощрять силу. Там где общество окажет сопротивление, церковь должна не стесняясь помогать развитию единственной реальной силы — силы мятежной — и всячески возбуждать ее к действию».

Как показатель атмосферы на этих собраниях МСЦ, за кулисами которого действуют «чекисты в рясах», одним оратором цитировались даже слова Мао Цзе Дуна: «политическая сила вырастает из ружейного ствола». Возмущение этими действиями МСЦ было настолько велико, что даже сам архиепископ Кентерберийский, бывший председатель МСЦ, осудил «боевую программу».

Надо усиленно подчеркнуть, что кагебистская работа в МСЦ легко поддерживается и очень легко проводится благодаря исключительному легкомыслию, преступной наивности и полнейшей невежественной неосведомленности множества «либеральных» католиков и протестантов о положении церкви и верующих в Совсоюзе.

Общая атмосфера в МСЦ сейчас — по статье Кларенса Холла — такова, что теперь не может уже МСЦ и решиться обвинить в чем бы то ни было Совсоюз. Так, в первые 24 часа после вступления советских войск в Чехословакию, в августе 1968 г., почти каждая свободная церковь публично осудила эту варварскую агрессию. Но этого не сделал МСЦ. Только спустя неделю, когда советские танки уже раздавили Чехословакию, генсек МСЦ выступил с «тепленьким», едва заметным осуждением Москвы. Так работает Никодим с своими подручными в недрах МСЦ.

То, что для нас, русских, особенно важно, так это указание Кларенса Холла на то, что «ни в чем МСЦ не проявил такой преступности, как в отказе от защиты десятков тысяч верующих, подвергающихся жестоким преследованиям в СССР...» Комментируя конференцию МСЦ в Упсале, шведский священник Кнут Норберг говорит: «Проблемы, касающиеся расового вопроса, мятежи и насилия в МСЦ обсуждались свободно и темпераментно. Но как только дело касалось положения за железным занавесом, воцарялась мертвая тишина. Почему же, — спрашивает Норберг, — мировая церковная организация отказывается замечать все усиливающиеся призывы о помощи из лагерей, тюремных камер и штрафных казематов, где мучаются и умирают братья-христиане? Что это? Если все это происходит в результате проведения в жизнь специально разработанной МСЦ тактики, то не является ли такая тактика, тотальной капитуляцией перед Советским Союзом и его марксистско-ленинской религией?»

Сейчас одну из забот МСЦ составляет дальнейшее сближение МСЦ с коммунистами. Проявляется это в настойчивом налаживании марксистско-христианских «диалогов», при чем коммунисты горячо приветствуют эту деятельность МСЦ, как «начинание огромной важности в деле усиления новых либеральных течений в религиозном мире». И это несмотря на то, как сказал проф. Чикагского Университета Мартин Е. Марти, что «20-й век видел многие тысячи христианских мучеников от рук людей, называющих себя марксистами».

Р. Г—ль.

ЧТО ДАЛИ ДВА ГОДА «АВТОКЕФАЛИИ»?

В кн. 100-й «Нов. Журн.» я высказал мнение, что «дарование» Американской митрополии, так называемой, «автокефалии» надо рассматривать политически, «как диверсию в лагерь противника для уничтожения этого лагеря», то-есть, как обычную большевицко-ленинскую «военную хитрость». Для всякого здравомыслящего человека, знающего «основы, ленинизма» и понимающего, что Московская Патриархия для партии только орудие пропаганды и действия, это ясно.

В кн. 101-й «Нов. Журн.» я дал отзыв о сборнике «Автокефалия» и мельком упомянул о лицах, ведших с Никодимом тайные переговоры о даровании автокефалии. Мне стало известно, что мое мнение — в обеих книгах «Н. Ж.» — вызвало негодование среди приверженцев «автокефалии» и особенно среди иерархов митрополии — партнеров по переговорам с Никодимом.

По правде говоря, негодование это мне непонятно. Ведь обвинял-то я в диверсии КГБ и его агентов в лице т. н. митрополита Никодима, явно состоящего у КГБ «на тайных послушаниях». Митрополию же я считал всего-навсего жертвой политического легкомыслия и м. б. личного честолюбия некоторых ее высших иерархов, «поверивших» в «правду» Никодима. «Повернуть колесо истории церкви» — для честолюбца, в особенности легкомысленного, — перспектива не без соблазна. Отметим, кстати, что из кругов митрополии нам известно, что митрополит Ириней до последней минуты был противником получения этой «автокефалии» от Куроедова — Никодима.

Но под конец он был сломлен своим проникодимовским окружением.

Конечно, вопрос об «автокефалии» окончательно разрешит только время. Оно полностью выявит всё. Но думаю, что уже сейчас время поддерживает меня, а не партнеров Никодима. Обратимся к фактам. Со дня «дарования» автокефалии прошло два года. И некоторые итоги, еще не окончательные (окончательные будут наверное много хуже) подвести уже можно. Каковы они? Прежде всего, оправдалось ли что-нибудь из того «куроедовского договора» («Томоса»), который был заключен формально между Американской митрополией и покойным патриархом Алексием (а фактически между Американской митрополией и председателем Совета по делам религии при Совете министров СССР В. А. Куроедовым). Кстати, в упомянутой выше книге Петра Дерябина говорится, что предшественник В. А. Куроедова на этом посту Г. Г. Карпов имел в КГБ чин генерал-майора. Надо полагать, что и у Куроедова не меньший чин.

О благодатном церковном акте и о последствиях дарования автокефалии наиболее оптимистически высказывался парижский «Вестник РСХД». С моей точки зрения это были предельно наивные и необдуманно оптимистические высказывания. Разберем их. Наиболее полно они выражены в статье прот. Г. Беннигсена в № 95-96 «Вестника РСХД».

Прот. Г. Беннигсен писал: «совершенно ясно, что в настоящее время Московская Патриархия готова признать Американскую Митрополию автокефальной Православной Церковью в Северной Америке на самых нормальных канонических основаниях, которые можно суммировать в нескольких формулах». Дальше идут эти самые «формулы». Прот. Г. Беннигсен пишет: «в качестве автокефальной поместной Церкви Митрополия ожидает признания себя таковой со стороны всех остальных поместных автокефальных церквей». Оправдались ли эти ожидания? Произошло ли что-нибудь подобное за эти два года? Нет. Произошло как раз обратное. Четыре самых древних православных патриархата резко и категорически отвергли законность «дарования» Москвой автокефалии, несмотря на все усилия и поездки на Ближний Восток, например, епископа Дмитрия и прот. А. Шмемана. Даже нахо-

дящаяся в коммунистической стране Румынская Православная Церковь не признала «дарования» автокефалии Москвой.

Больше того. Входявшая раньше в состав руководства Постоянной Конференции Православных Епископов в Америке (в лице митрополита Ириней), Американская митрополия, после принятия ею «автокефалии» от Москвы, выпала из этой высшей православной организации. На последних выборах в январе с. г. в правление ее оказались избраны: председателем — греческий архиепископ Иаковос, товарищем председателя — карпато-русский епископ Джон Мартин, казначеем — епископ украинской православной церкви Андрей Кушак и генеральным секретарем — греческий протоирей Роберт Стефанопулос. Эти выборы означают изоляцию в Америке — т. н. «Православной церкви в Америке». Поместные православные церкви — вопреки ожиданиям партнеров Никодима — ее не признали.

После Америки диверсия Никодима, направленная на Русскую Православную Церковь во Франции, поддерживаемая теми же его партнерами по тайным переговорам — потерпела тоже неудачу. Возглавляемая архиепископом Георгием русская православная церковь во Франции, объявив свою автономию, перешла в юрисдикцию Константинопольского патриарха.

В другой «формуле» прот. Г. Беннигсен писал: «Московская Патриархия убирает свой Экзархат с территории автокефальной Православной церкви в Америке, оставляющей за Патриархией право на подворье в г. Нью Йорке, обслуживаемое духовным лицом не в епископском сане». И эта «формула» оказалась детской наивностью партнеров Никодима. Московская Патриархия, как и раньше, сохранила за собой все 43 прихода в Северной Америке и все приходы в Канаде. Она попросту «обманула» своих партнеров разговорами «о подворье» и против этого обмана митрополия не возражает и возражать, наверное, не может. Что же касается «обслуживанья подворья духовным лицом но не в епископском сане...» то после подписания договора об автокефалии, в Америке появился никодимовский посланец епископ Уманский Макарий, проявляющий кипучую энергию. В Питтсбурге, например, он не только сослужил митрополиту Иринею, без всякого

на то приглашения архиепископа Питтсбургского Амвросия,* но и выступил после богослужения с «патриотической» речью о любви «к Родине» (с большой буквы).

Следующая «формула» прот. Г. Беннигсена оказалась не менее фантастичной. Он писал: «Московская Патриархия передает автокефальной церкви все имущественные права, за исключением вышеупомянутого подворья». Увы, на это «Томос» Московской Патриархии ответил с полной ясностью: «Св. Николаевский Собор с его имуществом и находящейся при нем резиденцией, а также имение в Пейн-буш будут управляться Святейшим Патриархом Московским и всея Руси через посредство представляющего его лица в пресвитерском сане». Дальнейшая «формула» прот. Г. Беннигсена не поддается ясному осязанию. Он писал: «все претензии Московской Патриархии на какую бы то ни было зависимость от нее автокефальной церкви в Америке прекращаются». Но о какой «зависимости» идет речь? Ведь признание митрополией патриархии, как «церкви-матери» несомненно воссоздает некую «духовную» связь, а через нее и не только «духовную», а вероятно, и многие жизненно-практические связи. Это естественно. Вот не так давно в патриаршем Св. Николаевском Соборе совершали торжественную литургию три высоких иерарха: Архиеп. Филадельфийский и Пенсильванский Киприан (тот самый, который представлял митрополию в Москве на интронизации патриарха Пимена и даже фотографировался с ним), архиепископ патриаршей церкви Досифей и уже упомянутый епископ Макарий. Конечно, — сослужение, это действие церковное и духовное. Но ведь после-то сослужения, вероятно, остаются все-таки и простые человеческие отношения и связи?

* В «Нов. Русс. Сл.» от 29 февр. с. г. напечатано письмо архиепископа Амвросия о выходе его из Американской Митрополии. Архиеп. Амвросий пишет: «давно страдая от последствий получения автокефалии Американской Митрополией от Москвы и от все большего сближения ее с Московской Патриархией, я смущался сердцем от своего невольного участия в этом деле. Вследствие моего принципиального расхождения с курсом Американской Митрополии я теперь нашел для себя невозможным дальнейшее пребывание в ней по принципиальным основаниям. Поэтому я заявил митрополиту Иринею о выходе моем из состава Американской Митрополии».

Читая «формулы» несбывшихся надежд иерархов митрополии, ведших тайные переговоры с Никодимом, невольно вспоминаешь хорошую английскую поговорку: «Садясь есть с чертом, запасись большой ложкой». В этих тайных переговорах с Никодимом «большая ложка» оказалась, несомненно, в руках Никодима.

В разгар полемики в русской эмиграции по поводу «автокефалии» один видный иерарх митрополии, участник всей этой «тайной» акции с Никодимом, так морально определил свою позицию: «Сила наша в том, что мы наивно принимаем это и как бы говорим Москве: мы верим, что вы поступите так, как говорите. Поэтому, если тут обман, то совесть наша чиста: обман падет на Москву, но не на нас, стыдом и позором». Не знаю видит ли этот иерарх, что на Москву обман уже «пал стыдом и позором», только Москва и ухом не ведет. А митрополия вынуждена молчать. Ленинцы обманули митрополию, поставив ее именно в такое положение, *какое им нужно*: то есть, в положение изоляции от других православных поместных церквей.

Но что такое, упомянутая видным иерархом, «сила наивности»? И я не уверен может ли и должен ли христианин — а тем более видное духовное лицо — в своих действиях касающихся жизни церкви, руководиться «силой наивности»? Вот что на эту тему пишет протопресвитер Александр Шмеман и пишет, по-моему, очень правильно: — «Нет в христианской вере более важного и нужного призыва, чем призыв различия духов — от Бога ли они; нет более губительной опасности, чем подмена, подделка и ложь» («Зрячая любовь», «Вестник РСХД» № 100, стр. 147). Но неужели протопресвитер А. Шмеман думает (и нравственно уверен!), что «призывы» Никодима были «призывами от Бога», а не «подменой, подделкой и ложью» В. А. Куроедова? Неужели с самим Куроедовым нельзя вести переговоры только потому, что он в штанах и в пиджаке, а с Никодимом можно только потому, что он в рясе?

Тут поднимается невольный и большой вопрос (о благодати): может ли прикрыть ряса прохвоста? Или прохвост остается прохвостом и в рясе? Может-быть (с точки зрения некоторых людей) я держусь «еретического» мнения, но искренне говорю, что я не верю в то, что ряса прохвоста покрывает. И думаю, что прав был Владимир Соловьев, когда

в письме к Льву Толстому (2 авг. 1894 г.) писал: «только лицемеры и негодяи могут ссылаться на благодать в ущерб нравственным обязанностям». То же говорил и св. Василий Великий в учении о благодати: от *свободы человека* зависит как сохранение и преумножение, так и потеря благодати.

Мы не только не отождествляем Никодима с Русской Православной Церковью в СССР. Мы (согласно с великомучеником Б. В. Талантовым) противопоставляем Никодима Церкви. Он противостоит ей также, как Куроедов. И когда иерархи митрополии садятся за один стол с Никодимом вести «тайные переговоры» — они ведут их с чертом.

Роман Гуль

ЕЩЕ ОДНО ЧУДО

«Еще одно чудо еврейской истории» — так называют сегодня во всем мире процесс еврейского возрождения в Советском Союзе.

После пятидесяти лет господства коммунистической диктатуры, после полувека насильственной и добровольной ассимиляции, после закрытия еврейских школ и синагог, после уничтожения еврейской культуры и физического истребления почти всех ее представителей, в условиях насилия и террора, стремящегося предать забвению само слово «еврей», дух национального ренессанса, как птица-феникс, воскрес в молодом поколении древнего и неистребимого племени.

Как это могло случиться?

...В один из субботних дней прошлого года у московской синагоги собралась толпа евреев. Недовольная милиция стала разгонять присутствующих. Когда те отказались разойтись, офицер милиции стал называть их «хулиганами» и угрожать арестом. Из толпы вышел седовласый старик:

— Мне 76 лет, — сказал он. — Неужели я тоже хулиган? Когда мне было 5 лет, мой дедушка водил меня в эту синагогу. В 16 лет я вступил в подпольную партию большевиков, а по-

Автор «Еще одного чуда» Исай Авербух род. в 1943 г. в г. Фрунзе. Окончил Одесский У-т по филологическому факультету. Занимался творчеством Л. Толстого. В 1969 г. примкнул к движению еврейского возрождения в Совсоюзе и принимал в нем активное участие. В октябре 1971 г. получил разрешение на выезд в Израиль. «Еще одно чудо», это предисловие к книге И. Авербуха, в работе над которой принимает участие и его жена Рут Александрович, недавно отбывшая годичное заключение в советском концлагере за, якобы, антисоветскую агитацию. Кроме предисловия мы публикуем также стихи И. Авербуха, которые войдут в его книгу. Право перепечатки и перевода на другие языки всего текста сохранено за автором. *РЕД.*

Copyright by the author, New York, 1972.

том был героем революции и гражданской войны. Потом я участвовал в коллективизации и был героем пятилетки. Потом, при Сталине, я сидел 15 лет, а после был реабилитирован и стал персональным партийным пенсионером. А сегодня я пришел к тому, чему меня учил мой дедушка! Но теперь я уже учусь у него, — указал он на двадцатилетнего юнца в ермолке и с Магендавидом, гордо приколотом к груди на том самом месте, где, может быть, несколько месяцев назад был комсомольский значок...

Это становится бытом еврейских семей в России: дети воспитывают отцов, а отцы нередко гордятся тем, что не отстают от своих детей. Юноши и девушки, которые еще год или два года тому назад ничего не знали о своем еврействе, кроме отметки в паспорте и антисемитизма, и для которых высшая мудрость жизни, слышанная от запуганных родителей, состояла в том, чтобы «не высовываться» и «держаться язык за зубами», — эти юноши и девушки, не боясь возможного ареста, проводят голодные демонстрации со словами великого Моисея: «Отпусти народ мой!»

— Как это могло случиться? — задают вопрос сотни людей в Израиле, и в Америке, и во всем мире. С этим вопросом к нам обращались и юные школьники в Ашдоде и умудренные раввины в Иерусалиме и Нью-Йорке. Мы слышали его от студентов и профессоров, от журналистов и политических деятелей.

— Меня в первую очередь волнует вопрос культуры. Я знаю, как много культура значит в жизни человека. Ведь евреи в Советском Союзе воспитаны исключительно на русской культуре и ничего не знают об еврейской. И я никак не могу понять, с чего в них все это начинается, — сказал в беседе с нами Авраам Шлёнский, известный израильский поэт, прославленный своим блистательным переводом на иврит пушкинского «Евгения Онегина».

— Почему все-таки Советский Союз отпустил в этом году больше 10-ти тысяч евреев? Ведь раньше этого не было, — спросил нас после двухчасовой беседы в Тель-Авиве Давид Бен-Гурион.

— Здесь что-то невероятное. В еврейской истории нет аналогий, — соглашается с нашим предположением уважаемый во всей Америке раввин Соловейчик. — Но объясните

все-таки подробнее, как вы могли к этому придти? — спрашивает он.

И мы отвечаем как умеем. Мы рассказываем об атмосфере страшной бездуховности и безверия, в которой воспитывается сегодня молодежь в Советском Союзе. Мы говорим о невозможности полноценного человеческого существования в условиях советской тоталитарной системы. Мы рассказываем об антисемитизме, который ни одному советскому еврею не дает возможности забыть о своем еврействе. Мы говорим о потрясении, испытанном нами во время шестидневной войны на Ближнем Востоке. И, наконец, об огромной притягательной силе Израиля, о котором мы жадно ловили крупинцы правды из передач зарубежного радио, из писем уехавших друзей, из редких рукописей самиздата и случайных встреч с иностранцами.

Мы рассказываем, как развивалось движение евреев в Советском Союзе. Как от робких жалоб о невозможности соединиться с родственниками в Израиле евреи перешли к требованию признать за ними право *репатриации* на историческую Родину и, наконец, решились на голодные демонстрации под лозунгом «Израиль или смерть!»

Десятки арестов и серия антиеврейских судебных процессов во многих городах Советского Союза не только не запугали евреев, а, напротив, вызвали еще большую активизацию еврейского движения, которое теперь стало требовать не только свободы выезда в Израиль, но и немедленного освобождения арестованных. Так власти ошиблись в своих расчетах: оказалось, что они не знают еврейской психологии.

После рижского процесса в советском сатирическом журнале «Крокодил» появилась статья о нем. Автор статьи, возмущенный «преступниками», иронически замечает, что у четырех молодых евреев появились-де «слуховые галлюцинации»: они заявляют, что голос предков зовет их в страну Израиля. Действительно, чем еще, как не сумасшествием, могут объяснить это странное явление ревнители марксизма-ленинизма? Одного бывшего участника войны с Гитлером, Гирша Фейгина, который особенно настойчиво говорил о «зове предков» и даже вернул не желавшему его слушать советскому правительству в знак протеста свои медали, власти попытались соответствующим образом упрятать в психбольницу. Но волна вы-

ступлений в защиту Фейгина во всем мире и, прежде всего, в его родном городе Риге, заставила их почувствовать, что речь идет о целом «сумасшедшем народе» и, продолжая эту линию, им придется строить психбольницы для сотен тысяч евреев, а после немецких газовых камер это сегодня как-то не очень удобно. В конце концов, власти позволили Фейгину выехать в Израиль, чем косвенно признали за ним право на его «сумасшествие».

Все-таки можно пожалеть советского чиновника: в каком невообразимом шоке оказывается он, когда узнает, что один из создателей лазерного луча к 46-ти годам впервые надевает ермолку и отправляется молиться в синагогу, а крупнейший в стране специалист по кибернетике подписывает телеграмму главному раввину Израиля, где заявляет о своей верности духовным традициям «народа Авраама, Исаака и Иакова».

Кажется, сегодня советские руководители стали понимать, что назидательные аресты и показательные антиеврейские суды не принесут им ничего, кроме возмущения и протестов во всем мире и, в первую очередь, среди еврейства в Советском Союзе. Но начать массовые аресты у властей пока не хватает решительности, а количество евреев, открыто заявляющих о стремлении выехать в Израиль, растет с непостижимой быстротой, и их требования становятся все настойчивее.

Это начинает напоминать критическую ситуацию котла с сжатым паром. Движимые загадочным инстинктом самосохранения, к удивлению для всего мира и, может быть, для самих себя, власти стали отпускать наиболее активных. Их первоначальный нехитрый расчет состоял, по-видимому, в том, чтобы, лишив движение активистов, снизить тем самым его общий потенциал. Однако и на этот раз их расчет дал прямо противоположные результаты. Увидев, что наиболее активных отпускают, остающиеся начинают вести себя с утроенной активностью и, в конце концов, добиваются желанной визы.

Каждый отъезд еврейской семьи производит огромное впечатление на тех, кто до сих пор сомневался. Почти каждый еврей, уезжающий в Израиль, увозит с собой десятки адресов родственников, друзей и просто евреев, просящих прислать вызов. Их число увеличивается, как снежный ком, и, кажется, нет уже ни одной еврейской семьи, в которой этот вопрос в

той или иной мере не обсуждался бы. Везде, где встречаются евреи, не обходится без запретных разговоров об Израиле.

Еврейские анекдоты, как всегда стараются не отставать от жизни:

«Сын Рабиновича, готовясь к уроку обществоведения, спрашивает у отца:

— Папа, какая разница между материализмом и эмпири-окритицизмом?

— Точно не знаю, но ехать надо, — отвечает Рабинович».

Люди, часто совершенно незнакомые, понимают друг друга с полуслова. Летом 1970 года мы возвращались в переполненном людьми автобусе с Шереметьевского аэропорта, где только что проводили в Израиль своего друга. Настроение у нас было радостное и взволнованное. На одной из остановок в автобус вошел старый еврей, и один из нас уступил ему место. Старик, по-видимому, хотел поговорить с вежливыми молодыми людьми.

— До какой остановки вы едете? — спросил он.

— Нам ехать очень далеко, — игриво отвечали мы в ритм своему настроению.

— До конца маршрута, что ли?

— Нет, нам гораздо дальше...

— А-а-а... — понимающе протянул он, нисколько не удивившись. — Ну что ж, вы молодые, вы доедете! А вот нам, старикам, хуже... Молодцы, молодцы!.. Желаю успеха.

Больше ни мы, ни он не сказали ни одного слова. Вскоре он вышел из автобуса, умиленно кивнув нам на прощанье. Больше мы не виделись. Но нет сомнения, что он вспоминает о нас так же тепло, как мы о нем. И кто знает, не суждена ли нам еще встреча в Иерусалиме? И если это произойдет, мы, конечно же, узнаем друг друга и заговорим, как старые знакомые.



Мы рассказываем о многом. Нам есть о чем рассказать. И вместе с тем мы отчетливо чувствуем, что все наши объяснения никак не могут всего объяснить. Потому что после выступлений перед многочисленными аудиториями, после долгих сакраментальных бесед и публичных прессконференций,

оставаясь наедине с собой, мы задаем себе тот же самый вопрос:

— Как это могло случиться?..

В Израиле мы узнали удивительную историю человека, который, посвятив половину жизни изучению Библии и Талмуда, разочаровался в религии и стал проповедовать атеизм. Однако, узнав о борьбе евреев в Советском Союзе, он вновь стал набожным иудеем. «Без Бога этого произойти не могло!» — сказал он.

Уже сегодня многие чувствуют глубочайший смысл и огромное значение борьбы советского еврейства. Уже сегодня эту эпоху называют «исторической». Но история — это не только судьба народов и государств, это и отдельные человеческие судьбы, ибо без них не было бы никакой истории.

Исай Авербух

ПРОЩАНИЕ С РОССИЕЙ

1

Встань и замри! Ужасное свершилось.
Грохочет в небе сатанинский гром.
Зло в мире вновь открыто обнажилось
И требует считать его добром.

А кто не верит в яростную фразу,
Тот будет смят, объявленный врагом.
И глухо стонет оскорбленный разум
Перед немым свинцовым сапогом.

Я знаю, что добро непобедимо,
Но не о том мой потрясенный стих.
Мне горько, стыдно, страшно, нестерпимо
Себя сегодня чувствовать в живых.

Душа моя! Не сдайся, будь свободна —
Трави в себе отчаянья змею.
Я патриот — и потому сегодня
Я проклиная родину свою.

Мне ненавистна мощь ее и сила
С одной лишь верой — править и стрелять!
Убей меня, убей меня, Россия,
За то, что я не стану убивать.

За то, что я не выполню приказа,
За то, что я в твою не верю ложь,
За то, что жив еще на свете разум
И что души штыками не убьешь.
За то, что знаю: зло продлится долго,
Но захлебнется в пролитой крови;
За то, что я навек поверил в Бога
И свято принял истину любви.

За то, что в мире, где живут живые,
Злу над любовью не торжествовать —
Убей меня, судьба моя Россия...
Я все равно не буду убивать.

21 августа 1968

II

Из тьмы веков заброшенный стихией
На эту землю, ставшую моей,
Я родился в большой стране России —
Не знающий еврейского еврей.
Нам не дал Бог еще одной нагрузки:
До бытия самим свой рок решать...
Все в этой жизни начал я по-русски:
И говорить, и думать, и дышать.
Простое слово — родина — впервые
Я произнес на русском языке,
И с этих пор вошла в меня Россия,
Стуча в душе, как жилка на виске.
Едва забросив детские игрушки,
Едва читать по буквам научась,
Я знал уже,
Что свет великий — Пушкин
Засветит мне и в мой последний час.

Но среди всех мальчишек и девчонок,
Со мной ходивших в тот же детский сад,
Я знал уже
О том, что я «жидёнок»
И перед кем-то в этом виноват.
В двенадцать лет сказала между прочим
Мне девочка, что всех была милей:
«А знаешь, ты мне нравишься. И очень.
Хотя, конечно, жаль, что ты еврей.»
Меня учили: все народы — братья.
Я этим жил, любя свою страну.
Но все равно, как тайное проклятье,
Носил в себе подспудную вину.
И позабыв обиды и насилие,
Порою сам твердил в душе своей:
— Люблю! И жизнь отдам тебе, Россия!...
Хотя, конечно, жаль, что я еврей.
Но боль гоня бессонными ночами,
Я снова знал: мы все — одна страна.
Прошли года. Остались за плечами
Путёвка, комсомол и целина.
Примерный сын страны своей советской,
«Эпохе счастья» преданный навек,
Я не легко расстался с верой детской,
Еще вдали других не видя вех.
Еще не зная праведного слова,
Каким Россия, заново маня,
Через года порывом Льва Толстого
В свою бездонность бросит вновь меня.
И на вопросы мира роковые,
Жестокий мрак преображая в свет,
Мне даст ответ провидческий Россия:
За все на свете сам держи ответ!
И с тех часов, как через труп свободы
Прошел в крови по Праге русский танк,
Всем русским в сердце, что взрастили годы,
Я беспрерывно ощущаю, как
Моей рукою чье-то горло душат
В распятом и ограбленном краю.
И пробил час. И боль взорвала душу:

«Я проклиная родину свою!
Мне ненавистна мощь ее и сила
С одной лишь верой: править и стрелять...»
Так я сказал. Но понял вдруг, Россия,
Что не могу я этого сказать.
Что мне — нельзя. Не смею так сказать я.
Не потому, что в слове этом ложь,
А потому, что права на проклятье
Ты пасынку, как сыну, не даёшь.
И в горькой муке собственного плена
Мне не забыть того, что я, еврей,
И умереть не в силах полноценно
За жизнь умершей совести твоей.
Уже я думал: нет пути иного,
И меркнет дух на этом рубеже...
Но древний свет, зовя к надежде новой,
Опять воскрес в потерянной душе.
И понял я, что, скрытая, глухая,
Мою судьбу вела иная нить.
Я никого ни в чем не обвиняю
И лишь себя хочу теперь винить.
Сознаться в том почти невыносимо,
Но голос твой отчаянно любя,
Как я ни шел к тебе, моя Россия, —
Я не ушел при этом от себя.
Зачем, потомок проклятого рода,
Стыжусь подумать немощен и тих,
О том, что боль еврейского народа
В моей душе острее всех других?
Но видя в ней жестокую помеху —
Утраченной всеобщности позор,
Зачем тогда татарину и чеху
Подобных чувств не ставлю я в укор!
А сам стыжусь, когда, как кровь из раны,
Они сочатся из души моей...
Россия! Отпусти меня в Израиль —
Прости меня, я все равно еврей!
Мне не уйти вовек от этой страсти,
Что столько лет была мне так горька,
Но может быть не к горечи, а к счастью

Ее пронес я через все века.
Века угроз, презренья и злодейства
Но так уж, видно, роком суждено,
Что в этом мире своего еврейства
Забуть еврею было не дано,
Идя сквозь ад и уходя из рая...
Не требуя насильственной любви,
Россия, отпусти меня в Израиль
И, если можешь, в путь благослови.
Он, этот путь, мучителен и труден,
Но я других — не знаю. И в борьбе
Среди иных, крутых и сложных буден
Мне не забыть, конечно, о тебе.
Пускай тогда из древней праотчизны
К тебе, Россия, в ревностной тоске
Слова любви, возвышенной и чистой,
Скажу я на еврейском языке.
Чтобы в душе, как две родных стихии,
Навек слились, мечты ее деля,
Любовь моя — великая Россия
И мать моя — еврейская земля.

Исай Авербух, Ноябрь 1969

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВЛАДИМИРА БУКОВСКОГО НА СУДЕ 5 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

В. Буковский, сын писателя Конст. Буковского, родился в 1942 г. Учился в Моск. У-те, но через год был исключен за причастность к подпольному журналу «Феникс» и за участие в литературных встречах у памятника Маяковского. Буковский — автор повестей и рассказов («Один бестолковый вопрос доктору», «Звезды», «Аквариум» и др.). В первый раз Буковский был арестован в июне 1963 г. после того, как у него на квартире были найдены фотокопии книги Милована Джиласа «Новый класс». Отсидев в тюрьмах несколько месяцев, он был направлен в институт судебной психиатрии им. Сербского в Москве, где его объявили невменяемым. Затем Буковский был заключен в спецтюремную психиатрическую больницу в Ленинграде, из которой вышел в феврале 1965 г.

В декабре 1965 г. его снова арестовали за организацию демонстрации в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля. Восемь месяцев он находился в разных психбольницах, в том числе снова в институте им. Сербского. В августе 1966 года был освобожден. Пробыв полгода на свободе, Буковский в январе 1967 года был снова арестован за организацию демонстрации протеста на Пушкинской Площади против ареста Ю. Галанскова, А. Гинзбурга, А. Добровольского и В. Лашковой. Был приговорен к 3 годам заключения в Воронежском лагере. В январе 1970 г. его освободили.

28 января 1971 г. Буковский написал «Обращение к психиатрам» и приложил к нему 150 стр. «историй болезней» шести человек. 10 марта 1971 г. Международный Комитет по защите прав человека представил эти документы западной печати в Париже. 24 марта 1971 г. Буковский был опять арестован и заключен в Лефортовскую тюрьму. Затем был снова направлен в институт им. Сербского на судебно-психиатрическую экспертизу. В ноябре 1971 г. был признан вменяемым. 5 января 1972 г. в московском пригороде Люблино над Буковским состоялся суд. Он был осужден «за антисоветскую пропаганду и агитацию» и приговорен к 12 годам лишения свободы: к 2 годам тюрьмы, к 5 годам лагеря и к 5 годам ссылки.

Появление в Совсоюзе таких людей, как Владимир Буковский (а таких мы знаем уже много) дает надежду, что духовно мертвый и разлагающийся Совсоюз начинает медленно перерождаться в духовно живую Россию. Мы получили «Последнее слово В. Буковского» с оказией из Совсоюза. *РЕД.*

Граждане судьи!

Я не буду касаться юридической стороны обвинения, потому что и в зале суда уже доказал полностью его несостоятельность. Адвокат в своей речи также доказал полную несостоятельность обвинения, и я согласен с ним по всем пунктам защиты.

Скажу другое: расправа надо мной готовилась уже давно, и я об этом знал. 9 июня меня вызвал прокурор Ванькович и угрожал расправой; потом появилась статья в газете «Правда» под заголовком «Нищета антикоммунизма», которую почти целиком процитировал в своей речи прокурор. Статья содержала в себе обвинение, что я за мелкие подачки продаю в подворотнях иностранным корреспондентам клеветническую информацию.

И наконец, в журнале «Политическое самообразование» № 2 за 1971 г. была помещена статья зам. председателя КГБ С. Цзигуна, в которой также говорилось, что я занимаюсь антисоветской деятельностью. И совершенно понятно, что маленький следователь, проводя следствие по моему делу, не мог пойти против своего начальника и вынужден был во что бы то ни стало попытаться доказать мою вину.

Перед арестом за мной была установлена постоянная слежка. Меня преследовали, мне грозили убийством, а один из тех, кто за мной следил, распоясался настолько, что угрожал мне своим служебным оружием. Уже будучи под следствием, я заявил ходатайство о том, чтобы против этих лиц было возбуждено уголовное дело. Я даже указал номер служебной машины, на которой эти люди ездили за мной, и привел другие факты, которые давали полную возможность для их розыска. Однако, на это ходатайство я не получил ответа, от тех инстанций, куда его направлял. Зато от следователя был получен ответ весьма красноречивый: «Поведение Буковского на следствии дает основание для обследования его психического состояния».

Следствие велось с бесчисленными процессуальными нарушениями. Можно сказать, что не осталось ни одной статьи в УПК, которая не была бы нарушена. Следствие пошло даже на такую позорную меру, как помещение со мной в тюрьме камерного агента некоего Трофимова, который сам признался мне, что ему было поручено вести со мной провокационные

антисоветские разговоры с целью спровоцировать меня на аналогичные высказывания, за что ему было обещено досрочное освобождение. Как видите, то, что мне инкриминируется как преступление, некоторым людям разрешается, если этого требуют «интересы дела».

Я посылал об этом жалобы в различные инстанции и требовал сейчас, на суде, приобщить их к делу, но суд «постеснялся» это сделать.

Что касается следователя, то он, вместо того, чтобы рассмотреть эту жалобу и дать мне ответ, направил меня на стационарное медицинское обследование в институт судебной психиатрии им. Сербского.

Следственному отделу УКГБ очень хотелось, чтобы я был признан невменяемым. Как удобно! Ведь дела за мной нет, обвинение строить не на чем, а тут не надо доказывать факта совершения преступления, просто человек — больной, сумасшедший...

И так бы оно все и произошло. И не было бы сейчас этого судебного разбирательства, и не было бы моего последнего слова: меня осудили бы заочно, в мое отсутствие... если бы не оказало влияние интенсивное вмешательство общественности. Ведь после первого срока экспертизы — в середине сентября — врачебная комиссия обнаружила у меня зловещую неясность клинической картины, и по вопросам врачей, обращавшихся ко мне после этого, я понял, что меня собираются признать невменяемым. И только 5 ноября, после давления, оказанного общественностью, новая медицинская комиссия признала меня здоровым. Вот вам достоверное доказательство моих утверждений, (которые здесь, в суде, называют клеветническими), как по указанию КГБ чинятся психиатрические расправы над инакомыслящими.

У меня есть и другое доказательство этого. В 1966 году меня восемь месяцев, без суда и следствия и вопреки медицинским показаниям о моем психическом здоровье, держали в психиатрических больницах, переводя по мере выписки врачами из одной больницы в другую.

Итак, 5 ноября я был признан вменяемым, и меня вновь водворили в тюрьму, и процессуальные нарушения продолжались. Грубо было нарушено окончание следствия с выполнением 201 статьи УПК РСФСР. Я требовал, чтобы мне был

предоставлен избранный мною адвокат. Но следователь мне в этом отказал и подписал 201 статью один, да еще написал при этом, что я отказался ознакомиться с делом.

В соответствии со своим правом на защиту, предусмотренным ст. 40 УПК РСФСР я потребовал пригласить для своей защиты в суде адвоката Каминскую Дину Исаковну.

С этой просьбой я обратился к председателю Президиума Московской коллегии адвокатов и получил его отказ с резолюцией: «Адвокат Каминская не может быть выделена для защиты, так как она не имеет допуска к секретному делопроизводству». Спрашивается, о каком секретном делопроизводстве может идти речь, когда меня судят за антисоветскую агитацию и пропаганду? И вообще, где, в каких советских законах упоминается об этом пресловутом «допуске»? Нигде.

Итак, адвокат мне предоставлен не был. Более того, вышеупомянутый ответ из коллегии адвокатов, с которым я был ознакомлен и на котором имеется моя подпись, был из дела изъят и возвращен в коллегию адвокатов, о чем в деле имеется справка. Взамен его был вложен другой, вполне невинный ответ председателя коллегии, с которым я ознакомлен не был. Как это можно расценивать? Только как служебный подлог.

Потребовалась моя 12-дневная голодовка, жалоба Генеральному Прокурору СССР, в Министерство юстиции СССР и в ЦК КПСС, а также новое активное вмешательство общественности, чтобы мое законное право на защиту было, наконец, осуществлено и мне был предоставлен приглашенный моей матерью адвокат Ивайский.

Сегодняшнее судебное разбирательство велось также с многочисленными процессуальными нарушениями. Обвинительное заключение, в котором 33 раза употребляется слово «клеветнический» и 18 раз слово «антисоветский», не содержит в себе конкретных указаний на то, какие же именно факты из сообщенных мною западным корреспондентам являются клеветническими и какие именно материалы из изъятых у меня при обыске и якобы распространенных мною, являются антисоветскими.

Из девяти ходатайств, заявленных мною в начале судебного разбирательства и поддержанных моим адвокатом, восемь было отклонено. Никто из заявленных мною свидетелей, ко-

торые могли бы опровергнуть различные пункты обвинения, судом вызван не был.

Мне инкриминирована, в частности, передача антисоветских материалов приезжавшему в Москву фламандцу — Гуго Сабрехтсу. Эти материалы, якобы, передавались ему мною в присутствии Вольпюка и Чалидзе. Однако, мое требование о вызове этих двух людей в качестве свидетелей — не было удовлетворено. В суд не был вызван, далее, ни один человек из 8 вызванных мною, которые могли подтвердить истинность моих утверждений относительно фактов помещения и условий содержания людей в специальных психиатрических больницах. Суд отклонил мое ходатайство о вызове этих свидетелей, мотивировав тем, что они душевнобольные и не могут давать показаний. Между тем, среди этих людей есть двое — З. М. Григоренко и А. А. Файнберг, которые никогда не помещались в спецпсихбольницы, а бывали в этих больницах только в качестве родственников и могли бы подтвердить мои показания об условиях содержания в этих больницах.

В суд были приглашены только те свидетели, которых представило обвинение. Но что же это были за свидетели? Так, ко мне подсылался перед моим арестом, по всей вероятности, сотрудниками КГБ военнослужащий войск госбезопасности, ныне работающий в отделе таможенного досмотра на Шереметьевском аэродроме, мой бывший школьный товарищ, некий Никитинский, которому было поручено спровоцировать меня на преступление, — организацию вывоза из-за границы оборудования для подпольной типографии. Но незадачливому провокатору осуществить это не удалось. Тогда следствие, а затем и суд попытались сделать его свидетелем по этому пункту обвинения. Мы видели здесь, что Никитинский не справился и с этой задачей.

Для чего же потребовались все эти провокации и грубые процессуальные нарушения, этот поток клеветы и ложных бездоказательных обвинений? Для чего понадобился этот суд? Только для того, чтобы наказать одного человека?

Нет, тут «принцип» своего рода «философии». За предъявленным обвинением стоит другое, непредъявленное. Осуждая меня, власти преследуют здесь цель скрыть собственные преступления, психиатрические расправы над инакомыслящими.

Расправой надо мной они хотят запугать тех, кто пытается рассказать об их преступлениях всему миру. Не хотят «выносить сор из избы», чтобы выглядеть на мировой арене такими безупречными защитниками угнетенных!

Наше общество еще больно. Оно больно страхом, пришедшим к нам со времен сталинщины. Но процесс духовного прозрения общества уже начался, остановить его невозможно. Общество уже понимает, что преступник не тот, кто выносит сор из избы, а тот, кто в избе сорит. И сколько бы мне ни пришлось пробыть в заключении, я никогда не откажусь от своих убеждений и буду высказывать их, пользуясь правом, предоставленным мне ст. 125 советской Конституции, всем, кто захочет меня слушать. Буду бороться за законность и справедливость.

И сожалею я только о том, что за этот короткий срок — 1 год 2 месяца и 3 дня — которые я пробыл на свободе, я успел сделать для этого слишком мало.

СОВЕТСКИЙ КОММУНИЗМ В НЕМЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Шумные студенческие беспорядки в Германии почти прекратились. Нет больше погромных демонстраций на улицах, нет битв с полицией. Сенсационная пресса пишет мало об университетских делах, но зато в серьезной прессе появляется все больше тревожных статей.

В самом деле, сейчас происходит гораздо более опасный, хотя и менее заметный процесс постепенного завоевания университетов изнутри. Этот процесс зашел уже очень далеко в тех землях, где социал-демократы управляют непрерывно, начиная с 1946 г., т. е. прежде всего в землях-городах, западном Берлине, Гамбурге и Бремене, затем в Гессене, который уже давно носит название «красный Гессен».

Напомним немейскому читателю, что в Германии нет общего для всей Германии министерства просвещения, вопросы просвещения предоставлены компетенции правительств отдельных земель. Однако, со времени «большой коалиции» в Бонне учреждено так называемое «министерство науки», которое тоже занимается проблемами просвещения и стремится координировать мнения министров просвещения разных земель, как управляемых христианскими-демократами, так и социал-демократами. В правительстве Брандта министром науки был до сих пор беспартийный профессор Лейсник, который старался наладить эту координацию. Но как раз это и вызвало крайнее недовольство левого крыла социал-демократии. Теперь министр вышел в отставку. На его место Брандт назначил молодого левого юриста Донани. Под его руководством боннское министерство вероятно не будет больше стараться координировать разные планы преобразования университетов, встав на сторону тех земель, где левые правительства. Уже и теперь из университетов тех земель, где управляют социал-демократы, бегут не только «правые» профессора, но даже

профессора, члены социал-демократической партии, если они еще сохранили уважение к объективной науке. Молодой профессор социологии в берлинском университете, социал-демократ Церхе, должен быть выпрыгнут из окна аудитории, чтобы спастись от коммунистических студентов, которые хотели его силой принудить подписать заявление в пользу приглашения профессором левого бельгийского марксиста Манделя, который даже не окончил университет. Берлинский социал-демократический сенат и сенатор просвещения Штейн молчат и делают вид, что в берлинском университете ничего особенного не происходит.

Церхе хочет еще бороться, но известный историк проф. Ниппердей, тоже социал-демократ, ушел из Берлина в Мюнхен. В открытом письме берлинскому сенату он написал, что «свободный университет» стал самым несвободным в западной Европе. Многие отделы этого университета уже полностью в руках коммунистов. В других еще идет борьба. Не так давно этот университет пригласил, как профессора-гостя советского полковника Тюльпанова, того самого, который после войны привел к коммунистическому знаменателю берлинский университет имени Гумбольдта, находящийся на территории восточного Берлина. Тогда многие студенты бежали из восточного Берлина и основали вот этот самый свободный университет. Американцы помогли деньгами. В то время этот университет был действительно свободным. А вот теперь полковник Тюльпанов читал в этом университете советскую идеологию, а прочесть доклад с критикой этой идеологии там уже невозможно. Доцентов, рисковавших сказать свободное слово, (и такие случаи бывали) выталкивали из аудитории кулаками. «Молчаливое большинство» студентов уже достаточно запугано и не пробует возражать. Приведу еще один пример, показывающий состояние этого университета: вновь установленную кафедру по «экономии и социологии здравоохранения» пытается получить греческий эмигрант, который в своем заявлении написал, что он 14 лет читал лекции в восточно-берлинском университете и приложил грамоту, выданную ему в ГДР, где говорится о его чрезвычайных заслугах в деле построения социализма и укрепления Германской Демократической Республики, за что он получил звание героя социалистического труда. Грек знает, что такая грамота может ему послужить на пользу, если он

хочет получить кафедру в *западно-берлинском* университете!

В некоторых гессенских университетах для студентов гуманитарных наук, в том числе и для филологов, марксизм-ленинизм введен как обязательный предмет и читается совсем как в Сов. Союзе.

Даже в Регенсбурге, в консервативной католической Нижней Баварии, хотели ввести марксизм в левом толковании в качестве обязательного предмета. В Регенсбургском университете путем дешевого трюка в ректоры прошел очень левый профессор физики. Но в Баварии правительство составляют члены христианско-социального союза, так что министр просвещения пока не допустил того, что хотел сделать ректор.

В Бремене новый университет открылся сразу уже с таким радикально левым направлением, что оно оказалось непереносимым даже для значительно полевевших либералов, и они ушли из коалиции с социал-демократами, которые теперь одни составляют сенат Бремена.

В Рурском университете в Бохуме общестуденческое представительство, которое, как и многие другие общестуденческие представительства, находится в руках левых, выпустило руководство для студентов, начинающееся так: «Борьба студентов должна быть неизбежно антикапиталистической, а это означает, что она не может быть демократической, не может вестись на основе нашей конституции но должна с самого начала исходить из социалистической концепции». В Гамбургском университете такое же напутствие начинающим студентам составлено членом «Союза спартаковцев», открыто коммунистической организацией.

В Нижней Саксонии знаменитый Геттингенский университет находится под ударом. Хотя социал-демократы имеют в ландтаге большинство всего лишь в один голос, они хотят провести новый университетский закон, который сделал бы невозможным занятие объективной наукой. Несколько сот профессоров подали в конституционный суд, т. к. они считают этот закон неконституционным. Тот же министр просвещения Нижней Саксонии не принял никаких дисциплинарных мер против профессора Брюкнера из Ганновера, хотя было уже известно, что он давал убежище членам «красной армии», как называет себя знаменитая группа Баадер-Мейнгоф, объявившая «войну» демократическому обществу и прямо заявляю-

щая, что она готовит партизанские отряды для войны в больших городах. Вот уже сколько месяцев полиция старается выловить головку этой банды, но ей не удается, т. к. «добропорядочные» граждане дают им убежище. Один из побочных членов банды попался, и на суде назвал целый ряд лиц, журналистов, учителей, даже одного священника, и проф. Брюкнера, укрывавших банду. На совести банды — ограбления банков, убийства и поджоги. Теперь министру просвещения пришлось освободить проф. Брюкнера от его обязанностей вплоть до расследования дела. Левые устроили в его защиту демонстрацию, профессор вышел на балкон и крикнул в толпу клич латино-американских революционеров: «Венцеремос». Уже образовался комитет для его поддержки.

За эту же «красную армию» выступал и председатель ПЕН-клуба, известный немецкий писатель Генрих Белль. А когда его спросили, выразит ли он протест по поводу изуверского приговора Владимиру Буковскому, он замялся, сказал, что как председатель ПЕН-клуба он на это не уполномочен, а как частный человек еще подумает, ибо история свободы на востоке и на западе развивалась иначе и в конце интервью признался, что его книги в Сов. Союзе расходятся очень большим тиражом, и он скоро собирается посетить Москву. Когда не менее известный писатель Ганс Хабе призвал Белля сложить с себя полномочия председателя, т. к. он компрометирует ПЕН-клуб, то Белль начал настоящую травлю против Хабе. Кстати, Белль в своем интервью в журнале «Шпигель», где он так заступался за «красную армию», выразил желание, чтобы издатель Аксель Шпрингер, издающий нелевые газеты, подавился насмерть в сочельник рыбной костью, когда будет есть традиционного карпа. Вот в какое нравственное болото скатились некоторые левые интеллектуалы. Ганс Хабе прав, называя это изменой интеллекту. Но вернемся к университетам.

В конце января этого года в Гейдельбергском университете, где при левом ректоре левые особенно бесчинствовали и часто срывали лекции историков, должна была состояться вступительная лекция неугодного левым политолога. Уже заранее были выпущены листовки против него. Лекция проходила в присутствии проректора и еще ряда профессоров. Тем не менее левые студенты, которых было человек 15, тогда как

всего слушателей было 50, начали мешать и требовать, чтобы доцент сразу же ответил на то, что стояло в листовке. Доцент сказал, что ответит потом, а теперь будет продолжать свою лекцию. Левые продолжали мешать. Тогда было поставлено на голосование, кто за лекцию, а кто за дискуссию. Подавляющее большинство слушателей проголосовали за лекцию. Но это никакого впечатления на левых не произвело, они продолжали шуметь и не давали доценту говорить. Проректор заявил, что при таких условиях лекция продолжаться не может. Доцент так разволновался, что упал в обморок. Его отвезли в больницу, где он и находится сейчас, когда я пишу эту статью.

Прочтя это сообщение, я невольно усмехнулась: все это я пережила, и листовки, и требование не читать лекцию, а отвечать на листовки, и срыв лекций, и, с другой стороны, голосование в пользу лекции, после чего левые тем не менее не давали мне говорить. Но я ни разу не ушла из зала. Только один раз вместо лекции была дискуссия, которую, однако, к большому неудовольствию левых, мне удалось взять в свои руки. Правда, мне в большой степени помогали студенты, даже те, которые сначала были неопределенных левых симпатий.

Передо мной возникали картины моей юности. Я видела лица функционеров, циничные, уже не такие молодые, старше среднего возраста студентов, слышала так хорошо знакомые пропагандные фразы, только они произносились по-немецки, а не по-русски. Но тип был совершенно тот же. И школа та же. Все они вышколены в восточной Германии. Я имею в виду функционеров. Их было немного, на моей лекции 4-5, а за ними бежит толпа молоденьких мальчиков и девочек совершенно невежественных относительно всего, что касается востока, жаждущих сенсации и... жаждущих веры, да, веры, слепой веры, авторитета. Это некритическая часть молодежи, может быть, даже не самая худшая. Эта часть молодежи, которая устала от разлагающей критики всего и вся, какую ей годами подавали пресса, радио, телевидение. Она хочет чего-то прочного, чего-то, во что можно было бы верить без сомнений. Религию у нее отняли, и на ее место стала «идеология».

Немецкий психолог и философ Афеман пытается с точки зрения психолога нащупать причины, бросившие известную часть молодежи в объятия идеологии. Он пишет, что в наше рационализированное время подсознание, душевная жизнь

загнаны в тупик. На самом деле, только небольшая часть нашей психики обладает рациональной структурой. Однако, современный человек стремится организовать свою жизнь только путем рассудка, не отдавая себе отчета, что его подсознание, его душа предъявляют свои требования. Он старается отогнать эти требования, загнать их в подполье и одним из защитных средств для него является идеология. «Заложенная в нем жизнь не развивается, напротив, она съезживается, отмирает. Человек остается инфантильным. Жизнь становится невыносимо пустой. Эта пустота должна быть чем-нибудь заполнена. Идеология является таким эрзацем, кажущейся жизнью, она становится необходимой», — пишет Афеман.* Такой душевно недоразвитой молодой человек боится настоящей живой жизни. Он не решается вступить во внутреннюю корреспонденцию с другим человеком, он боится испытать разочарование, доверившись другому живому человеку, живой личности. Вместо этого он ищет коллектив, где все остается неизменным, т. к. подчинено идеологии, даже если отдельные личности этого коллектива меняются. Такой молодой человек чувствует себя неуверенным, у него комплекс неполноценности, но в коллективе, связанном «безошибочной» идеологией, он снова обретает уверенность. Слабый молодой человек не выносит самокритики и неспособен отдать себе отчет в том, что он сам, а не общество, виноват в своей неудовлетворенности. Поэтому он увлекается критикой других, критикой общества, чтобы избежать собственной ответственности за построение своей жизни.

Такой молодой человек неспособен и к непосредственному, живому чувству сострадания по отношению к другому. И это чувство у него «идеологизировано», поскольку оно еще вообще сохранилось. Оно направляется только на определенные объекты, тогда как другие совершенно выпадают из поля его зрения.

Это замечание Афемана было мне весьма интересно, потому что, говоря откровенно, труднее всего было объяснить тот феномен, что те же самые молодые люди, которые, как кажется, полны сострадания к жертвам войны в Вьетнаме, со-

* Rudolf Affeman "Jugend und Ideologie, Utopie als Surrogat," "Rheinischer Merkur," 12 ноября 1971 г.

вершенно равнодушны к жертвам коммунистического террора в СССР или в КНР.

По моим личным наблюдениям эта молодежь также совершенно неспособна к диалогу, к дискуссии. Хотя левая молодежь постоянно требует дискуссии вместо лекции, но «дискуссия» в их понятии — это безудержная пропаганда их взглядов с одновременным запретом всякого другого высказывания. Даже лучшие из них, которые пытаются быть хотя бы вежливыми, не скандалят, не срывают лекции, производят угнетающее впечатление не живых людей, а заведенных кукол, которые могут произносить только определенные заученные фразы, раз навсегда им вдолбленные мнения.

Афеман, между прочим, указывает на то, что идеологии легко заменимы. Дело совсем не в *содержании* идеологии, а в том, чтобы вообще иметь *идеологию*. Я с этим мнением Афемана совершенно согласна. Мои собственные наблюдения показали, что, кроме хорошо обученных идеологов-«вождей», масса молодежи очень мало знает, в чем заключается эта всеспасающая марксистская идеология. Нередко они выдают себя — и зачастую безусловно искренне — за, так сказать, чистых марксистов, говорят, что советская идеология исказила марксизм, и они не являются приверженцами *советского* марксизма. И тут же начинают приводить аргументы, почерпнутые у Ленина или даже у гораздо более поздних советских идеологов, аргументы, которых ни у Маркса, ни у Энгельса найти нельзя, но при этом они заявляют: «Ведь Маркс писал...» и затем цитируют то, что писал Ленин, а не Маркс.

Как ни интересны и правильны мысли Афемана, они все же не отвечают на вопрос, отчего же именно теперь в таком значительном количестве появилась эта, нуждающаяся в идеологии, молодежь, а также на вопрос, отчего ее захватил марксизм, эта ведь, на самом деле, безнадежно устаревшая идеология. И захватил именно в Германии, где перед глазами этой молодежи 54-летняя практика в Сов. Союзе и 26-ти летняя — в восточной Германии, где перед глазами берлинская стена, убитые беженцы, минные поля на «границе мира».

Попробуем сначала ответить на второй вопрос. 26 лет почти все средства современной информации в западной Германии слегка кренят влево. Этот крен шаг за шагом все больше увеличивался, так что теперь нелевые комментаторы в

радио и телевидении являются исключением. При этом произошла очень ловкая фальсификация терминологии: национал-социализм, чаще именуемый фашизмом, превращен в крайне правую идеологию. Правыми стали называть консервативных и христианских, антикоммунистических мыслителей и политиков, а крайне правыми — националистов или нацистов. Получалось так, что они в одной линии, будто все они сродни друг другу, но только первые более умеренные, а другие совсем крайние. На самом же деле все обстоит как раз наоборот. Консервативные, глубоко верующие политики в Германии, как католики, так и протестанты, нередко участвовали в активном сопротивлении Гитлеру и понесли большие потери. Возьмем хотя бы католическую семью баронов Гуттенбергов, где немало расстрелянных Гитлером за сознательное сопротивление, или же протестантскую семью Герстенмайер. Эти люди не могли никак принять тоталитарного режима и идеологии национал-социализма, они же не приемлют и тоталитарного коммунизма. Но политика Гуттенберга называют правым, а Адольфа фон Таддена, руководителя национал-демократов, крайне правым. При чем их ставят на одну доску. На самом же деле — они полная противоположность. В то время как Гуттенберг говорит, что для восточной Германии нужно прежде всего требовать свободы, а не воссоединения с западной Германией (в каком духе оно еще произойдет?), национал-демократы больше озабочены восстановлением сильной Германии и совсем не прочь сделать это в левом духе, в союзе с Сов. Союзом. Надо было бы, наконец, понять, что Гитлер не был ни крайне правым, ни даже просто правым. Одной из слагаемых его идеологии являлся левый (да, да *левый*) национализм, другой — расизм. Но терминология в наше время настолько запутана, что национал-социализм считается правым, а левый тоталитаризм, его родной духовный брат, считается его антиподом. Это одна из причин, отчего молодежь, которая хочет идеологии, начала искать ее где-то слева.

Современные марксисты, прежде всего Герберт Маркузе и франкфуртская школа «критической теории», возглавлявшаяся Адорно и Хоркхеймером, попыталась модернизировать марксизм, но не сумела дать ничего положительного. Адорно пришел, в конце концов, к тотальному отрицанию современного западного общества, не дав никакой положительной кар-

тины взамен его. Он пришел к тому небытию, через которое по Гегелю должно пройти бытие (как через свое противоречие), чтобы обновиться. Но адорновское небытие явилось голым отрицанием. В эту пустоту неизбежно и влился самоуверенный, примитивный, наглый, но именно этой своей самоуверенной наглостью импонирующий, советский марксизм. Слишком критические, мало понятные идеологи неомарксизма дожили до того, что те «духи», которых они снова вызвали к жизни, смахнули и их самих с шахматной доски. Маркузе, которого еще несколько лет тому назад, восторженно встречали тысячи студентов, забыт и заброшен. Адорно, сначала тоже идол левой молодежи, последние годы своей жизни должен был переживать, как бывшие его «прогрессивные сторонники» срывали его лекции. Он умер разочарованным неудачником. Но брешь для марксизма была пробита, и в нее хлынул самый напористый, самый жизнеспособный марксизм, какой существует: советский. То, что это не обошлось без длительной и очень основательной подготовки и инфильтрации со стороны СССР и восточной Германии, это само собой разумеется.

Тогда сказалось во всей мере упущение, сделанное теми, кто был ответствен за образование и воспитание молодежи в западной Германии в эти 26 лет: молодежь совершенно не знакомили ни с теоретическим марксизмом, ни с советским марксизмом, ни с советским режимом, ни с историей России и СССР. Ограничивались только общим отрицанием коммунистической тоталитарной идеологии и жестокого режима, не вдаваясь в подробности, и думали, что Германия, так много пережившая в последние десятилетия, останется навсегда иммунной против этой идеологии и этого режима. И когда вдруг родилась фаланга циничных или фанатичных приверженцев коммунистической идеологии, общество растерялось. Большинство старается не замечать того, что происходит, так спокойно. Но люди, призванные иметь дело с молодежью, учителя, доценты, священники, да и сама молодежь, не присоединившаяся к этой идеологии, оказались беспомощны. Они сами этой идеологии и даже ее практики как следует не знают, они не знают, что им отвечать, чтобы, — если уже нельзя переубедить фанатиков, то хотя бы отвлечь от них еще незараженную молодежь. Мне не раз приходилось лично сталкиваться с этим явлением: инакомыслящие пасуют перед хорошо выученным

пропагандистом, но стоит появиться человеку, знающему марксизм, этот пропагандист полностью пасует сам.

Сейчас началось, наконец, пробуждение некоторой части молодежи, которая еще недавно стояла в стороне и не хотела вмешиваться в идеологическую завируху. Критики советского марксизма вырастают отчасти из тех полулевых, которые, наконец, раскусили «независимых» марксистов и поняли, что имеют дело с советскими коммунистами. Отталкиваясь от советского марксизма, они начинают более критически относиться и к самому Марксу. С другой стороны, те, которые никогда левыми не были, и до сих пор были погружены только в свою узкую специальность, начинают отчасти интересоваться идеологическими вопросами, хотя больше знают о марксизме, и о его критике. Но кто даст им эти знания? Число преподавателей, доцентов, профессоров, которые не будучи марксистами, знали бы марксизм, чрезвычайно мало. Их можно по пальцам пересчитать. Можно ли нагнать то, что было упущено в течение четверти века? А времени осталось мало. Как раз сейчас, когда я пишу эту статью, радио принесло известие что доценты и профессора Берлинского «свободного» университета стоят в мороз у ворот заводов, фабрик и учреждений и раздают листовки, в которых призывают берлинское население помочь им восстановить свободу и порядок в «свободном» университете. На социал-демократический сенат надежды больше нет: он, хотя и не открыто, но по-существу поддерживает коммунистов в университете. В каких же еще городах профессорам придется стоять с листовками у заводских ворот и просить помощи у рабочих? И помогут ли они? Они *против коммунизма*, эти рабочие, но поймут ли они, что это означает для всей страны, если преподаватели высшей школы уже не имеют никакой другой защиты против террора красных?

Но вернемся к нашему первому вопросу, к самому важному: отчего же молодежи вообще нужна идеология? Отчего она недоразвита душевно, отчего боится настоящей жизни и прячется от нее в идеологию, как говорит Афеман. Отчего часть молодежи стала теми «гомункулусами из колбы», которые «защищены от жизни стеклянным колпачком», как пишет Г. Померанц в своей статье «Квадриллион»?

Я сказала, что у молодежи отняли Бога. Но ведь на Западе религия не запрещена, церкви открыты. Да, это верно. Тем не

менее удалось создать и на Западе атмосферу ложной научности, мнение, что наука может разрешить все вопросы и помочь построить жизнь, и что это может сделать только наука. Но наука охватывает лишь одну малую часть человека, его рацио. Она не только не касается иррационального, она останавливается перед истинной мудростью. Ученый может быть, конечно, и мудрецом, но далеко не всякий, как принято теперь говорить, «научный работник», является мудрецом. С другой стороны совсем неученый, даже неграмотный человек может быть мудр. Я даже решусь утверждать, что среди современных научных работников, специалистов в той или другой области науки, меньше всего мудрых людей. И потому «научный социализм» Сахарова при всех его благих намерениях — не выход. Будучи применен в жизни он очень скоро превратился бы в такую же идеологию и был бы также узурпирован чиновниками от науки или вернее функционерами «научообразной» идеологии.

Христианско-демократическое студенчество, единственная студенческая группа, которая противостоит левым, проснулась от своей многолетней спячки и пробует бороться, то тут, то там небезуспешно. Времени у нее осталось мало, но если она не забудет в пылу предвыборных собраний первой части своего собственного наименования, ее борьба не будет безнадёжной.

В. Пирожкова

МАРКИЗ ДЕ КЮСТИН, ГЕНЕРАЛ СМИТ И ПРОФЕССОР КЕННАН

10 июля 1839 г. в Россию прибыл знатный путешественник, богатый аристократ и литератор-графоман, маркиз Астолф Людвик Леонор де Кюстин. Он произвел импонирующее впечатление в придворных кругах С.-Петербурга, был приглашен на придворные балы и на одном из них имел долгий и квази-откровенный разговор с императором Николаем I. Кроме Петербурга, он посетил Москву, Ярославль и Нижний Новгород и 26 сентября выехал из России, сделав в своем дневнике (в пограничном прусском городе Тильзите) заметку: «Наконец я могу дышать».

По возвращении во Францию Кюстин принялся подробно описывать свои наблюдения и впечатления о России, снабжая их пространными рассуждениями и категорическими оценками в качестве нового специалиста по «русскому вопросу».

В 1843 г. в Париже вышло в свет огромное (в 4-х томах) произведение Кюстина: «La Russie en 1839», которое было потом многократно переиздано по-французски и переведено на другие европейские языки. У меня не было ни времени, ни охоты «штудировать» многотомный французский оригинал сочинения Кюстина, и я воспользовался для настоящей статьи сокращенным американским изданием.¹ В своих цитатах (в русском переводе) я указываю страницы этого издания.

Кюстин предвидит, что ему могут указать на непродолжительность и поверхностный характер его наблюдений, но это его не смущает: «На все, написанное мною, русские не дадут мне ответа. Они скажут только: «За три месяца путешествия он видел немного». Это правда, что я видел немного, но я

¹ "The Journal of the Marquis de Custine, Journey of Our Time [1839]", Ed. and trans. by Phyllis P. Kohler. New York, 1951.

почувствовал многое» (стр. 332). Его не смущает также и то, что «между Францией и Россией стоит китайская стена» — славянский язык и национальный характер (стр. 106) — русского языка он не знал. Несмотря на это, самоуверенный маркиз смело заявляет, что он хочет не только описывать все виденное им в России, но и «судить»: «Я или осуждаю или хвалю то, что я вижу; описания недостаточно, я хочу судить» (стр. 231). Послушаем же «приговоры» этого весьма легкомысленного и самодовольного «судьи».

Очень много внимания Кюстин уделяет описанию характера и роли императорской власти в России и отношению населения к ней. Вот его слова: «От конца до конца обширной империи ни одного протеста не раздастся против оргий абсолютной власти. Народ и правительство живут здесь в полной гармонии. Русские не откажутся от тех чудес царской воли, коих они свидетели, соучастники и жертвы... Меня поражает не то, что человек, погруженный в самообожание, человек, которому 60 миллионов людей или, так называемых, людей приписывают всемогущество, делает такие дела, а то, что из хора голосов, которые прославляют его дела как достижения одного человека, не слышно ни одного голоса протеста против чудес самодержавия во имя гуманности. Можно сказать, что русские, великие и малые, опьянены рабством» (стр. 73).

«Здесь никто не умирает и никто не дышит иначе, как с разрешения или по приказу императора; поэтому все здесь мрачны и стеснены. Молчание господствует над жизнью и парализует ее. Офицеры, извозчики, казаки, крепостные крестьяне, придворные — все суть слуги разного порядка одного господина и слепо повинуются идее, которой они не понимают... В массе этих людей, лишенных досуга и воли, видны только тела без души, и содрогаешься при мысли, что для такого огромного множества рук и ног существует только одна голова» (стр. 75). «В России правительство господствует над всем и не дает жить ничему. В этой обширной империи смерть парит над головами и поражает их по своему капризу... Здесь человек имеет два гроба — колыбель и могилу» (стр. 319). «Эта обширная империя есть только тюрьма, от которой император держит ключи» (стр. 150).

Говоря о русском народе, Кюстин не скупится на красочные характеристики: «Другие нации терпели угнетение;

русская нация любила и любит его» (стр. 254). «В понятии русских быть дисциплинированным значит быть цивилизованным... Русские еще не цивилизованы. Они суть дисциплинированные татары, ничего больше» (стр. 98). «Русские суть переодетые китайцы» (стр. 190). «Русские суеверны, хвастливы, храбры и ленивы как солдаты; характера поэтического, музыкального, созерцательного как пастухи; ибо нравы кочевых племен будут долгое время господствовать среди рабов» (стр. 137). «Нравы русских, несмотря на претензии этих полудикарей, жестоки и еще долго останутся такими. Немного больше ста лет тому назад они были действительно татарами; только Петр Великий принудил мужчин вводить женщин в общественные собрания. Под их современной элегантностью новых пришельцев к цивилизации они все еще остаются медведями; они только перевернули свои шкуры наизнанку, но если их немного поскрести, то найдешь медвежью шерсть» (стр. 169). «Несмотря на притязания, которые внушил русским Петр Великий, Сибирь начинается на Висле» (стр. 106). «Все в России есть обман» (стр. 149). «В России господствуют ложь и обман во всех формах» (стр. 254). «Я вижу русских, одержимых страстью подражания другим народам, и они подражают им как обезьяны... Эти люди вышли из состояния дикости, но они непригодны для цивилизации» (стр. 91). «У русских подражательный дух, он копирует все и не создает ничего» (стр. 140). «Для русских внешность есть все, и их собственная внешность более обманчива, чем у других народов» (стр. 331). «Россия есть страна немых; некий волшебник превратил 60 миллионов людей в автоматы, которые ожидают времени, когда волшебная палочка другого колдуна возвратит их к жизни» (стр. 161). «Россия есть тело без жизни» (стр. 146). «Русская цивилизация есть замаскированное варварство, больше ничего... В действительности русские останутся варварами, но, к сожалению, у этого дикаря есть огнестрельное оружие» (стр. 170).

Кюстин отмечает русскую религиозность: «Русские, в своем существе, религиозны, по крайней мере, церкви у них — их собственные» (стр. 137); но затем этот правоверный католик (впрочем, не весьма добродетельный в своей жизни) смело заявляет, что господствующая в России «византийская» религия решительно никуда не годится и Богом в России

признается царь. «Несмотря на культ Св. Духа, эта нация всегда имела своего бога на земле. Подобно Батыю и Тамерлану, царь в России есть божество для его подданных» (стр. 165). «Христианская религия потеряла в России свою духовную ценность... Она есть только одно из орудий деспотизма и ничего больше» (стр. 232). «Эта церковь не имеет власти над сердцами; она может делать только лицемеров и суеверов» (стр. 335).

Маркиз приводит ужасный (и, конечно, вымышленный) пример русского суеверия: «Я знаю из хороших источников, что некоторые казацкие офицеры, которые вели своих людей за-границу во время войны 1814-1815 гг., говорили им: «Убивайте неприятелей... Если вы будете убиты в бою, то вы через три дня воскреснете душою и телом и возвратитесь к вашим женам и детям. Чего же вам бояться?» — Люди, привыкшие в голосе своих офицеров слышать голос Господа Бога, принимали это обещание буквально. Но можно ли представить себе без ужаса и отвращения моральное состояние нации, армии которой были наставляемы таким образом менее, чем 25 лет тому назад? А что происходит сегодня? Я не знаю и боюсь узнать» (стр. 297).

При посещении Москвы Кюстин наблюдал на улицах, что «население здесь более оживленное и веселое» и более свободно дышит, чем в Петербурге; но зато московский Кремль произвел на чувствительную душу маркиза ужасающее и угнетающее впечатление. Кремль для него есть «священное убежище восточного деспотизма» (стр. 243). «Если гигант, именуемый Российской Империей, имеет сердце, я сказал бы, что Кремль есть сердце этого чудовища; он и его голова» (стр. 246). «Нельзя приблизиться к Кремлю без содрогания...» Этот «дьявольский монумент... есть подходящее обиталище для фигур Апокалипсиса» (стр. 250). «Мрачные соборы Кремля подобны пещерам; это — темницы так же, как дворцы — золоченные тюрьмы» (стр. 251).

Из приведенных цитат достаточно ярко рисуется изображение Кюстином русского народа как огромной, совершенно однородной, безмолвной и безвольной массы рабов, которая любит свое рабство и поклоняется своему царю как Богу. Однако в нескольких местах своего обширного сочинения рассеянный маркиз рисует совершенно иную картину.

«Эта безграничная власть царя подрывает самое себя. Россия не будет подчиняться ей вечно. Дух возмущения тлеет в армии. Я говорю, как говорит император, что русские путешествуют слишком много. Нация жаждет просвещения. Таможенные границы не имеют власти над мыслью; ...преследуемая, она уходит в подполье. Идеи парят в воздухе, они повсюду, а идеи изменяют мир» (стр. 333).

В России «тирания и бунт шагают в ногу, и каждый приспособляет свой шаг к шагу другого» (стр. 179). «Одно слово правды, брошенное в Россию, было бы подобно искре, попавшей в бочку с порохом» (стр. 330). «Россия есть котел кипящей воды, плотно закрытый, но помещенный над огнем, который становится все жарче. Я боюсь взрыва» (стр. 147).

Но больше, чем возможный взрыв русского котла, чувствительного маркиза пугает и угнетает то, что вся политика русского правительства и русского народа направлена на... завоевание мира! «Россия есть полк из 60 миллионов человек», цель которого есть завоевание мира (стр. 128). «Царь Петр привил всему своему народу болезнь честолюбия с целью сделать его более покорным и управлять им по своему желанию, так что теперь русский народ неспособен ни к чему, кроме завоевания мира. Я постоянно возвращаюсь к этой теме потому, что эта цель может служить единственным объяснением тех исключительных жертв, которые здесь государство требует от индивидуума. Без этой последней цели... история России представляется мне необъяснимой загадкой (стр. 185). «Это государство может жить только завоеваниями... Русский живет и думает как солдат — солдат, стремящийся к победам и завоеваниям» (стр. 150). «Русские хотят управлять миром, завоевав его; они думают захватить вооруженную силу страны, доступные для них, и затем угнетать остальной мир путем террора... Зрелище этого общества, в котором все пружины напряжены подобно взведенному курку револьвера, готового стрелять, пугает меня до состояния головокружения» (стр. 229). Русские — «стоящие на коленях рабы мечтают о мировом господстве» (стр. 329).

Нет надобности подробно разбирать или критиковать мнения и рассуждения красноречивого французского маркиза, ибо

они, поистине, «говорят сами за себя». Я хочу лишь напомнить, что время, когда Кюстин посетил Россию, было временем успешного развития русской культуры (с ее главным очагом — Московским университетом) и временем цветения русской литературы и особенно поэзии, переживавшей свой «золотой век». Это было время, когда Россия только что похоронила Пушкина (убитого в 1837 году злодейской рукой «цивилизованного» европейского дикаря) и трон русской поэзии занимал Лермонтов; когда в России жили и творили такие представители литературы и поэзии, как Гоголь, Крылов, Жуковский, Баратынский, Батюшков и друг.; когда успешно развивалась университетская наука (Лобачевский, Зинин, Грановский, Погодин, Беляев, Неволин, Бодянский и друг.); когда в журналистике и литературной критике блистал Белинский, а в области музыкального творчества — Глинка; когда складывались теории славянофилов и западников, и т.д.; вот немногие имена и факты, характеризующие русскую культуру конца 30-х годов, от которой нашего маркиза отделяла «китайская стена» его невежества и предрассудков.

Говорить с Кюстином (и его поклонниками) о русской культуре, конечно, бесполезно; но вот на вопросе внешней политики я хотел бы несколько задержаться, ибо лживая сказка французского маркиза о стремлении российских императоров к мировому господству и доселе принимается за факт и пользуется популярностью среди многих западных историков и публицистов, которые усердно стараются установить преемственность между внешней политикой «царизма» и всемирно-завоевательными планами троцкистско-ленинского и сталинского Коминтерна.

Вспомним *факты*. Правда, что в течение XIX века императорская Россия приобрела обширные владения на Кавказе и в Азии. Польша, присоединенная к России в 1815 году, получила от имп. Александра I конституцию, которой не имела сама Россия и которая была отменена только после польско-русской войны 1830-1831 гг.; а Финляндия с 1809 г. до конца XIX в. оставалась не колонией, а полунезависимым государством. Азиатские «колонии» России все были в одном куске с европейскими областями великой Евразийской империи; единственным заморским владением империи была Аляска; и ту императорское правительство в 1867 году подарило (или «про-

дало» за гроши) Соединенным Штатам. А европейские, будто бы менее агрессивные, государства — Британия, Франция, Испания, Португалия, Голландия — приобретали себе заморские колонии во всех пяти частях земного шара (и их колониальное управление, как известно, не отличалось либерально-демократическим характером).

А вот как императорское правительство стремилось к завоеванию Европы: после победы над Наполеоном Александр I «придумал» так наз. «Священный союз», целью которого было не завоевание Европы, а, наоборот, охранение существующих прав и владений европейских государей, включая турецкого султана. Александр не только отказался помогать грекам, восставшим против турецкой власти, но сурово осудил греческое восстание как «бунт против законного государя». Правда, Николай I отказался от продолжения этой чересчур легитимистской политики и — в союзе с Англией и Францией — помог образованию национального Греческого государства; но когда в 1831-32 гг. правитель Египта Мегмет-Али поднял восстание против султана и угрожал Константинополю, то Николай («враг мятежа и верный друг султана») поспешил на помощь своему турецкому другу: в феврале 1833 г. он послал к Босфору для защиты Константинополя черноморскую эскадру и большой десантный отряд (высадившийся на малоазийском берегу). Египетский «мятежник» вынужден был помириться с султаном, а благодарный султан пожаловал всем чинам «вспомогательного отряда Российских войск» золотые (офицерам) и серебряные («нижним чинам») медали за спасение Турецкой империи от грозившей ей опасности.

В 1849 г., когда венгерское восстание за независимость угрожало многонациональной Австрийской империи распадением, Николай I послал свои войска в Венгрию и подавил восстание венгерских патриотов, в результате чего в 1867 году образовалась Австро-Венгерская монархия, ставшая главным соперником России на Балканском полуострове — соперничество, которое привело к первой мировой войне и к падению Российской империи.

Наконец, со своей соседкой Пруссией Николай жил в полной дружбе и согласии и, конечно, никогда не помышлял о походе на Берлин (или на Париж); он был женат на дочери прусского короля Фридриха-Вильгельма III (и сестре Фридриха-

Вильгельма IV) и всячески проявлял свою дружбу к немецким державам; такой же политики неизменно держался и его министр иностранных дел, немец граф Нессельроде.

Так что если у французского маркиза при виде российских войск в Петербурге «кружилась голова» от страха, что они вот-вот пойдут на завоевание Европы, то это можно объяснить только слабостью его нервов и пылкостью его невежественного воображения.

Однако я опасаюсь, что читатели «Н. Ж.» могут обратиться к старому летописцу с вопросом: «Дедушка, зачем же и почему ты нам рассказываешь про этот кюстиновский вздор?» А вот почему: книга Кюстина (в 4 томах), впервые опубликованная в Париже в 1843 году, вызвала в европейском обществе огромный интерес и, очевидно, была принята «всерьез», а не как сатира или карикатура; немедленно потребовался ряд новых изданий (в библиотеке Ейльского университета имеется издание 1844 года, и это уже 4-ое издание); немедленно (в 1844 году) она появилась в английском переводе и потом многократно переиздавалась на разных европейских языках. Эта «беспардонная» болтовня французского маркиза широко разошлась по Европе (по оценке Кюстина, за первые два-три года было продано более 200 тыс. экземпляров его книги) и оказалась одним из «первоисточников», из которых западная интеллигенция черпала свои «познания» о России и русском народе. И этот интерес к Кюстину и его книге сохраняется на Западе и до наших дней: в 1951 году в Нью-Йорке было издано сокращенное издание книги Кюстина, на которое я и ссылаюсь в начале статьи.

В 1946-49 гг. послом США в Москве был генерал В. Б. Смит. Американским дипломатам, угнетаемым царящими в сталинской Москве террором, шпионством и ксенофобией, случайно попала в руки книга Кюстина, и они пришли от ее содержания в «мрачный восторг» — если можно так выразиться. Да ведь это же, решили они, все то же самое, что мы теперь переживаем! Значит, решили они (по своей неосведомленности в русской истории), что в России всегда было то же, что и теперь. Супруга видного дипломатического чиновника, г-жа Ф. Колер, перевела сокращенную версию книги Кюстина на английский язык, а ген. В. Б. Смит написал введение к нью-йоркскому изданию 1951 г.

И вот что мы читаем в этом введении: «Здесь, (т.е. в книге Кюстина) мы находим красочное, драматическое и правдивое повествование о России и русских... Здесь политические наблюдения столь проницательны и «вне-временны», что этот труд может быть назван лучшим трудом из всех, доселе написанных о Советском Союзе. Здесь указано, до какой степени сталинский режим перевел часы назад в России» (стр. 5). «Недостаточно и, по существу, неправильно говорить, как мне говорят многие, что русский народ — такой же, как и другие народы, и только правительство различно. Нет, и народ тоже отличается» (стр. 8). «Цари держали русский народ в состоянии жалкого невежества и социального и экономического рабства» (стр. 8). «Перемена названий не изменила характера правителей России и ее учреждений. Сталин или царь — одинаково «батюшка» для русского народа, и все тот же безжалостный деспотизм» (стр. 10). «Аналогия (сходство) между Россией 1839 года и современным Советским Союзом поразительна (стр. 12): то же угнетение и террор, «искоренение и ссылка в Сибирь целых групп населения», и во внешней политике все та же цель — завоевание мира» (стр. 13).

Резюмируя вышеприведенные цитаты, надлежит сказать, что ген. Смит принял кюстиновскую карикатуру николаевской России за ее фотографическое изображение. Должен оговориться, что я ни в какой мере не «защищаю» и не идеализирую личность и правление Николая I. Наоборот, я считаю Николая I и Победоносцева злыми гениями Российской империи, которые своими попытками «заморозить» русский политический и социальный строй, т.е. остановить естественное развитие России в направлении общественной самостоятельности и политической свободы, подготовили революционные потрясения начала XX ст. Но все же сравнивать правительство Николая I (при всех его недостатках) с нечеловечески-злодейской тоталитарной диктатурой Сталина, с ее миллионами «убиенных и умученных» ни в чем неповинных людей — это все равно, что сравнивать домашнюю кошку с бенгальским тигром на том основании, что у этих животных есть четыре лапы с когтями.

Много говорится о жестокой расправе Николая I с декабристами (конечно, и Кюстин о ней говорит); но и здесь должно применить исторический масштаб. Николай I казнил пять вождей *двух* вооруженных восстаний: в Петербурге 14 декабря

1825 г., и в Киевской губернии в конце декабря и в начале января (восстание Черниговского пехотного полка). Собственно «декабристов», т.е. членов «Северного общества» и участников «14 декабря» было казнено двое: лидер Общества поэт Рылеев и отставной поручик Каховский, который 14 декабря на Сенатской площади убил петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича (героя Отечественной войны) и командира лейб-гвардии Гренадерского полка полковника Стюллера.² Что здесь общего с ленинскими и сталинскими массовыми убийствами «заложников», «классовых врагов» или просто «подозрительных»?

И еще одно «сравнительно историческое» замечание. В 1820-22 гг. в некоторых западно- и южно-европейских государствах (в Испании, Неаполе, Пьемонте) произошли военные восстания с целью завоевания политической свободы; после кратковременного успеха они были подавлены (с помощью иноземных войск), и восторжествовавшие европейские самодержцы казнили не только вождей, но и сотни рядовых участников восстаний; однако об этом никто теперь в Европе не плачет и почти даже никто не помнит.

Когда я получил от редактора «Н. Ж.» книгу проф. Дж. Ф. Кеннана "The Marquis de Custine and His Russia in 1839", Princeton U. Press, 1971, с просьбой написать о ней отзыв, я сначала пришел в полное недоумение: Кюстин и Кеннан! Что общего может быть между ними? Должен сказать, что я отношусь к профессору Кеннану с полным уважением по трем основаниям: во-первых, потому, что он серьезный ученый с большой эрудицией, который пишет свои труды на основании тщательного изучения исторических источников; во-вторых, потому, что, занимая высокий дипломатический пост посла США в Москве, он не убоился неодобрительно отозваться о советской антиамериканской пропаганде, и рассердившееся сталинское правительство потребовало его отозвания из Мос-

² Мемуарист той эпохи Ф. Вигель замечает, что казнь пяти декабристов произвела на русское общество потрясающее и подавляющее впечатление потому, что за предыдущие 25 лет (т.е. за все царствование Александра I) в России не было ни одного случая казни за политические преступления.

квы (в 1952 году); в-третьих, потому, что он помог Светлане Аллилуевой (перед которой я преклоняюсь) перебраться из маленькой нейтрально-безмолвной Швейцарии на простор Соединенных Штатов, где она смогла издать две весьма интересных книги.

Но почему же заслуживающий полного уважения профессор Кеннан взялся писать биографию не заслуживающего никакого уважения французского маркиза? В США сочиняется и издается (очевидно, и покупается и читается) множество биографий не только замечательных, но и не очень замечательных (в историческом смысле) людей всех эпох, наций и профессий. Поэтому, я думаю, и нашему маркизу незаслуженно достался такой солидный биограф. Вторую причину сочинения маркизовой биографии указывает сам автор ее. Книга Кюстина о России в 1839 году обнаружила «упорную долговечность», и потому книга и ее автор заслуживают внимания историка (предисловие, стр. VIII).

1-ая глава книги проф. Кеннана излагает личную биографию Кюстина. Он был плодовитым писателем, но его стихи, романы и театральные пьесы не имели никакого успеха (стр. 10), и все, за исключением его «долговечного» труда о России в 1839 году, оказались скоро забытыми. 2-ая глава — о мотивах путешествия Кюстина в Россию — признает, что мотивы эти для историка «не вполне ясны» (стр. 15). Проф. Кеннан предполагает, что путешествие Токвиля в Америку и успех его книги об американской демократии (вышедшей в 1835 г.) могли побудить Кюстина к попытке написать аналогичный труд о стране с иным политическим строем. 3-ья глава говорит о самом путешествии и об информации о России, полученной Кюстином от русского спутника (дипломата, князя П. Б. Козловского). 4-ая глава — «Кюстин в России» — говорит о его пребывании в Петербурге (и о его разговоре с имп. Николаем на придворном балу) и о его путешествиях в Москву, Ярославль и Нижний Новгород, причем проф. Кеннан замечает, что подробности этих путешествий касательно личных встреч и сношений остаются «отрывочными, неудовлетворительными, покрытыми мраком» (стр. 69). 5-ая глава излагает взгляды Кюстина на Россию, приведенные нами выше. Кюстин вращался в придворной атомосфере, характер которой так ярко обрисовал Лермонтов в стихотворении на смерть Пуш-

кина. «Двери более независимых и более интересных аристократических домов в Петербурге оказались, повидимому, закрытыми для Кюстина, и это, несомненно, увеличивало его озлобленность» (стр. 79). 6-ая глава подробно говорит о реакции современников в Европе и в России на книгу Кюстина (в России даже при Николае I знали о заграничных литературных новинках, хотя формально и запрещенных к ввозу, как книга Кюстина). В частности, В. А. Жуковский кратко и выразительно характеризовал сочинение Кюстина как «пасквиль в 4-х томах» (стр. 107). Глава 7-ая (последняя), «Кюстин с точки зрения наших дней» — оценивает общий характер и историческое значение книги Кюстина. Проф. Кеннан, в частности, указывает на влияние польской политической эмиграции во Франции, которое побуждало Кюстина «недооценивать то, что было в России хорошего, преувеличивать то, что было плохо, и находить удовольствие в этом преувеличении» (стр. 120). Проф. Кеннан признает справедливость критики, указывавшей на фактические ошибки и неточности в книге Кюстина и на односторонний характер его наблюдений: «Книга была, по отношению к фактам, ужасно и постыдно неточной. Он беззаботно передавал своим читателям все анекдоты, сплетни и обрывки слухов, которые ему попадались, не пытаясь, как правило, серьезно их проверять... просто для развлечения читателя» (стр. 120-121). «Он видел, в действительности, только официальную оболочку русского общества» (стр. 121). Он видел только «Россию власти и цинизма» и не видел другой России — «России духа и веры»; он не видел новой литературы и интеллигенции (стр. 122-123).

После всех этих справедливых критических оценок книги Кюстина проф. Кеннан приходит к неожиданному для меня «открытию» ее общеисторического значения: «Если даже признать, что *«Россия в 1839 году»* не была очень хорошей книгой о России в 1839-м году, мы встречаемся с тем печальным фактом, что она была прекрасной, вероятно, самой лучшей книгой о России Иосифа Сталина и неплохой книгой о России Брежнева и Косыгина» (стр. 124). «Кошмар 1839 года стал реальностью 1939-го и полуреальностью 1969-го года» (стр. 125). «Сталинская система впервые воплотила в действительности мрачные сновидения Кюстина» (стр. 133).

Мы могли бы преклониться перед пророческим даром Кю-

стина, если бы мы думали — как «думают» все советские историки, по обязанности, и многие западные, по разным причинам, — что торжество ленинско-сталинской власти в России было «неизбежно и необходимо». К счастью, проф. Кеннан не придерживается этого суеверия. Указав на всесторонний прогресс России в начале XX века (стр. 128-129), автор продолжает: «Существует рационально обоснованный взгляд (и автор, среди других, придерживается этого взгляда), что русская революция была случайной, поскольку она была результатом целого ряда факторов, во внезапном совпадении которых (во времени) нельзя распознать никакой внутренней логической связи» (стр. 130).

В самом деле, кто в середине XIX века мог предвидеть убийство Александра II и появление во главе управления империи мрачной фигуры Победоносцева; весьма неудачную женитьбу имп. Николая II на принцессе Алисе Гессенской, с ее телесными и душевными недугами; русско-японскую войну; неизлечимую болезнь наследника престола и распутинский скандал, дискредитировавший монархию; сараевский выстрел; катастрофический недостаток снарядов у русской армии в Галиции летом 1915 г., «министерскую чехарду» 1915-1916 гг. и т.д.? Ведь еще накануне мировой войны сам вождь и главный режиссер ленинской революции не ожидал скорого пришествия революции в России, а сама ленинская «социалистическая» революция произошла уж никак не «по Марксу».

Но возвратимся к Кюстину. После справедливой критики «достоверности» кюстиновского повествования о России, проф. Кеннан пишет: поскольку только благодаря случайному стечению обстоятельств Россия не пошла по либерально-демократическим путям, «можно было бы думать, что и посмертный триумф Кюстина был случайным и не служит доказательством его прозорливости». Однако, продолжает автор, «в этом не вся суть... что бы ни говорить о Кюстине... читатель наших дней должен признать, что летом 1839 года он сумел заметить такие черты характера русского правительства и общества, частью действительные, частью латентные, признание и исправление которых было бы необходимо для будущего успеха и безопасности России» (стр. 131).

Я не могу усмотреть в сталинской диктатуре «посмертный триумф» Кюстина, ибо не верю ни в какие предвидения и

предсказания исторических событий, долженствующих, будто бы, совершиться через 100 лет; мы знаем, что и ныне, при современной науке и технике, при всех компьютерах, анкетах и исследовательских институтах, нельзя предсказать даже событий будущего года, и, по моему мнению, книга Кюстина не имеет ни исторической, ни «пророческой», т.е., коротко говоря, *никакой ценности*.

Проф. Кеннан пишет, что в путешествии Кюстина остается «много интригующих загадок, которые (для их раскрытия) требуют дальнейшего исследования» (стр. 117), и выражает надежду, что его собственная книга о Кюстине послужит стимулом для дальнейших работ на эту тему (предисловие, стр. XII).

Я же, наоборот, позволю себе выразить надежду, что американские специалисты по русской истории будут искать (и найдут) для своих исследований более важные и интересные темы, чем детальное изучение отношений, впечатлений, настроений и размышлений бойкого на язык, но весьма легковесного французского маркиза.

С. Пушкарёв

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Б. К. ЗАЙЦЕВ

Русская зарубежная литература понесла тяжелую утрату: 28 января с. г. в Париже тихо скончался старейший русский зарубежный писатель, Борис Константинович Зайцев. Не дожил он до 91 года всего 14 дней.

Уход из жизни Б. К. Зайцева как-бы еще больше отдалил нас от славной эпохи Чехова, Леонида Андреева, Бунина, Куприна, Александра Блока, А. Белого, Мережковского и др. — этой блестящей плеяды писателей и поэтов «серебряного века» русской литературы. Борис Константинович был неотъемлемой частью этого века. Родился он 11 февраля (29 янв. ст. ст.) 1881 г. в Орле, вырос в тех краях, где «богатство земли, тучность и многообразие языка давали людям искусства» — в Орловской и Тульской губерниях.

Окончив в 1898 году первым Калужское реальное училище, Б. К. Зайцев поступил в Императорское техническое училище в Москве, но его не закончил. Затем он учился полтора года в Горном институте в Петербурге, а из него перешел в Московский университет на юридический факультет, но и его не закончил: «Нигде толку не было, всюду бросал», писал Б. К. Зайцев о себе.

Отец Б. К. Зайцева — горный инженер — хотел, чтобы и сын пошел по его дороге. Б. К., однако, избрал себе другой путь — путь писателя. Писать он начал рано, еще в студенческие годы. Одобрительно отнеслись к первым, еще неуверенным шагам юного писателя зрелые и уже давно признанные А. П. Чехов, Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко. Однако, настоящим литературным крестным отцом Б. К. Зайцева стал Леонид Андреев, напечатавший в 1901 году в редактировавшейся им московской газете «Курьер» импрессионистическо-лирический эскиз молодого автора «В дороге», а через год — рассказ «Волки». Андреев же и ввел «молоденького студента в серой форменной тужурке с золочеными пуговицами» (по воспоминаниям Н. Д. Телешева) в кружок писателей «Среда».

В 1906-1911 гг. в издательстве «Шиповник» вышли три тома рассказов Б. К. Зайцева, под общим заглавием «Рассказы». В последующих изданиях сборники имели уже названия: т. I «Тихие зори»; т. II «Полковник Розов»; т. III «Сны». В 1914-1915 гг. в издании К. Ф. Некрасова в Ярославле вышли: т. IV «Рассказы. Усадьба Ланиных» (в 1915-16 гг. пьеса «Усадьба Ланиных» шла в театре Корша в Москве); т. V «Дальний край»; в 1916-1919 гг. в издании «Книгоиздательство писателей в Москве» вышли: т. VI «Земная печаль», т. VII «Путники».

В последний том вошла повесть «Голубая звезда», которую автор считал «самой полной и выразительной» из всего, написанного им до 1922 года. В годы революции (1918-1922) написаны были рассказы: «Белый свет», «Душа», «Улица св. Николая»; драматические зарисовки: «Души чистилища», «Дон Жуан»; новеллы: «Карл V» и «Рафаэль».

Во время первой мировой войны Б. К. Зайцев с семьей жил в имении отца «Притыкино» Тульской губернии. В декабре 1916 г. он поступил в Александровское военное училище, по окончании которого был зачислен в 192-ой запасный полк Московского гарнизона. Но на фронт Б. К. не попал: в июле 1917 г. он заболел воспалением легких, а в сентябре уехал в отпуск в Притыкино, где его и застало Московское вооруженное восстание.

Отклонив предложение «трудмобилизации» в Притыкине поступить, как человеку «письменному», писарем в Каширу, Борис Константинович с семьей в 1921 г. выехал в Москву. Здесь он работал в «Книжной лавке писателей», где вместе с Бердяевым, Осоргиным и др. торговал книгами. «Не первые ли мы по времени нэпманы?» — шутливо, уже в эмиграции, вспоминал он об этой полосе своей жизни. В это время он был выбран председателем Московского Союза писателей.

Весной 1922 г. Б. К. Зайцев тяжело заболел сыпным тифом, а в июне того же года, получив «две красные паспортные книжки с фотографиями, печатями и подписями» — разрешение на выезд за границу «по расстроенному здоровью». Б. К. с семьей выехал сначала в Берлин, затем в Италию и, наконец, в Париж, где и оставался до конца своей жизни.

Пятьдесят лет прожил и писал Б. К. вне родины, но всегда оставался, по меткому определению Михаила Осоргина, «русейшим русским писателем», т. к., за редким исключением (не-

сколько очерков и воспоминаний об Италии и «Звезда над Булонью») всё, написанное им за годы эмиграции, обращено к России.

Этот зарубежный период жизни и творчества Б. К. Зайцева открылся выходом в 1922 году в Берлине в издании З. И. Гржебина полного собрания его сочинений в шести томах. Далее последовали роман «Золотой узор», 1926; повести: «Странное путешествие», 1926, «Авдотья-Смерть», 1927 и «Анна», 1929; роман из эмигрантской жизни «Дом в Пасси», 1933; автобиографическая тетралогия (1934-1952): «Путешествие Глеба», «Тишина», «Юность», «Древо жизни». Все эти книги тетралогии проникнуты характерным для писателя лиризмом и мягкой грустью прощания с милым, отошедшим в историю прошлым. В 1961 году в Париже был издан перевод на русский язык «Божественной комедии» Данте, сделанный Б. К. Зайцевым ритмической прозой.

Особое место в творчестве Б. К. Зайцева занимают произведения глубокой внутренней настроенности, написанные, по его же словам, «православным человеком и русским художником»: «Преподобный Сергей Радонежский», 1924; «Алексей Божий человек», 1925; «Сердце Авраамия», 1926; «Афон», 1928 и «Валаам», 1936. К ним примыкает замечательный рассказ о двух архимандритах «Река времен», 1964.

Б. К. Зайцева глубоко интересовал биографический жанр. Он оставил нам довольно многочисленные портретные зарисовки-воспоминания о своих современниках — русских поэтах и писателях (вошли в сборники «Далекое», 1965 г. и «Москва», 1939), а также биографические очерки «Царь Давид», 1945 г. и «Тютчев. Жизнь и судьба», 1949 г. Однако наиболее известны его книги этого жанра «Жизнь Тургенева», 1929-1931, «Жуковский», 1951 и «Чехов», 1954. После этих трех биографий Б. К. Зайцев готовился писать биографию Достоевского, но тяжелая болезнь, а затем и смерть жены помешали ему осуществить этот замысел.

В последние годы жизни Б. К. Зайцев уже не писал больших вещей, но его воспоминания, статьи и очерки появлялись в «Новом Журнале», «Русской мысли», «Новом русском слове».

Отдельные произведения Б. К. Зайцева были переведены на многие иностранные языки.

Когда-то Юлий Айхенвальд назвал Б. К. Зайцева «поэтом

прозы», «органистом во храме нашей словесности», «чистой звездой на горизонте русской литературы». Теперь этот органист покинул храм, звезда погасла. Но звуки его музыки, чистый свет звезды навсегда остались в его творчестве. Вечная память поэту прозы!

Ариадна Шиляева

Ф. А. МОЗЛИ

13 января с. г. в Нью Йорке после продолжительной и тяжелой болезни на 67 году жизни скончался большой друг «Нового Журнала», известный ученый профессор Филип Артурович Мозли. Ф. А. окончил Харвардский университет, где был учеником проф. М. М. Карповича, с которым до последних дней жизни М. М. Карповича сохранил самые близкие отношения. Ф. А. совершенно свободно говорил по-русски, любил русскую культуру, хорошо знал историю России и историю русской общественной мысли. Поэтому неудивительно, что Ф. А. в Америке в течение долгих лет был одним из самых видных знатоков русского вопроса и «советологии».

В 1946 году Ф. А. основал Русский Институт при Колумбийском Университете и с 1951 по 1955 г.г. был его директором. Кроме того ему обязан тот же университет созданием Русского Архива, директором которого он также состоял. Этот архив является одним из главных зарубежных хранилищ русских культурных ценностей (документы, мемуары, редкие книги и пр.). Почти ко всем русским культурным начинаниям в США Филип Артурович всегда имел непосредственное отношение и часто бывал инициатором многих. Так, в свое время, при его ближайшем участии в Нью Йорке было создано Издательство имени А. П. Чехова. Ф. А. помогал многим представителям русской культуры, устраивая в благотворительных учреждениях им стипендии для написания ими тех или других трудов. Он был одним из деятельных работников, основанного Б. А. Бахметевым, «Юманитис Фонда».

Когда Филип Артурович был руководителем Восточно-Европейского Фонда он очень помог изданию «Нового Журнала» (через Фордовский Фонд). Я особенно хочу подчеркнуть его трогательное отношение к «Новому Журналу», выходу которого он придавал исключительное значение, как голосу

свободной русской интеллигенции. Помню, когда «Новый Журнал» попал в большую финансовую беду и ему грозило чуть ли не закрытие, на помощь опять пришел Филипп Артурович, в письме ко мне писавший: «Мы не должны и не можем доставить Советскому Правительству такое удовольствие — чтобы «Новый Журнал» закрылся». И благодаря Ф. А. журнал опять-таки вышел из финансовой катастрофы.

Но говоря о помощи Ф. А. многим русским культурным начинаниям в эмиграции и о помощи его многим представителям русской интеллигенции за рубежом, нельзя не упомянуть и о другой стороне деятельности Ф. А. Мозли. С 1942 по 1946 г.г. он занимал должность советника в Государственном Департаменте. Он сопровождал государственного секретаря Корделла Холла в Москву в 1943 году. Он был политическим советником делегации США в Европейской консультативной комиссии. В 1945 г. был советником на Потсдамской конференции, а в Лондоне и в Париже в 1945-46 г. — консультантом при Совете министров иностранных дел. Он имел самое близкое отношение к публикации «Текущего обозрения советской печати», печатал свои статьи по вопросам иностранной (гл. образом русской и советской) политики в журнале «Форен Афэрс». Он издал ряд трудов по истории дипломатических отношений России и Запада. Смерть застала его на посту профессора по вопросам Международных отношений Колумбийского Университета.

Многие русские, живущие в США (и вне их) вспоминают добром этого талантливого ученого и отзывчивого человека. «Новый Журнал» со смертью Ф. А. потерял своего старого и дорогого друга, который не раз в самые критические моменты приходил на помощь журналу. Да будет Филиппу Артуровичу легка его родная земля.

Роман Гуль

СОБЕСЕДНИК

ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ВИКТОРОВИЧА АДАМОВИЧА

У Георгия Викторовича была живая связь с русской литературой. Ни в России, ни в эмиграции такого живого ощущения этой связи почти ни у кого уже нет. Творчество продолжается, Россия не оскудела талантами, и мы еще не умолк-

ли в нашем *рассеянии*. Но нет арбитра, нет критика, нет собеседника, с которым можно и не соглашаться, но который так понимал бы литературу умом и сердцем, как Георгий Адамович. Он всегда стремился понять искусство слова по существу, самое его зерно, из которого он росло и растет.

Метод? Может быть, никакого метода у него не было, но был свой личный творческий подход к самому главному в литературе.

Г. В. не жаловал литературоведов и это слово казалось ему комичным. Он иногда даже подчеркивал неакадемичность своих писаний, и не боялся упреков в «импрессионизме»; и если был он «импрессионистичен», то иначе, чем Юлий Айхенвальд с его поверхностными и будто бы «изящно» написанными этюдами о русской поэзии! При всем своем неформализме, Г. В. ощущал форму или *плоть* стихов, хотя в статьях и избегал обсуждения формальных признаков. Но в беседах или в письмах он любил поговорить о тайнах поэтической «кухни». Нравились ему и литературные игры. Так, *на пари* с покойным Александром Гингером, он составил фразу с семнадцатью гласными подряд: Вспоминаю я и её, и её Аи, и её ауэрштедтский замок! (это называется: гиатус).

Георгий Адамович «изобрел» т. н. парижскую ноту с ее канонами простоты, бедности, серьезности, а свое, может быть, лучшее определение поэзии дал в книге *Комментарии*:

«Какие должны быть стихи? Чтобы как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали... если не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы всё было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а всё вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы «ах!», чтобы «зачем ты меня оставил?», и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, последний ключ, от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам. Не будем же изменниками».

Можно и не соглашаться... В поэзии не только грусть, а и радость. Еще — благодарение, как в псалмах. Или как у Осипа Мандельштама, которого Г. В. хорошо знал, очень ценил, но, мне кажется, не вполне понимал. Всё же, это — настоящее определение поэзии, по существу, а не будто бы

объективная научная формула, и, при всей зыбкости, «эмоциональности» этого суждения, он точно разъяснил: что для него поэзия.

Нью-йоркский отель «Дрэйк», где Г. В. жил в ноябре-декабре прошлого года. Я увидел на его столе черновик стихотворения. — Прочтите первую строчку. Я прочел:

Стихи меня не любят. Я не любил стихов...

Стихи его любили и он, прежде всего, был поэт, а не критик. Многие его стихи в русской поэзии останутся. Вернее же — немногие, потому что за всю жизнь он, кажется, дал в печать не более ста стихотворений, хотя, как-то мне признался, что писал их часто, но «не предавал тиснению». Кто из его читателей не помнит этих его стихов, написанных в 1919 г., в Новоржеве («ходил по оснеженному полю и сочинял», сказал он мне недавно):

И может к старости тебе настанет срок
Пять-шесть произнести как бы случайных строк,
Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно шептал на казнь приговоренный,
И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

Всё же, «Я не любил стихов»: не фраза... Предполагаю, он сам себе мешал писать: не хотел быть одержимым стихией стиха, чтобы не солгать, чтобы не быть обманутым какими-то бессмысленными мечтаниями.

В поэзии он стремился к невозможному. Одна его статья так и называется: *Невозможность поэзии*. Но не есть ли это невозможное — только лист белой бумаги?

— Может быть, и так: неисписанная бумага..., сказал Г. В.

Всё же, мы знаем, он попытался как-то определить, если и не невозможную поэзию, то поэзию к невозможному (абсолютному) приближающуюся (в своих *Комментариях*). Те стихи, которые Г. В. любил, поддавались измерению его мерлом: это последний монолог Татьяны или стихотворение Боратынского о музе: Мой дар убог и голос мой негромок... Также многие стихи Иннокентия Анненского: *Кулачишка*, *Человек*, *Смычок и струны*, *Тоска миража* и, в особенности: *О, нет не стан...* с этими заключительными строками:

А если грязь и низость — только мука
По где--то там сияющей красе...

У Блока:

О, если б, знали, дети, вы:
Холод и мрак грядущих дней...

Он также любил некоторые стихи Анатолия Штейгера, Лидии Червинской, Игоря Чиннова.

В прозе высшим мерилom для Георгия Адамовича был Толстой. Должен сознаться, его преклонение перед Толстым, и художником и учителем, мне было непонятно...

— Вы же сами не герой Толстого, а уж скорее Достоевского, вы, может быть, сродни Версиглову...

Из письма от 14-го февр. этого года: «Я недавно в записках 'для себя' записал, что трех писателей мне читать *неловко*. В нисходящем порядке: Достоевский, Розанов, Цветаева». Но из этого не следует, что Г. В. их недооценивал! Это все фрагменты его драматического диалога с русскими и не только с русскими писателями. Толстого Г. В. ценил за его Правду. Но и к Толстому он относился диалогически-критически: «Есть вообще в облике Толстого, — как в позднем протестанстве, — какое-то глубоко очищающее и честное величие. Но требуя от Бога прямоты, он отдалил от него людей, подорвал веру в Бога. Толстовский Бог неумолим и доступа к Нему нет. Так путь к правде оказался путем к небытию...» Но эта вырванная из книги цитата, конечно, не последнее его слово о Толстом, и чтобы знать его диалог с Толстым, нужно перечитать книгу Г. В.: *Толстой* (1960 г.).

Оборвались диалоги Георгия Адамовича, но наши с ним еще продолжают и продолжатся в России. После долгого гробового молчания там начали спорить и, что еще существеннее, начали беседовать, и не только между собой, но и с навсегда умолкнувшими собеседниками, с Бердяевым, с Булгаковым, со многими другими, а также и с Георгием Адамовичем, и два русских поэта недавно посвятили ему стихи.

Из того же письма от 14-го февраля: «'Один сказал...' написано в Париже, но давно. Почему этому стишку повезло среди других моих, для меня загадка. Кстати, я люблю у себя «Светало. Сиделка вздохнула...».

Выписываю это стихотворение:

Светало. Сиделка вздохнула. Потом
Себя осенила небрежным крестом
И отложила ненужные спицы.
Прошел коридорный с дежурным врачом.
Покойника вынесли из больницы.

А я в это время в карты играл,
Какой-нибудь вздор по привычке читал,
И даже не встал. Ничего не расслышал,
На голос из-за моря звавший не вышел,
Не зная куда, без оглядки навек...

А вот, еще говорят — «человек»!

Юрий Иваск

С. М. ЗЕРНОВА

18 января с. г., после долгой и мучительной болезни, переносившейся ею с редким мужеством, скончалась в Париже София Михайловна Зернова. Ее смерть завершает собою целую эпоху в жизни русской эмиграции во Франции, и не в одной лишь Франции, ибо деятельность ее не ограничивалась страной, в которой дано было осуществиться наиболее значительным ее начинаниям.

Родилась С. М. 24 декабря 1899 года в Москве, где провела свое детство и закончила среднее образование в классической гимназии Хвостовой. Родину она покинула в начале 1920 г., когда пришел конец первому периоду вооруженной борьбы с большевиками на Юге России.* Жизнь в изгнании семья Зерновых начала в Константинополе, откуда вскоре переехала в Белград. Там в 1925 году С. М. окончила философский факультет Университета. Вместе со своими братьями и сестрой она принадлежала к белградской группе основателей Русского Студенческого Христианского Движения и участво-

* Свои детство и юность С. М. описала в книге «На переломе», изданной в 1970 году в Париже. Работе ее в эмиграции посвящены написанные ею главы готовящегося к печати второго тома семейной хроники Зерновых — «За рубежом».

вала в его работе, сперва в Югославии, потом во Франции, с 1923 по 1931 год. В качестве секретаря движения, она совершала поездки в страны где налаживалась эта работа (Прибалтика, Соед. штаты и т.д.).

Два года (1932-1934) она заведывала бюро по приисканию труда для русских, учрежденном при Обще-Воинском Союзе в Париже. Здесь особенно ярко выявились не только ее организаторские способности, но и настоящее призвание — помощь ближнему в самом широком и полном смысле этого слова.

Постепенно развивая свою деятельность, С. М. создала в 1935 году в Париже «Центр Помощи Русским Беженцам», бессменным Генеральным Секретарем которого она продолжала с тех пор оставаться. Роль этой организации в жизни русских во Франции была огромна (это касалось одинаково, как «старой эмиграции», так и «новой», прибывшей в Европу после второй мировой войны).

С середины 30-х годов, от имени этого же «Центра Помощи», С. М. устраивает регулярную отправку русской молодежи на летние каникулы в Англию, чему способствует ее деятельное сотрудничество с Братством Св. Сергия и Св. Албания, искавшим путей сближения между православными и англичанами. Одновременно она добивается возможности помещения русских детей на лето в швейцарские семьи. Работа с детьми, принявшая значительные размеры в предвоенные годы, побуждает ее организовать в парижском районе собственный Детский Дом. Острая потребность в нем обнаружилась в момент объявления войны 1939 года. В начальной стадии этот дом помещался в Вилльмуассоне, а с 1954 года был переведен в приобретенное «Центром» поместье в Монжероне. В этом образцовом приюте воспитывалось в момент его наибольшего расцвета более ста детей. Он продолжает существовать и поныне с несколько уменьшенным составом воспитанников. Те из них, кто достигает школьного возраста посещают французские учебные заведения, пользуясь в стенах дома где они живут, кроме обстановки заботливой семьи, уроками, позволяющими им не терять связи с русской культурой. Воспитание их в духе Православия осуществляется и преподаванием им Закона Божия и их участием в богослужениях в

созданном стараниями С. М. храме. Как и в других проявлениях деятельности С. М., существование Детского Дома отвечает нуждам наиболее обездоленной части русских эмигрантов. Находящиеся в нем приют дети большей частью или сироты или принадлежат к семьям перенесшим исключительно тяжелые испытания.

Нельзя не упомянуть здесь и о помощи русским, оказанной С. М. после освобождения Франции от немецкой оккупации. Эксцессы того времени, о которых теперь подробно говорится в объективных исторических исследованиях,** коснулись и русских эмигрантов. С. М. удалось освободить многих арестованных из незаслуженного ими заключения. А граждане СССР, находившиеся в результате военных действий на французской территории? Скольких из тех, за коими в буквальном смысле слова охотилась зимой 1944/1945 гг. НКВД, С. М., со свойственной ей смелостью, спасла от насильственной репатриации!

Таково краткое описание того, что сделала для русской эмиграции С. М. Зернова. Достигнуто все это было при наличии самых скудных средств и создавалось иногда буквально из ничего. С. М. обладала удивительным даром зажигать сердца, как своих соотечественников — часто людей малоимущих, самоотверженно помогавших ей своим трудом — так и состоятельных жертвователей — русских и иностранцев — материально содействовавших ее начинаниям. В личных отношениях с людьми, она производила незабываемое впечатление своим обаянием и тем, что некоторые называли «даром дружбы» — свойством, редким в нашу эпоху. Но, когда спрашиваешь себя откуда происходила та удивительная убедительная сила, которая позволяла ей «двигать горами» и которая была ей присуща наравне с отличавшей ее энергией — что делает ее смерть незаменимой утратой для русского рассеяния — явственно видишь ее источники: укорененность в вере; преданность России, владевшая всем ее существом и, наконец, никогда не угасавшее в ней чувство сострадания к ближнему в особенности же к страждущим сынам нашего земного отечества.

М. Н. Энден

** Robert Aron, Histoire de la Libération de la France, Paris, 1959.

ПАМЯТИ Г. И. ГАЗДАНОВА

«Остаться тоже здесь и стать шофером такси, как героический Гайто Газданов?» — говорил И. Бабель Юрию Анненкову в Париже, размышляя: «что делать?»

Это было в начале тридцатых годов.

Через пять лет Бабель стал жертвой сталинского террора.

Гайто же (Георгию Ивановичу) Газданову судьба подарила еще четыре десятилетия жизненного пути.

На самом деле «героического»: так сплелись, уплотнились здесь и борьба за хлеб насущный, и — какое-то время — университет, и большое литературное дарование — творческий труд. «...Я всегда жил в глубокой нищете и заботы о пропитании поглощали всё мое внимание, — пишет Г. И. в своих автобиографических «Ночных дорогах», лучшей, может быть, из его книг. — Однако, это же обстоятельство дало мне относительное богатство впечатлений, какого у меня не было бы, если бы моя жизнь протекала в иных условиях».

«Богатством впечатлений» Г. И. обладал немалым — каждый раз, когда случалось провести с ним вечер, уносил я с собой словно только что прочтенный сборничек занимательных историй — таким превосходным был он рассказчиком.

Познакомились мы с ним лет семнадцать, должно быть, тому назад. Он и Фаина Дмитриевна приезжали на Штарнбергское озеро (под Мюнхеном), на дачу, где мы с женой провели много летних отпусков кряду. Нужды уже не было у него тогда и в помине; творчество же шло. Ранних его вещей я тогда еще не читал; первое, что узнал в его собственном чтении — рассказ «Вечерний спутник», показалось мне исключительно талантливым.

А за позднейшим (вплоть до последнего: «Эвелина и ее друзья») следил внимательно. И снова был восхищен десятистраничным рассказом «Княжна Мэри» в «Опытах», № 2. Скажу немного о нем.

Помню, при чтении этого именно рассказа сложилось у меня — для себя самого только — определение повествовательной манеры Г. И. Газданова: «медитативная проза». То

есть — полная размышлений-рефлексов, сопровождающих впечатление, переполняющих объективную сюжетность и идущих часто «цепочкой». Цепочка была отчасти западно-литературной природы, но лиризм медитаций был русский неоспоримо. Он, лиризм, был ощутим и в пейзаже. Вот пример из «Княжны Мэри»:

«Был вечер зимнего, холодного дня. На дворе шел мелкий снег, сквозь легкий туман мутно светили уличные фонари. Не знаю почему, всё в тот вечер доходило до меня сквозь эту мутную прозрачность снега, фонарей, зимних пустынных улиц. Я шел пешком из одного конца города в другой и, как это уже неоднократно со мной бывало, потерял точное представление о том, где я нахожусь и когда это происходит. Это могло быть где угодно — в Лондоне или в Амстердаме, — эта перспектива зимней улицы, фонари, мутное освещение витрин, беззвучное движение сквозь снег и холод, неверность того, что было вчера, неизвестность того, что будет завтра, ускользящее сознание своего собственного существования и всё преследовавшие меня в тот вечер чьи-то чужие и далекие воспоминания о Петербурге и эти магические слова — «Ночь, улица, фонарь, аптека» — весь тот исчезнувший мир, которого я никогда не знал, но который неоднократно возникал в моем воображении...»

В этом расплывчатом окружении вечернего Парижа, в каком-то кафе внимание автора привлекает четвёрка (трое мужчин и одна женщина) постоянных посетителей и среди них — особенно — один: «человек с черно-белой щетиной на лице, всегда приблизительно одинаковой, так что получалось странное впечатление — можно было подумать, что он никогда не брился, но в силу удивительной игры природы его щетина не делалась ни длиннее, ни короче, как у покойника».

Человек с серой щетиной оказался русским, сотрудником одного из самых распространенных эмигрантских журналов (где он, по его словам, «был жертвой зависти, интриг и безмолвного литературного заговора»), а в дальнейшем — романтиком-графоманом, роман которого (рукопись) автор читал «с чувством тягостной неловкости».

Вскоре этот человек умирает, и в бумагах, переданных рассказчику подругой покойного (француженкой, считавшей его «известным русским писателем»), обнаруживается множество статей-советов для «женского листка», который, оказывается, вел он в этом журнале, — советов, «как следует пудриться, каким должен быть крем для лица», о выборе туалетов («вечером носят светлые тона: цикламен, гелиотроп, лиловый»), о светском разговоре, в котором «необходимо показать скромный, культурный блеск». Все статьи имели одну и ту же подпись: «Княжна Мэри».

«Когда этот человек оставался один, — заканчивает рассказ автор, — в том мире, который был для него единственной реальностью, с ним происходило чудесное и торжественное превращение. Всё приходило в движение: смещались мускулы, сбегались линии, звучали стихи и мелодии, вспыхивали электрические люстры. ...И если бы у моего бедного знакомого, судьба которого так внезапно пересекла мою жизнь, хватило сил на последнее творческое усилие, то на серой простыне больничной койки, вместо окостеневшего трупа старого нищего, лежало бы юное тело княжны Мэри — во всем своем торжестве над невозможностью, временем и смертью».



Тема «видимого» и «сущего», действительного и воображаемого в этом прекрасном рассказе, довольно частая в прозе Г. Газданова, для меня всегда — уж вовсе и не творчески — перекликалась с жизненным обликом его самого. То-есть, казалось мне, знал я словно бы *двух* Газдановых:

Того, что был у всех на виду, — Газданова, весьма иной раз критичного к ближнему (особенно если этот ближний был неуклюж в языке), Газданова-скептика, любящего парадоксы, иронического в суждениях и рассказах. Иронического и в письмах. «Должен вам признаться, что для меня «литературоведение» всегда представлялось чем-то загадочным», — писал он в ответ на посланный ему мной сборник литературоведческих статей, в числе которых была и статья о стиле И. Ба-

беля. — «Когда приводятся цветистые и метафорические цитаты из Бабеля, то производят они в общем отрицательное впечатление. А когда читаешь его рассказы целиком, всё кажется естественным. Сам Бабель, кстати сказать, от своего собственного стиля был не в восторге, о чем он мне как-то раз сказал...» И по поводу одной, тоже литературоведческой, статейки моей жены: «Почтительно читал труд Агнии Сергеевны в «Мостах», из которого узнал литературоведческое слово «компонент...»

И Газданова *второго*, у которого была и снисходительность к людским слабостям, и очень добрая, отзывчивая душа. Тоже — и тщательно, я бы сказал, почти ожесточенно скрываемое простодушие, которое вдруг и промелькнет, и осветит человека по-новому.

В середине пятидесятых годов был, помню, у Г. И. автомобиль марки «Изабелла-спорт», за которым ухаживал он, как наездник за любимой лошастью; она и вправду была великолепна, эта машина, и брала сразу в карьер. И вот однажды как-то на блестящий металл буферов, к великому огорчению Г. И., села россыпью ржавчина, и никак не хотела сходить. «Я вам сведу ее, — сказала моя жена, — у меня есть такая специальная немецкая мазь». — «Вы верите в немецкую мазь? — пожал Г. И. плечами. — Какой оптимизм!» Но как же по-детски, даже не находя слов, обрадовался, когда от этой мази сыпь на самом деле сошла!

В его приезды в Штарнберг ходили мы ловить рыбу; то есть — ловил я, Г. И. только смотрел, но «на него рыба шла». Однажды отправились к одному тихому, не разведанному еще туристами озерку, где водились карпы. От первого же пойманного Г. И. пришел в совершенный восторг («Это же не рыба, это чудовище!») и потом всё ходил им любоваться: вытащит из воды проволочную корзинку и рассматривает. Крышка закрывалась неплотно, и после одного из рассматриваний корзинка оказалась пуста. Вид у Г. И. был — сама растерянность, как у школьника:

— Ушел карп...

Ничего, мы поймали еще пятерых таких же.



В последний раз виделись мы в Мюнхене в сентябре прошлого года. Собственно и поездка туда была, главным образом, чтобы встретиться с ним: мы уже знали о его болезни. Сам он писал нам в Нью-Йорк: «Болезнь у меня была чрезвычайно неприятная, — клиника, рентгеновские лучи и так далее, но теперь это всё как будто в прошлом, надо только набраться сил».

Увы, это не было «в прошлом».

Мы провели с ним и Фаиной Дмитриевной два вечера. Последний — у них за ужином. Потом Г. И. читал начало нового задуманного романа, не то повести — не помню! Не помню и содержания, потому что во время его чтения невольно читал своё — черты одолевшей его болезни на лице, в глазах, в затрудненности дыхания. Он скоро утомился, и мы уехали сравнительно рано. Простились в квартире, но он всё-таки вышел нас проводить на площадку перед парадным. Надел на себя что-то теплое, сутулился и этой сутуловатостью, согбенностью вдруг напоминал чуть-чуть А. Ремизова, на которого никогда не походил. Было что-то предельно скорбное в очертаниях его фигуры; может быть, шло это от самих проводов, прощанья.

Потому что было это, как мы чувствовали, прощанье навсегда.

Л. Ржевский

Н. Ф. ТИЗЕНГАУЗЕН (Н. ТУРОВ)

В октябре 1971 г. в Нью Хевене скончался постоянный сотрудник «Н. Ж.» барон Николай Федорович Тизенгаузен (Н. Туров). Его искренние и прекрасно написанные воспоминания о терроре в Советском Союзе — «Заместитель А. Н. Туполева», «Встреча с Абакумовым в тюрьме НКВД», «Парилка», «С. Орджоникидзе и замдиректора Краматорского Комбината», «Чекисты за решеткой» и др. были исключительно ценны. Некоторые из отрывков появились в переводе на французский. В этой книге мы заканчиваем печатанием воспоминания Н. Ф. «Падение Ростова», первые, по-моему, воспоминания, описывающие жизнь под немецкой оккупацией. За день до смерти,

посылая мне свою рукопись, Н. Ф. писал: «Я очень тяжело болен, доктора помочь бессильны. Одно, что осталось — уповать на милость Божию. Когда я умру я не знаю, возможно скоро...» Он умер через день после этого письма. Его жена, Мария Харлампиевна, прислала оставшуюся после Н. Ф. его автобиографию, из которой я даю некоторые выдержки. Р. Г.

Я родился в военной семье. Мой отец был генерал-майор, служил в гвардейской артиллерии. Дед — тоже генерал, артиллерист. Отец кончил две Академии: Генерального Штаба и Николаевскую Военно-Инженерную. Работал, как инженер Военного Министерства по проектировке и строительству военно-стратегических ж. д. в России. Его два последних проекта — Белорусская ж. д., и Черноморская. Отец умер в 1912 году. По его готовым проектам большевики построили эти дороги.

Мы жили в СПбурге, на Фонтанке, около Летнего Сада. У нас была большая квартира в бель-этаже, из 20 комнат. Жили мы очень широко, имея гувернанток (француженку и немку) и большой штат прислуги. Отец с мамой часто ездили за границу — в Париж, Лондон, Вену, на курорты. Дети жили в имениях: бабушки — на Волге и Крыму, дедушек — в Прибалтике и Финляндии и т. д. Мы не были богатыми людьми. Вернее, были «со средствами».

Из детских моих воспоминаний особенно запомнилась колоритная фигура моей бабушки. Она происходила из знатного боярского рода, была богата, ненавидела иностранцев, из титулов признавала только княжеский, «как истинно русский», была своенравна и глубоко религиозна. К нам, детям, относилась строго, требовала воспитания чуть не по «Домострою», но имела прекрасное, любвеобильное сердце.

Несколько слов об имениях, об этих сказочных уголках, вычеркнутых навсегда из жизни. В имение дедушки — надо было ехать по ж. дороге до полустанка «Тизенгаузен». Был такой полустанок! Дальше на лошадях, верст 20-25. Имение было старинное, большое, барское, с колоннами в Екатериненском стиле. Барский дом был построен на подобие буквы «П». Дом был деревянный, но имел большой мраморный бас-

сейн для купанья, где подогревалась вода. Около дома были конюшни с верховыми и выездными лошадьми, каретный сарай, в котором находились два ландо, две кареты (допотопных, мы в них не ездили) и всякие коляски и таратайки. Были там свои коровы, какой-то скот, чудесный фруктовый сад и заросли ягод. Перед домом (в котором ходили привидения!) был большой английский парк, главная аллея которого вела к большому, очень красивому, с прозрачной водой, озеру. На берегу была пристань и купальня.

У моих родителей было пятеро детей: трое мальчиков и две девочки.

Я родился в Варшаве, в Саксонском Дворце, где у отца была казенная квартира. Наша квартира примыкала к запечатанным комнатам дворца, в котором ходило привидение под видом «Белой Дамы». Отец видел эту Белую Даму и много рассказывал нам, детям, об этом. Это интересная история, связанная с реальной исторической действительностью.

Из Варшавы мы переехали в СПб, где проживали вплоть до начала 1919-го года.

Началась война 1914 года. К концу ее — один из братьев был уже ротмистром, другой поручиком, оба имели боевые награды, ордена, были представлены к следующим чинам. Старший брат имел георгиевское оружие.

В 1917 году на фронте была уже полнейшая разруха. Вернувшись в Петербург, братья были через несколько месяцев арестованы и расстреляны ВЧК. Старший брат сидел в одной из камер Трубецкого Бастиона вместе с Павлом Павловичем Коцебу, его приятелем. Только здесь в Америке, я узнал подробности о том, что тогда творилось в застенках крепости. П. П. рассказал мне (мы с женой были у него в Нью-Йорке), что каждую ночь выводили арестованных во двор, строили в линейку. Приходил какой-то пьяный матрос, который, по своему настроению, отсчитывал каждого пятого или десятого (как ему вздумается). Этих отобранных совершенно случайно — расстреливали сейчас-же на месте. Помочь братьям я не мог. Я и мама обходили все учреждения, но никто ничего не мог сделать. Был я и в знаменитой чрезвычайке.

Меня приняли в кабинете, где развалившись в кресле и положив ногу на стол, сидел какой-то солдат. Этот хам, лузгая семечки и поплеывая в сторону, спросил: «А кто ваши братья были?» Я ответил: «Офицеры». Он усмехнулся и ответил: «Давно поставлены к стенке-» Затем, начал снова лузгать семечки, показывая мне рукой на дверь.

Вскоре я начал кочевую жизнь, так как знал, что долго в одном и том-же городе, мне оставаться было опасно. Более десяти лет я провел в странствованиях, по просторам Российским. Побывал в Сибири — в Омске, Златоусте, на Волге — в Мелекесе, Симбирске, Самаре, на Украине — в Харькове, Киеве, наконец перебрался на Кавказ, где казалось, все старое было позабыто и можно было начать спокойную жизнь. Обосновался в Ростове.

Все время меня безумно тянуло в Петербург. В 1923 году я сделал попытку, поехал. Петербург встретил меня неприветливо. Приехал я нищим, оборванцем, уставшим от жизни, не видящим проблеска впереди. Все было потеряно — семья, друзья, знакомые. Со ступенек Николаевского вокзала, вышел я на Невский, прошел к Зимнему Дворцу, обошел набережные, прошел на Фонтанку, с тоской смертельной посмотрел на загаженный дом, в котором прожил много счастливых дней. Затем вернулся к Исаакиевскому собору. Все, казалось, было на месте. Только город был мертв. Стекла в окнах были выбиты, магазины закрыты и заколочены досками, людей на улицах было мало. Всюду пестрели революционные плакаты, с развевающимися красными знаменами. Дома выцвели и полиняли. Церкви и соборы закрыты. Я ночевал, т. е. спал на скамейке Александровского сада. Была осень, еще не было холодно. По ночам подолгу смотрел на величественный Исаакиевский собор, вспоминая свою прошлую жизнь.

Еще одна сценка из моей жизни. Дело было в Киеве. Я не мог найти ночлега. Шел проливной дождь и некуда было укрыться. Пробегая мимо одного дома, я услышал как кто-то играет на рояле. Я сам учился на рояле, когда-то у проф. Николаева, в СПб. Я не мог пройти мимо. Остановился и простоял наверное часа два. Кто-то играл один из любимых

мною ноктюрнов Шопена, затем 3-ью балладу, которую я сам играл. Я стоял, как зачарованный. Промок, как говорят, до костей.

Моя первая оседлая работа нашлась в Ростове на Дону. Это был 1929 год. Я устроился работать, как альпинист, в Северо-Кавказском управлении. В этой области я ровно ничего не понимал. Но также ничего не понимали люди, сидевшие в этом управлении. Я быстро освоил это дело, мне помогли в этом иностранные альпинисты, приезжавшие на Кавказ. И влюбился я в альпинизм, «как мальчик, полный страсти юной». (простите, за искажение текста). Работа моя была в ледниках, в горах, далеко от «утех социалистического строительства». Я побывал на Эльбрусе — 4 раза, на Казбеке — 15 раз, при чем один раз зимой. Это увлекательнейший спорт, полный поэзии и отрешенности человека от жизни. Альпинизму я обязан жизнью, ибо не будь его я погиб бы в застенках НКВД.

В Ростове я женился на чудесной девушке и был совсем счастлив. Однако, наступил 1937 год. Я знал, предчувствовал, что меня арестуют. За мной следили. Наконец, совершилось, то, что должно было случиться.

Я просидел 3 года в разных тюрьмах, в том числе и в Московском Политическом Изоляторе. Я не хочу писать каким издевательствам и пыткам подвергался я. Перед самой войной меня выпустили. Узнал трагические подробности того, что случилось с моей семьей. Прежде всего, мою жену выгнали с работы, прогнали с квартиры, лишили карточек, по которым выдавались продукты. Все бывшие наши знакомые отвернулись от нее: боялись иметь знакомство с женой врага народа. Мой единственный сын — умер от голода. Это было страшное время. Затем наступила война. Меня мобилизовали и отправили (как я после узнал об этом) в штрафной батальон. Нас направили сначала в Новочеркасск, а затем мы переходили вдоль берега Дона, строя там укрепления. Нам не дали оружия. Ночевали мы в казачьих станицах. Во всех хатах стояли иконы, перед которыми теплились свечи. Ждали прихода Гитлера, который — все думали так — освободит Россию от коммунизма. Я бы мог рассказать массу интереснейших фактов из

того времени. Я заболел очень неприятной болезнью, которая называлась «туляремией». Мой командир отвез меня в Ростов, где я встретил жену. Через некоторое время Ростов был занят немцами. Мы бежали с женой (мне это было не особенно трудно, с моей балтийской фамилией) и пробрались в Вену, затем переехали в большой католический монастырь. Там мы нашли приют и спокойствие. Там прожили мы почти до окончания войны. Когда красные подошли к Австрии, мы бежали дальше в Баварию. Там мы жили до прихода американцев. Попали в лагерь ДП Розэнхейм, а оттуда через Мюнхен — в США.

Б. В. СЕРГИЕВСКИЙ

Русская эмиграция понесла большую потерю. В лице Бориса Васильевича Сергиевского не стало не только мецената первой величины, которому многие десятки русских церковных, общественных, военных и политических организаций обязаны поддержкой. Эмиграция потеряла нечто большее. В его лице мы лишились целостного и принципиального человека, моральный вес которого признавался и теми, кто не разделял его политических убеждений.

Как военный, Борис Васильевич отличился исключительной храбростью. В самом начале кампании 1914 года он получает Георгиевский крест. С 1916 года он — летчик, капитан воздушного флота. В воздушных боях он сбил 11 немецких аэропланов. В белой борьбе он северо-западник. С 1923 г. он в США и работает простым рабочим в туннеле под Гудзоном, как отмечает «Нью-Йорк Таймс» в посвященном ему некрологе. Вскоре Б. В. становится старшим летчиком-испытателем у Сикорского. Он поставил 18 мировых рекордов по воздухоплаванию.

Покойный Б. В. был человеком исключительно мужественным, не только в смысле личной храбрости, но и в смысле общественной бескомпромиссности. К тому же он был человеком редкой отзывчивости. Своей разнообразной помощью он делал за рубежом большое русское дело, способствуя сохранению в эмиграции тех духовных ценностей, которые только эмиграция и могла сберечь.

Необходимо отметить и еще одну очень характерную для Б. В. Сергиевского черту. Он не делил свое отношение к России на прошлое и настоящее. Он помогал всем русским, нуждавшимся в его помощи. Более 40 русских организаций почтили его память как человека, который их поддерживал, а во многих случаях он был и деятельным участником в их работе. Тот же «Н. И. Таймс» выделяет из этих организаций три: «Русский богословский фонд», «Толстовский фонд» и «Св. Серафимовский фонд». Важно также подчеркнуть, что он никогда не афишировал свою помощь, а в отношении частных лиц ее просто скрывал.

Я думаю, что не ошибусь если скажу, что самым характерным для его личности была его русскость. Но русскость не легковесная, скользкая по верхам. Покойный был верующим православным христианином. Он, вскормленный Россией, через всю свою долгую жизнь достойно пронес облик русского человека со свойственной ему всегдашней бодростью, даже веселостью, добротой и благородством. Вот уж действительно это был Георгиевский кавалер! Как замечательно, что наша русская эмиграция выделила из своей среды немало деятелей, которые оставили после себя такую добрую память.

Да будет память о Борисе Васильевиче «в род и род»!

Протоиерей Александр Киселев

ХУДОЖНИК Д. В. МЕРИНОВ

Умерший мой приятель, художник Дмитрий Васильевич Меринов, родился в Пскове в 1896 г. Но когда он был еще в раннем возрасте, его родители переселились в Елец. Они были купцы и мельники. Мальчик учился в елецком реальном училище, но имея живой характер, попал на плохой счет, и не дошел и до половины училища. Уехал в Петербург, где начал учиться в школе живописи (директор Н. Рерих).

В 1915 г. был мобилизован в авиацию и направлен в авиационную школу (Гатчина). Позднее в составе русского экспедиционного корпуса был отправлен на французский фронт. На салоникском фронте он был «рефлекторщиком», то есть наводил рефлекторы на неприятельские линии. После октябрьской революции, во время отказа солдат от войны,

он был чуть ли не единственным рядовым, не пожелавшим сложить оружие.

В 1920 г. Меринов попал в Париж, где до 1926 г. учился в Школе Декоративных Искусств. В Париж он привез с собой любимых художников — Энгра и Мейссонье, но кипуче-деятельный человек в первую голову решил наладить свое материальное существование. Начался период работы в эмигрантских декоративных мастерских. Помимо живописи и рисования, он обучался гравюре и резьбе по дереву, что позволило ему перейти на работы по реставрации Нойонского собора, мериин Эрмона и росписи вокзала парижского университетского городка, где в числе рабочих был и я.

В 1925-1938 г.г. Меринов выставлял работы в Салоне Независимых и в Осеннем Салоне. Работы его были оценены французской критикой.

Наступила вторая мировая война и Меринов с женой переселились в свободную зону Франции. В Барбасте (Лот и Гаронна) они прожили шесть лет. Там-то и началось его медленное художественное перерождение. Он отошел от Энгра и Мейссонье, представителей миниатюрно-утонченного склада французской культуры, с которой у Меринова, конечно, не было ничего общего. За эти годы пребывания в Барбасте Меринов проделал путь от этой фотографической перспективности в сторону двухмерной орнаментальности, медленно возвращаясь к осознанию нашего исконно-русского мировосприятия.

В 1947 г. Меринов переселился в Нью Йорк. В Нью-Йорк он явился с сознанием ненужности трехмерной перспективной живописи. Он дошел до двухмерного пейзажа, что является началом орнаментальности. И в несколько лет он прошел все этапы современной живописи применительно к своим задачам и темпераменту.

В Меринове, человеке подвижном, сильном и «матерчатом» появилась потребность претворять свою живопись в «неодухотворенные существа», создавать вещи, материализовать их. Картины стало нужно не писать, а делать. Упрощая — осуществлять. Благодаря количеству употребляемой краски, его картины достигли силы мозаик, его устрицы стали «живыми» устрицами, как и гребешки, трубки, лимоны.

Но и это еще не был конец его реформаторской деятель-

ности в чисто живописной области. Краски, как творческий материал, оказались недостаточны. Он начал пришивать к обычному полотну толстые, мешечные холстины и расписывать их краской — бычьей краской, что является сближением, приближением художественных возможностей к органической реальности. Все становится «натюр-мортом».

Но и это еще не предел его превращения, материализации живописи чисто художественными средствами. На мешки он начал нашивать ветки деревьев и превращать их в орнаменты. Эта «мясистость», вкусная сочность, ядерность мериновской натуры залог великой русской жизнеспособности. В последний период жизни Меринов стал менее груб, т. е. отошел, исчерпал свой завоевательный рост и начал «одухотворяться».

В 1949 г. то есть через два года по водворении в Нью Йорке, Меринов устроил самостоятельную выставку. Затем — в Милане в 1961 г. и в Турине в 1962 г. — устраивавшиеся его клиентами, итальянскими фабрикантами. Результатом выставок, в придачу к попыткам Меринова завязать контакт с торговцами картинами, было лишь то, что некоторые явились смотреть работы в мастерскую, но это не дало никаких материальных результатов, потому что время Меринова еще не пришло. Он шел предназначенной ему личной, тяжелой, самостоятельной дорогой, а не подлаживаясь к чуть ли не каждый год меняющимся модам американской живописи.

Сергей Ив. Шаршун

Из-за недостатка места мы, к сожалению, вынуждены перенести несколько уже набранных статей и весь отдел библиографии в кн. 107 «Нов. Журн.» РЕД.

И С П Р А В Л Е Н И Я

Проф. Г. В. Вернадский просит нас напечатать, что в кн. 105 «Н. Ж.», в его воспоминаниях «Крым», на стр. 204 он забыл упомянуть фамилию ректора Таврического У-та — Р. И. Гельвиг.

Проф. Н. В. Первушин просит нас напечатать, что в его статье «Встречался ли Достоевский с Гоголем» в кн. 105 «Н. Ж.» на стр. 168 строка 10-я снизу должна читаться «после совещания с друзьями Белинского».

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- Юлий Даниэль.* Стихи из неволи. Серия «Библиотека Самиздата» № 3. Фонд Имени Герцена. Амстердам. 1971 (94 стр.).
- Евгений Кушев.* Огрызком карандаша. Стихи и проза. «Посев» Франкфурт н/М. 1971 (111 стр.).
- В. Н. Ильин.* Преподобный Серафим Саровский. 3-е изд. Изд-во «Путь жизни». Нью Йорк. 1972 (206 стр.).
- Александр Варди.* Подконвойный мир. «Посев». Франкфурт н/М. 1971 (290 стр.).
- М. И. Цветаева.* Несобранные произведения. Послесловие и примечания Гюнтера Вытрзенса. Изд. Финк Ферляг. Мюнхен. 1971 (693 стр.).
- Лев Шестов.* Апофеоз беспочвенности. Изд. 3-е. Собр. соч. т. IV. Имка-пресс Париж. 1972 (302 стр.).
- Лев Шестов.* Достоевский и Ницше. Философия трагедии. Изд. 4-е. Собр. соч. т. III. Изд. ИМКА-пресс. Париж. 1972 (252 стр.).
- Лев Шестов.* Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше. Философия и проповедь. 5-е. Собр. соч. т. II. Изд. ИМКА-пресс. 1972 (217 стр.).
- Владимир Ант.* Мал Кок Тит. Сказка в стихах. Рисунки худ. А. Бобра. 1966 (22 стр.).
- П. Е. Ковалевский.* Зарубежная Россия. Либрэри дэ Сэнк Континан. Париж. 1971 (347 стр.).
- А. М. Ремизов.* Посолонь. Вступл. К. Остерейх-Гейб. Изд. Финк Ферляг. Мюнхен. 1971 (270 стр.).
- А. М. Ремизов.* Пруд. Вступл. К. Остерейх-Гейб. Изд. Финк Ферляг. Мюнхен. 1971 (369 стр.).
- Борис Пильняк.* Машины и волки. Изд. Финк Ферляг. Мюнхен. 1971 (185 стр.).
- В. Максимов.* Семь дней творения. Изд. «Посев». Франкфурт н/М. 1971 (стр. 507 стр.).
- З. Н. Гиппиус.* Живые лица. Вступл. Т. Пахмусс. Изд. Финк Ферляг. Мюнхен. 1971 (170 стр.).

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ



ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1972 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1972 год 15 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара
Во Франции — 15 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня
